Евгения Добровольская

Чужая боль





Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1978



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

ПР

Евгений Добровольский

ЧУЖАЯ БОЛЬ

ПОВЕСТЬ
О ВЕРЕ ЗАСУЛИЧ

Р2
Д56

Евгений Добровольский — автор десяти прозаических книг. Среди них сборники рассказов, фельетонов, очерков. Им написан роман «Рисунок времени», хроникальное повествование о создателях русской промышлениости. Документальная повесть Добровольского «Почерк Капицы» — о выдающемся физике академике Капице — переведена иа многие европейские языки.

Повесть «Чужая боль» посвящена Вере Засулич, стоявшей у колыбели русского марксизма, который, по словам В. И. Лениия, «родился в начале 80-х годов прошлого века в трудах группы эмигрантов (группа «Освобождеиие труда»)», в которую входила В. И. Засулич.

Автор рассказывает о том, как смелая революционерка отказывается от террора как метода политической борьбы и приходит к марксизму. Подвигу мгновения она противопоставила миоголетний подвиг своей жизни вдали от родины, под чужим именем и неустаниым полицейским надзором.

$Д \frac{10604-230}{079(02)-78} 260-78$

1

Голос председателя Санкт-Петербургского окружного суда в памятный тот день звучал глухо и торжественно, а может, вообще был он у него такой или весенняя простуда виновата. «Подсудимая, встаньте. Подсудимая, вы обвиняетесь в том, что, имея заранее обдуманное намерение убить генерал-адъютанта Трепова, пришли к нему в дом 24 января с заранее принесенным вами револьвером и причинили ему тяжелую рану выстрелом из этого револьвера, причем смерть не последовала по обстоятельствам, устранить которые было не в вашей власти. Признаете вы себя виновной?»

Подсудимая ответила не сразу. Возникла пауза, и старичок сенатор в красном мундире с бриллиантовой Александровской звездой на расшитой груди подался вперед и все никак не мог поддеть прозрачной ладошкой ссохшееся свое ухо.

— Признаете вы себя виновной?

— Я признаю, что я... произвела выстрел.

И сразу стало жарко, и в зале сделался шум.

2

Накануне морозным вечером уже в десятом часу она сказала квартирной хозяйке, что уезжает утром. Та только руками развела, обиженно поджала тонкие губы: заранее надо предупреждать, барышня! чаю бы попили на дорожку, побеседовали бы — и сердитая ушла к себе, тяжело ступая по рассохшимся половицам.

Пока старуха вздыхала и охала, кляня коварное вероломство несерьезных постояльцев, взявших моду съезжать без предупреждения, она в который раз переписала прошение на выдачу свидетельства о поведении для получения места домашней учительницы, приготовила новое платье, новые чулки, белье в кружавчиках из английского магазина. Красивое белье, в самый раз для тюрьмы! Новую тальму и шляпку положила в саквояж, туда же на дно положила револьвер, обернула носовым платком, а уголки завязала бантиком, чтоб легче было развязать.

Из дома решила выйти в старом пальто, а то хозяйка привяжется со своими советами, начнет хвалить: тальмы как раз в моду вошли, чем шире, тем красивей. Лишние все разговоры! Да и зачем обременять кого-то свидетельскими показаниями в суде: ведь завтра же эта тальма во всех газетах появится.

Пришла Маша, румяная с мороза стояла на пороге, стряхивала снег с башмаков, говорила:

— Ну, матушка моя, и накурено же у тебя!.. Как в кордегардии! Дай я хоть пол подмету. Господи... и в кого ты такая неряха!

Спать легли рано, накрылись лоскутным одеялом, рядышком легли, никаких разговоров о завтрашнем дне у них не было, но среди ночи Маша проснулась, поднялась в постели, бледная, похожая на русалку.

— Что такое? Почему ты кричишь? — спросила шепотом.

— Не знаю... Я кричу, да?

— Что с тобой? Успокойся, матушка... В руки себя возьми. Ты что — кисейная барышня? Я ведь не кричу. Ты сама все решила.

— Я ничего не боюсь, это нервы. Мне не страшно. Спи, хозяйка услышит. Спи, Маша,— сказала она строго и закрыла глаза. Ей хотелось во что бы то ни стало успокоиться, представить себя маленькой, будто она бежит по саду летом в жару наперегонки с дворовыми собаками. Раньше это хорошо помогало, когда не спалось. В Солигаличе в ссылке и в тюрьме — в Петропавловке да в Литовском замке... «Спи, Маша, спи...» Собак было много. Сколько лет прошло, а она помнила их всех: и черную хромую Бомбу, и рыжего Монаха, рассудительного пса. Помнила Барбоса, Шайтанку... Был пес Дружок и еще Шарик, самый закадычный приятель, всегда с высунутым языком. «Шарик, дай лапу. Молодец, молодец, Шарик... Ко мне!»

За стеной закряхтела хозяйка. «Ой, господи, господи...» Как слышно все!

Она приказала себе уснуть и уснула. Уснула, это точно. И ей приснилось, что она босиком идет в сени. Из входной двери дует, январь на дворе. Она забирается в угол, садится в белой и длинной ночной рубашке на старый кованый сундучок и кричит, закинув голову.

— Возьми себя в руки... В самом деле, ты что, матушка...

— Опять, да? Я кричу?

— Опять. Ты кричишь. Потерпи немного. Уже недолго ждать. Ты выстрелишь в него, а я — в прокурора. Тебе памятник поставят и напишут на нем золотыми буквами...

— Тебе тоже напишут. Глупости какие, спи, Машенька. Это, наверное, нервы.

За окном шумел ветер. Скрипели незамкнутые ворота. Снежная пыль кружилась под желтым фонарем, и высоко над белыми крышами на том берегу светился острый

шпиль Петропавловки, далекий, холодный, будто из лунного льда отлитый.

Она снимала грошовую комнату в старом, покосившемся доме. Там изо всех щелей дуло, все скрипело и сыпалось, и бывший постоялец, бородатый университетский студент, говорил с кривой усмешкой, что имел возможность наблюдать по крайней мере три климата сразу: у окна — арктический, у стола — умеренный, у печки — тропический. Но поскольку печка выходила в комнату узким, острым углом, то, как ни топи, тропиков было мало, а арктики много.

Ночью накануне своего выстрела она, молодая женщина двадцати восьми лет, назвавшаяся в прошении чужим именем, знала, что ее должны повесить. Знала и не боялась смерти. Она внушала себе, что умирать совсем не страшно. Страх — это только инстинкт самосохранения, ничего больше. Надо его перебороть. Человек может перебороть инстинкт. Сжимаются сонные артерии, голубые, такие тоненькие ниточки жизни, клетки мозга лишаются кислорода, и все! Как просто! Гаснет белый свет, но, может быть, именно оттуда, с той последней страшной минуты, все только и начинается? Новая жизнь? Вечность? Блаженство без конца? Райские кущи? Вдруг обдаст теплым ветром и птичьим канареечным щебетом из темноты, снова засияет солнце, облака поплывут, радуга загорится на полнеба... «Здравствуй, милая, здравствуй, девочка,— скажет апостол Петр, похожий на детского доктора и на доброго Деда Мороза,— рановато ты к нам, рановато пожаловала, могла б еще пожить на грешной на вашей земле годков эдак пятьдесят...»

Она росла в религиозной семье, но об этом чуть позже. А тогда, в ночь на 24 января 1878 года, готовясь пойти на смерть, о чем же она думала и к кому были обращены ее мысли? К богу? К друзьям? К человеку, которого она любила? В ее бумагах автор нашел такую запись:

«Если было во мне что-нибудь незаурядное, так только одно: неспособность бояться для себя скверных последствий какого-нибудь поступка, равнодушие к своей будущей судьбе... И сколько же раз ставила я себя в невозможные положения. Раз чуть не пропала из-за этого качества, но потом оно же и вывезло. Оно сделало для меня легким такой крупный шаг, и оно же позволяло мне становиться в такие положения, в какие не стал бы иной человек много смелее меня. Щитом от страха за будущее было сознание: «Жизнь ведь в руках, мудрено ли покончить, если станет очень трудно?»»

Так что же заставило ее стрелять — приказ, отчаяние, желание отомстить? Или, разуверившись в жизни, решила она уйти в мир иной, но уйти не просто так, а совершив поступок, который бы всколыхнул все ненавистное и презираемое ею высшее общество? Чем объяснить этот «щит от страха»?

Ведь она же писала, что женщины-революционерки перестали быть явлением исключительным в годы ее молодости. «В их лице,— читаем в ее записях,— обыкновенные женщины — сотни таких женщин — добились редкого в истории счастья действовать не в качестве вдохновительниц, жен или матерей мужчин, а в качестве вполне самостоятельных, равных мужчинам общественных деятелей. И как ни велики те страдания, которыми правительство мстит этим женщинам за их недолгую деятельность, они, наверное, никому не позавидуют. Они были очень счастливы».

Счастье и «щит от страха» — правомерно ли такое сопоставление? Нет, наверное. Так как же объяснить...

Она была цельным человеком. Всегда знала, что ее ждет, и малодушно уйти из жизни никогда не собиралась, если станет очень трудно. Ей бывало очень трудно. Много раз. Но спасал другой щит. Свою нежность и доброту она

прятала под маской эдакой нигилистической мрачности. Что ж, дескать, делать, однова живем, господа хорошие, двум смертям не бывать, одной не миновать... Станет уж совсем невыносимо, так и выход найдется. Но искала ли она этот легкий выход? Нет и нет! Ей суждено было выпить чашу сию до конца. И как много объясняют в ней слова ее друга, который написал, что она вовсе не была террористкой. «Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклание, чтобы смыть с партии позорное пятно смертельной обиды».

Часов у них не было. Еще не светало, но поднялась хозяйка, загремела самоварной трубой, и тогда они встали обе, как рекруты по команде.

Она стояла босиком на холодном полу. Ноги сразу заледенели, и это ощущение холода было первым ощущением того дня.

Внизу, под окнами, дворник шаркал деревянной лопатой, сгребал снег, выпавший за ночь, и была в его движениях какая-то механическая безысходность.

— Не кури натощак,— сказала Маша строго, и между бровями у нее проступила сердитая морщинка, похожая на греческую букву «пи».— Не кури натощак!

Она всегда так говорила и сердилась, но теперь уже было все равно, все едино — курить, не курить, натощак, не натощак...

Выпили по чашке холодного молока, разломили сухой калачик. Есть не хотелось. Хватило б только сил до градоначальника добраться. До нарядного его дома.

Осторожно, чтоб не услышала хозяйка, вышли из комнаты, спустились вниз, и, пока Маша бегала за извозчиком, она стояла у ворот с саквояжем в руках и беседовала с дворником. «Странная зима...» — сказала она, оглядываясь. Дворник хмыкнул. «То, вишь, мороз, то, вишь, метет, то енто крутит, эдак навалило, покорнейше благодарим,

опять февраль, а там марток не скидывай теплых порток, не, не уважаю зиму... Не сезон в Питере». Она слушала дворника, и было чувство, что все это в последний раз: и сам дворник, и улица, занесенная снегом, и люди, толпящиеся у трактира на углу, и занавески в окнах... Ничего уже не будет! Никогда. Она сама все решила! Сама!

Сели на извозчика, доехали до Николаевского вокзала, прошли во второй класс. Там пахло карболкой, по каменному полу четко рассыпались в тишине их шаги. Сонный дежурный, дремавший у выхода на перрон, с трудом поднял тяжелую голову, невидящими глазами посмотрел в пустой зал, сладко почмокал. «Осторожно, я тебя закрою». Маша поставила саквояж на деревянную скамью за колонной.

Надо было снять пальто, надеть широкую тальму. Со стороны все должно было выглядеть очень натурально: бедная девушка без средств к существованию желает занять место домашней учительницы, нарядилась во все новенькое, вот и тальмочку себе справила из последнего, от питания оторвала. «Саквояж, Маша, возьми, не здесь же его оставлять. Если у тебя не получится, некоторое время можешь пожить у меня. Там за сколько-то дней вперед заплачено...» А о том, что у нее самой может что-то не получиться, она не думала. «Ни пуха тебе. Присядем».

Присели рядом на жесткую вокзальную скамью. Обнялись. Наверное, так было нужно — обняться. А вообще-то Маша не признавала никаких телячьих нежностей. Нечего нюни распускать. Дело надо делать. Пора! Вот и все. Надо было спешить, и расставаться надо было навсегда. Прости, Маша, если что не так. Прости. «Прощай». — «Да, да, прощай...»

Маша ехала на квартиру к прокурору Желеховскому. По слухам, этот Желеховский, гнида и негодяй, считался отменным бабником. Он ни одной юбки пропустить не мог. А Маша была молодой, красивой, у нее были густые золо-

тые волосы, заплетенные в тяжелую косу, и темные русалочьи глаза. Редкий мужчина не оборачивался, когда Маша шла по Невскому. Горничная доложит барину, что его хочет видеть красивая барышня, и прокурор примет Машу у себя в кабинете, развалившись в кресле, начпет рассыпаться в комплиментах. Тут Маша и выстрелит в него. А она тем временем — в Трепова, в столичного градоначальника. Дай бог сил!

Уже совсем рассвело, но Невский выглядел мрачно, холодно. Ни магазинов, ни лавок еще не отворяли. К Гостиному двору тянулся бесконечный санный обоз, прикрытый рогожами, снег скрипел под полозьями. Над промороженным куполом Казанского собора кружили черные галки, и внизу два бронзовых полководца, поставленные рядом по воле монарха, равно оценившего их заслуги перед отечеством, скучно стыли на ветру.

«Господи,— прошептала она, низко наклонив голову.— Да свершится воля твоя. Накажи его моей рукой! Господи, ведь я тебя ни о чем так не просила...»

На Гороховой у большого, нарядного дома градоначальника толпились просители. Просителей было человек десять, не больше, но некоторые, судя по лицам, ждали с ночи, стояли, зябко переступая с ноги на ногу, и отходить в сторону не решались.

Она подъехала, расплатилась с извозчиком, тут как раз открылась парадная дубовая дверь, вышел молоденький солдатик в зеленом штопаном мундире.

— Заходи. Давай!..— крикнул звонко.

Просители все разом дернулись к дверям. Каждый старался оказаться первым.

— Тише вы, окаянные, всех примет,— ворчал другой солдат, стоявший в сенях.— Прут, понимаешь, как турки, будто и не православные. На Балканы вас...

В длинном глухом коридоре топились печи. За чугунными приоткрытыми заслонками полыхало светлое березо-

вое пламя. Важный полицейский офицер с пышными русыми усами провел просителей в большую скучную комнату. Там у широкого окна, выходившего на Адмиралтейство и заснеженную Неву с вмерзшими в лед кораблями, стоял длинный канцелярский стол, изрезанный и залитый чернилами, за столом сидели два офицера, курили, обсуждая что-то важное, лица их были сосредоточенны. Пахло канцелярией — табачным дымом, бумагами, горелым сургучом...

Теперь уже совсем скоро, решила она, нащупала рукоятку револьвера, села вместе с другими просителями на длинную лавку, придвинутую к стене.

Ей казалось, что на нее обратят внимание: полицейские определят в ее лице что-то неестественное. Но нет, полицейские сидели за столом, сидели как ни в чем не бывало, разговаривали и даже не смотрели в ее сторону.

Рядом на лавке оказалась маленькая обтрепанная старушка, замотанная в серую ветхую шаль. Старушка вытянула из-за пазухи мятую бумагу. «Взгляните, барышня, добрые люди помогли. Мне до генерала, до самого их превосходительства необходимость...»

Она молча взяла прошение. Строчки запрыгали перед глазами. Этого еще не хватало! Но нашлась, подхватила старушку под острый локоток, подвела к офицерам.

— Господа,— сказала,— помогите старой женщине. Объясните, как быть. Прошение у нее.

Теперь она стояла совсем близко, но, видимо, и в самом деле в ней не было ничего подозрительного. Один из офицеров смерил ее быстрым взглядом, брезгливо взял протянутый листок.

— Сами принимать будут? — спросила старушка, трясясь пуще прежнего.— Мне до генерала, до их превосходительства...

— Сам,— не отрываясь от чтения, ответил офицер.— Сам, мамаша. Сегодня их день.

Появился адъютант, высокий, грузный мужчина с большими красными руками. Был он как истукан, какой-то деревянный, очень собой довольный, рыжий солдафон.

— А, Курнеев...— приветствовали его офицеры снисходительно.

— Курнеев явился...

— Являются только черти, Курнеев прибыл! Доброе утро, господа. Доброе утро. Бонжур всем,— весело крякнул Курнеев.

У него поинтересовались:

— Как спали, господин майор?

— Отлично,— рявкнул он хриплым басом и расхохотался. Наверное, накануне происходили какие-то веселые события, известные офицерам, и хорошо выспаться Курнеев не мог.

— Честь мундира не пострадала?

— Отнюдь! — Курнеев промакнул рот большим платком, обернулся к просителям, скомандовал неожиданно строго: — Прошу всех за мной! Прошу... Господа, не растягивайтесь.

Курнеев провел посетителей в следующую комнату, выстроил, подравнял. Она оказалась первой: все-таки из благородных, сразу определил. Выразил на лице участие:

— О чем прошение, мадемуазель?

— О выдаче свидетельства о поведении.

— Хорошо-с. О поведении, так-с, так-с... Хорошо...

Он еще раз обошел всех, осведомился у кого что и, имея некоторое количество свободного времени, с грузной важностью опустился в кресло, обитое голубым шелком, принялся чистить ногти. Однако вскоре до него донесся какой-то звук, Курнеев вскочил, вытянулся, выпячивая грудь, тут же распахнулась дверь — в комнату медленно, но энергично входил столичный градоправитель и обер-полицмейстер генерал от кавалерии Федор Федорович Трепов.

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

— Здравствуй, Курнеев. Здравствуй, любезный...

Она не думала об этом специально, но ей казалось, что Трепов будет в двубортном генерал-адъютантском мундире с муаровой лентой через плечо, при всех своих наградах и звездах, таким, каким изображают русских сановников на гравюрах. Но вошел старичок в глухом зеленом сюртуке, уже не новом, мятом, и на нем не было ни лент, ни звезд.

Острый подбородок, жидкие бесцветные баки, такие же усы. Волосы с висков он начесывал на лысое темя, вперед и наверх, чтоб как-то скрыть лысину. Войдя, он издал начальствующий звук: «Хмы... и... да», выражавший довольно сложный спектр чувств, застывших на его лице, и сразу же стало ясно, что ему нравится быть генералом, он привык повелевать, уверен, что может, уверен, что умеет повелевать и сейчас покажет, как это ловко у него получается. Спросил, решительно поведя плечом:

— Что у вас? Чем могу?

Она замешкалась.

— Прошение о поведении,— отрапортовал Курнеев, потому что надо было отвечать немедленно.— В домашние учительницы желают! — И сделал глотательное движение.

— Разумно. М-да...

Трепов взял ее бумагу, чиркнул карандашом. У него были толстые пальцы с круглыми, тяжелыми ногтями. Она, кажется, и моргнуть не успела, а он уже передал ее бумагу Курнееву и двигался к следующему просителю.

— Что у тебя, братец? Чем могу?

Она подняла револьвер, зажмурилась.

Раздался тихий, сухой щелчок. Она потом только поняла, что этого щелчка никто не мог услышать, и она его не услышала, а почувствовала: произошла осечка!

— Что у тебя, сестрица? — спрашивал Федор Федорович, подходя тем временем к маленькой старушке.— Чем могу?

Она снова взвела курок. Револьвер дернулся в руке. В лицо ударил горячий запах пороха, и в дымной, голубой и лиловой вспышке, в раскатистом грохоте выстрела все остановилось. Застыло вдруг на одной ноте — аааа... Генерал-адъютант Трепов, схватившись за левый бок, медленно и тяжело валился на пол. Аааа...

— Аааа...

— Где револьвер?! Револьвер где?

— Держите!

— Бросила она. Бросила!

— На полу. Вон...

— Вырвите у нее оружие! Вырви...

— Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Вы живы?..

— Ваше превосходительство...

Перед ней возникло существо, не человек, а нечто взлохмаченное, рычащее, трясущееся, страшное, руки со скрюченными пальцами потянулись к ее лицу, чтоб выцарапать глаза, ногти вцепились в щеку. Курнеев! Схватил за горло. Повалил, начал бить. Кряхтел, охал, тряся. «Вы убьете ее!» — кричали. «Оставьте же ее! Нужно произвести расследование!» «Убьете, господин майор!» «Убьете...» «Убили уже, кажется...» «Да оттяните ж вы его!» «Господин Курнеев, нельзя же так... огорчаться». Это уже его оттягивали в сторону, а он рычал: «Ы... ы... х...» — и шаркал ногой по паркету, шаркал, все хотел дотянуться до ее лица сапогом, сапогом...

Потребовалось некоторое время, чтоб прийти в себя и оглядеться. Ей показалось, что она в той же самой комнате, где подавали прошения. Но прямо перед ней от полу до потолка тянулась железная лестница в один пролет, без площадки, раньше она ее не заметила, и на этой лестнице копошились люди. Одни спускались вниз, другие поднимались наверх, размахивали руками, толкались, шумели и все смотрели на нее безумными глазами.

В какой-то момент ей почудилось, что эта лестница ненастоящая и люди на лестнице ненастоящие. Захотелось спать. Лечь, закрыть глаза. Она зевнула.

Подошел бледный офицер, тот самый, с пышными русыми усами, который встречал просителей, сказал, нервно потирая руки:

— Извините, сударыня... Извините, пардон, но мне придется вас обыскать.

Она знала, что ее будут обыскивать, потому и оделась во все новое. Но не мужчина же!

— Позовите какую-нибудь женщину.

— Да где ж тут женщина, помилуйте.— Офицер кивнул в сторону лестницы.

— При всех частях есть казенные акушерки. Вот за ней и пошлите, за акушеркой.

— Пока ее найдут, акушерку ту,— вздохнул офицер, нерешительно подвигаясь ближе,— сохрани Христос, случится что! Ежели при вас оружие...

— Ничего не случится. Оружия у меня нет. Не бойтесь.

— Да я и не боюсь, в меня палить какой расчет. Но связать вас надо, это уж непременно. Право, не знаю чем...

— Полотенцем свяжите.

— Идемте.

Он увел ее в другую комнату. Там связал ей руки белым вышитым полотенцем, приставил караул из двух солдат, солдатам сказал: «Вы ее, братцы, остерегайтесь. Не ровен час, и ножом может пырнуть!» Солдаты выразили полное понимание, брякнули прикладами об пол, но, едва офицер отошел, зашушукались: «Скажет тоже их благородие... Напужался. Связана девка, два солдата держат, а он — «пырнет». Чудно».— «Где ты стрелять-то выучилась, барышня?» — «Не велика наука...» — «Училась, да недоучилась. Плохо попала». — «Не скажи, сказывают, очнно даже хорошо. В самый раз. Будет ли жив?»

Солдаты украдкой рассматривали ее, оба тихо покашливали, ухмылялись в усы. Казалось, необычность происшествия их забавляла.

Боль пришла потом, в тюрьме, а тогда, на Гороховой, в доме градоначальника, была пустота и какая-то непонятная легкость, тихий звон в голове. И желание спать.

Ее что-то спрашивали, она отвечала.

Подъезжали важные сановники, лица у всех были любопытные, испуганные. Заходили взглянуть на нее. Глядели с порога.

Судебный следователь начал снимать показания. Она назвалась Козловой. Козловой Елизаветой Ивановной, дочерью поручика. Так и в прошении было написано.

— Вы проживаете на Звериной улице?

— В тринадцатом нумере...

— Проверим. Справьтесь по городскому телеграфу,— распорядился следователь, и его молоденький длинноногий помощник, смотревший на нее с открытым ртом, кинулся выполнять поручение.

Потом принесли фотографический прибор, поставили против нее на треноге, и суетливый фотограф, накрывшись черной тряпкой, говорил: «Спокойно, мадам, замремте раз...», а она не могла замереть, и все решили, что она старается исказить свое лицо. «Напрасно, сударыня, вам это не поможет!»

Потом на нее кричали, топали ногами. «Вы не Козлова! Вы лжете! Кто вы? Кто?! Ваше настоящее имя?»

Она не отвечала. Сидела, положив руки на колени, и не испытывала ни жажды, ни чувства голода, хотя день уже давно клонился к вечеру. Она только однажды не вытерпела, попросила следователя дать ей папироску, и он, такой строгий и официальный, при этой ее просьбе встрепенулся, охлопал себя по карманам, расщелкнул серебряный портсигар: «Ах, да... Прошу. Сделайте любезность». И голос его прозвучал нормально, по-человечески.

Следователь, высокий господин с большим некрасивым лицом и умными, усталыми глазами, смотрел на нее строго, но без злобы. Ее дело свалилось на него неожиданно, он нервничал от присутствия большого начальства, которое непрерывно заглядывало в комнату, перешептывалось в дверях. Он явно не знал, как вести себя, ведь это даже и на очень независимого человека подействует: десятка два генералов и дюжина сенаторов на пороге. Ей было немного жалко его, такого солидного, умного и такого растерянного, словно гимназист на выпускном экзамене.

Наконец следователь закончил допрос, откланялся и ушел, положив все бумаги в потертый портфель.

— До завтра, мадемуазель... Козлова.

— Будьте здоровы.

В дверях молоденький помощник следователя обернулся, кинул на нее восторженный взгляд. В его глазах она явно была героиней!

Сколько-то времени она еще просидела на Гороховой, затем ее вывели черным ходом во двор и в черной полицейской карете с белым сугробом на крыше повезли на Пантелеймоновскую улицу — в тюрьму Третьего отделения.

К ночи холодало. Болело разбитое колено, и щека расцарапанная саднила. Начали зябнуть ноги, прежде чем подъехали к железным воротам и караульный жандарм отворял их, гремя промороженным железом. Ей приказали выйти, и четыре солдата, окружив ее, повели по расчищенной в снегу дорожке: «Ать, два... ать, два...»

Свернули направо, прошли вдоль наглухо закрытых дощатых экипажных сараев, вдоль длинного одноэтажного здания, белевшего в темноте, вошли под следующую арку. Солдатские шаги гулко ударили под каменным сводом. «Левое плечо вперед...» Перед ними возвышалось кирпичное трехэтажное здание с решетками на окнах. Это и была тюрьма Третьего отделения.

Вдоль плоского кирпичного фасада ходил часовой в длинной караульной шинели, туго перепоясанной. Он остановился, посмотрел, как ее ведут, проводил взглядом до дверей.

В нижнем этаже тюрьмы помещалась кордегардия, оттуда несло солдатским духом — сапожным дегтем и табаком. Во втором и в третьем этажах были камеры.

На этаж прошли через массивную дверь из толстых железных прутьев. У двери стоял навытяжку жандарм. Он пропустил ее, сделав шаг в сторону: она прошла. За спиной загремело железо, и метнулись тени.

В высоком коридоре по левую руку тянулась глухая холодная стена, крашенная охрой, а справа были двери четырех камер. Смотритель отомкнул ту, что предназначалась для нее. «Пр...р...ошу!..» — рявкнул над ухом.

И почему во всех тюрьмах пахнет одинаково? Откуда и как, за сколько дней, недель, лет возникает этот тошнотный тюремный запах? Из чего он складывается, запах отчаяния, ужаса и страха, запах безысходности, и как пропитывает он собой все здание — стены, воздух, белье? Это очень просто, если сказать, что пахнет отхожим местом, прелой тюремной пищей, немытым человеческим телом, ограниченным пространством. Тюрьма неволей пахнет! Но тюрьма не просто карательное, пенитенциарное учреждение. Тюрьма — обитель скорби, и не было случая, чтобы, попав в нее, человек вышел таким, каким был когда-то.

Попав в тюрьму, человек прежде всего должен потерять свою индивидуальность, потерять себя. Он уже не человек, не тот, каким был вчера, он заключенный, он жалкий узник, зверь за решеткой, изгой, презренный раб, неутешный свидетель кораблекрушения...

В тюрьме изменится цвет его лица, кожа станет желтой, ломкой. Изменится походка, он начнет шаркать в тяжелых казенных башмаках, и голос его зазвучит иначе, резче и

тише, сдавленный камнем и железом, но прежде всего узник пропитается этим страшным запахом отчаяния.

Ученые-тюрьмоведы подтверждают, что во всех тюрьмах извечно стоит один дух. Что в Древнем Риме, что в Вавилоне, что в каменном городе Санкт-Петербурге на Неве.

Принесли казенную одежду, велели переодеться. Выдали халат из тонкого офицерского сукна. Ни в Петропавловке, ни в Литовском замке таких халатов не полагалось, только в тюрьме Третьего отделения. Все ее вещи унесли. На столик поставили кружку теплой воды с пятикопеечной булкой сверху и еще дали ей десять папирос и десять спичек.

В камере стояла железная кровать, застеленная байковым одеялом. Волосяной матрас, две подушки, простыни — все было чистым и помеченным чернильным штемпелем Третьего отделения.

Она легла. Лежала, курила, думала о Маше. Как у нее? Если Маша тоже выстрелила, то, возможно, завтра уже начнутся беспорядки. Если студенты выйдут на улицы... Что будет, если студенты выйдут на улицу? Главное — привлечь внимание общества! Выразить протест, ведь они на это рассчитывали. Сколько можно слова разные говорить о свободе, о чести, о попрании достоинства личности! Сколько можно болтать! Действовать пора. Народ надо воспитывать на фактах вооруженной борьбы. Хватит соловья баснями кормить!

Если у Маши ничего не получилось, Маша сможет вернуться на бывшую ее квартиру, там переночевать, а утром снова поехать к Желеховскому. Приговор прокурору подписан!

А может, Маша тоже уже арестована и лежит избитая, в соседней камере? Она дотянулась до стены, постучала костяшками пальцев по холодному камню. Ответа не было. Да и вряд ли их с Машей могли поместить в соседние ка-

меры. Они встретятся на эшафоте, их поставят рядом. Прочитают приговор. Священник в траурном облачении протянет крест для целования... Нет, смерти она не боялась! Ни капельки. Ее должны повесить. И пусть! Или подвергнуть расстрелянию. Какая разница? Одно мгновение — и жизнь кончена. И не будет уже ни боли, ни страха, ничего не будет. Она сама приняла решение. Все уже сто раз передумано. Она выполнила свой долг, это главное. Ну, не доживет она своих двадцати или тридцати лет, сколько ей там до старости отпущено было судьбой. Старухой не будет, внуков не увидит, до двадцатого века не доживет. Ну и что? Для истории ее жизнь — мгновение. Да и сколько людей прошло уже этот путь, именуемый жизнью. Миллионы, сотни миллионов, и у каждого была своя судьба, свои заботы, своя боль, и все умерли, а сто лет пройдет, так вообще никого уже не останется ни из ее знакомых, ни из друзей, ни из жандармов, которые ее караулят. Всех по кладбищам развезут.

Спать надо. Спать. Спать. Во что бы то ни стало заснуть, чтоб завтра быть на человека похожей, когда начнутся новые допросы. Собой она была довольна. Пока все шло хорошо. Дело сделано. Надо было представить себя маленькой, бегущей наперегонки с веселыми собаками, и заснуть.

Жучка, Монах, Барбос... Они бегут, ее друзья, виляют хвостами, потявкивают от восторга. А она — за ними. «Господи,— плачет Мимина.— Господи, барышне так не подобает...» А почему барышне так не подобает? Ветер душистый. Шумят на ветру деревья. Вперед! Ура! Ура! Сдавайтесь, французы!..

Она думала о человеке, которого любила. Завтра он должен был узнать о ее выстреле в своей тюрьме. Как он там?

Ее любимого звали Львом Дейчем. Она называла его Женькой, это у него была такая кличка. Ей нравилось его

имя, но называть его Львом она не могла, тут возникала какая-то тавтология, что ли. Масло масляное. Он был горд, как лев, и, как лев, бесстрашен. Вместе с двумя друзьями ее Женька организовал тайную дружину в Чигиринском уезде Киевской губернии. В подпольной типографии они отпечатали «Высочайшую тайную грамоту», в которой обращались к крестьянам будто бы от имени государя императора Александра Николаевича. «Верные нам крестьяне. Со всех концов государства нашего слышим мы жалобы дорогого нам крестьянства на тяжкие угнетения искони враждебных ему дворян...» В этой грамоте крестьянам повелевалось объединяться, чтобы готовиться к восстанию против дворян, чиновников, всех высших сословий.

Чигиринские рассудительные мужики поверили, что бумага пришла к ним от самого царя, денно и нощно пекущегося о благе крестьянства. За семь месяцев в дружину записалось около двух тысяч крестьян. Стали запасаться оружием, на десятки, на сотни разбились, сотников выбрали. Но один дружинник, выпив лишку, в угаре и крестьянской безмерной тоске, мутной, как чигиринский рассвет в кривом кабацком окне, проговорился. Плакал мужик, бил кулаком по столу, грозился всех богатеев до поры до времени, не дожидаясь царского приказа, порешить! Руки вытягивал, растопыривал заскорузлые пальцы, тряс над столом, будто кровь стряхивал.

В то утро бойкий трактирщик донес обо всем по начальству. Сам шарабан заложил и поскакал в волостное присутствие, озираясь и вздрагивая. На неделе понаехали в Чигирин жандармы. Начались аресты. Арестовали многих крестьян и под охраной с саблями наголо, под бабий визг повели по пыльной чигиринской улице прямехонько — ать, два — в киевскую тюрьму. Туда же, только в дворянское отделение, препроводили и выдававших себя за царских эмиссаров Дейча, Стефановича и Бохановского.

Им всем грозило суровое наказание. Сибирь и каторга по крайней мере. Но на суде могло открыться еще одно дело. Ее Женька убивал шпиона Гориновича.

В Одессе светлой июньской ночью вместе с Яковом Стефановичем, мужем Маши Коленкиной, и Виктором Малинкой они подкараулили того шпиона. Малинка ударил Гориновича кистенем по голове. Горинович упал. Женька облил его лицо серной кислотой, чтоб труп не опознали.

Но шпион выжил. Ослепший, оглохший, с развалившимся лицом, вылепленным будто из грязного теста, он дал показания.

За тайную грамоту и дело Гориновича Женьку со Стефановичем должны были повесить. Сколько слез они с Машей пролили! Но знали: их любимые примут смерть, как и положено настоящим революционерам.

Во сне она видела Женьку на эшафоте. Его прекрасное лицо не исказил страх. Высокий, резкий, он выслушал приговор с гордо поднятой головой. И она тоже найдет в себе силы выслушать и не вздрогнуть.

Но вдруг никакого приговора не будет? Вдруг завтра — уже завтра! начнется революция? Вдруг... А если нет? И все-таки самое страшное было уже позади. Она боялась, что не сможет выстрелить. Но ведь смогла. И в тюрьме Третьего отделения вместе с болью — все-таки поколотил ее Курнеев! — пришло к ней какое-то беспокойство, неясное чувство, нет, не раскаяния, а какой-то бесконечности. Тоски, жалости... К кому жалости? Она еще не поняла.

На Гороховой был момент, когда следователь ушел, и ей показалось, что ее вот-вот повезут в крепость, и она как можно спокойней, даже вроде бы усмехнувшись, спросила дежурного офицера: «Могу я получить свою шляпу и надеть ее?» Офицер не ответил. В комнату входил высокий человек в узком гвардейском мундире. Она поняла: это сын Трепова, Сын негодяя. Но сын все-таки! При нем ей

не следовало говорить так. Надо было как-то иначе. Другим тоном. А лучше всего промолчать. Но он вошел неожиданно. Остановился в дверях как вкопанный. Его холеное лицо было растерянным и жалким. Зачем он хотел посмотреть на ту, которая стреляла в его отца, и что он хотел увидеть, поди реши, вытяни ниточку из клубка!

Если бы он кинулся на нее, начал бить, как Курнеев, ей было бы легче. Понятней по крайней мере. Ну, подошел бы и дал пощечину. Но он остановился, как у невидимой черты. Замер. Его бледные губы дрогнули, лицо исказилось. Он взглянул на нее, повернулся и вышел сутулясь.

А может, это был и не сын Трепова? Просто похож на него, но почему это ее мучит? Его взгляд и весь он растерянный, точно ребенок.

Как объяснить сыну, что его отец достоин наказания и у нее не было цели убить его или обязательно тяжело ранить. Ей надо было выстрелить, чтобы вся Россия услышала ее выстрел! Как все непросто, когда на тебя глядит человек, для которого Трепов не генерал-адъютант, не обер-полицмейстер столичный, не самодур, не временщик, а отец! Отмахнуться. Забыть. И пусть великая идея народной свободы даст тебе силы не сомневаться, не прятать взгляда, но это не все, это только начало. Перед тем как повести в тюрьму, на некоторое время ее оставили одну. Даже караул убрали. Она сидела посреди пустой комнаты, с зарешеченным окном. В доме градоначальника было тихо, жарко, и с улицы не долетало никаких звуков.

Она знала, что служебные помещения располагаются на двух нижних этажах. Сам Трепов и вся его семья живут выше.

И вот, когда ее оставили одну, оттуда сверху раздался тихий звук и ей показалось,— конечно, ей показалось! что там, над ней, плачет маленькая девочка, внучка Трепова. Задыхается, топает ножками, размазывает по щекам слезы. Жалеет дедушку.

Попытаемся представить себе ту женщину, которая назвалась Козловой. Как лежит она на тюремной койке, закинув руки за голову. Чадит ночник. По коридору ходит дежурный жандарм, с любопытством заглядывает в ее камеру и, округлив усталый, ко всему приученный глаз, качает головой: это ж надо! В самого Трепова девка бабахнула! В чем душа держится, а туда же... Ну и времечко горячее навалилось... Что-то будет...

Очень скоро она назовет свой выстрел преступлением, будет стоять на том, что террор не средство политической борьбы и не метод. Но ведь она стреляла! Она не в тихом кабинете за широким столом среди умных книг пришла к окончательному решению. Она его выстрадала. Так что же было первым импульсом и началом в тех страданиях? Извечный вопрос: имеет ли право один человек отнять у другого человека то, что, раскаявшись, не сможет ему вернуть?

Что заставило стрелять Елизавету Козлову, дочь поручика, маленькую женщину с большими серыми глазами, острым подбородком и чистым, высоким лбом? Подруга Маша ей внушала, что так надо? Так было решено ее революционной организацией? Жизнь так сложилась? А нужно ли было стрелять? Ей много раз будут задавать эти вопросы. Сколько вопросов! И еще один. А может, Колька Горинович вовсе и не был шпионом? Кто его обвинял, какие были доказательства его вины, кто его защищал, где заседал тот безжалостный трибунал и где найти протоколы того заседания? Ведь человека могли оговорить, обстоятельства могли роковым образом против него повернуться. Как все сложно!

1878 год. Над Петербургом гуляет колючая январская метель. Гремя оружием и коваными сапогами, сменяются часовые у тюрьмы Третьего отделения. В кордегардии хра-

пят, а в караулке, расстегнув мундиры, при свечке подчаски режутся в дурачка, прислушиваясь к тяжелым шагам над головой. Бьет два часа пополуночи и три. Она лежит без сна и не может заснуть. Перебирает события дня с самого раннего утра.

Она сделала все, что должна была сделать: выстрелила, бросила револьвер на пол и, когда ее спросили, за что же она стреляла в Трепова, ответила: «Я мстила за Боголюбова». Ее поняли.

За Боголюбова...

3

Утром стреляли в градоначальника. Кто стрелял, по какому поводу, голова гудит, ничего не ясно.

Иван Самсонович и без того проснулся поздно. В ночном халате, с тяжелой головой пил кофе, а старый дядька Семен, изогнувшись над ухом, шлепая губами, рассказывал, что к градоначальнику вызвали доктора Склифосовского. Профессора.

— Сказывают, наповал. Так стрельнули, страсти-то экие, Иван Самсонович, батюшка!

— Кто стрелял? Крутит-то как...

— Нигилисты.

— Ты скажешь. Какой им резон, нигилистам? Стрелять? В Трепова? В Федьку? Подлинно вздор. Хотя именно вот в него в самый раз и надо бы стрелять, в разбойника... Иди прочь, не гундось над ухом, без тебя тошно...

Так и сказал — не гундось, а в другое время немедля приказал бы закладывать и мчался бы уже к себе в канцелярию, несмотря на то что месяц как рапортовался больным и отстранился от службы. Все так, но накануне у Ивана Самсоновича была беспутная неделя с друзьями по кавказским походам, с цыганами, с шампанским, ох, ох,

сил нет никаких, с мадам Велье кудлатой и двумя ее кузинами Матрешей и Дашей. За все плачено заранее — за вино, за паштеты, за побитые зеркала, если вздумается, обеим кузинам — по сто, самой мадаме — сто пятьдесят, гуляли прямо-таки скажем, как в молодые годы — по-преображенски, в штыки, ребята! И теперь подкатило время расплаты с головной болью чугунной, с изжогой, с душевными муками: чего это я там делал? кому в морду плевал? Господи, господи... А при чем тут Трепов? Ах да, стреляли... Кто стрелял, почему...

— Семен! Семен, кто тебе рассказал?

— Об чем? Об Трепове? Так уж весь город почитай с утра раннего только об этом...

— Ох, мать ты моя, владычица,— тяжело простонал Иван Самсонович и, оставив недопитый кофе, проследовал шаркающей походкой в кабинет, потребовав туда содовой воды, и немедленно.— Распустились, ленивцы, дармоеды... Всех повыгоняю... Крутит-то как, ой крутит...

Сидел, пил содовую, закидывал голову, ждал облегчения и вспоминал великие слова того русского генерала, который, мучаясь с похмелья, говорил: «Нет, господа, нет... сода на коньяк... не идет...»

На душе было тускло, беспросветно. Денщик доложил, что пришел портной Маврикий Афанасьевич, принес панталоны и вицмундир. Это могло отвлечь, поэтому Иван Самсонович приказал устало: «Зови!»

Маврикий Афанасьевич вошел бочком, пошмыгал носом, все определил на нюх, но виду не подал, потупился и, перекрестясь, начал опять же с Трепо́ва:

— Ваше превосходительство, Иван Самсонович, слыхали... Весь город шумит! Федору Федоровичу отомстили... Вот уж жизнь окаянная пошла. В приемной зале прошения принимал...

— Знаю,— капризно сказал Иван Самсонович,—нигилисты.

— Господь с вами, какие ж нигилисты,— Маврикий Афанасьевич всплеснул руками.— Турецкий лазутчик! Ахметка. Как к Цепному мосту повезли, так и сознался, змей...

— Быть не может!

— Доподлинно! За Плевну мстил. Выстрелил и орать: «Алла! Алла!» Япычар...

— Да что они, турки-то, решили Федьке, старому вору, мстить?

При портном называть градоправителя вором, может, и не следовало. Но такая уж сложилась у Федора Федоровича репутация, и как-то даже принято было иначе его и не величать во всех сословиях. Вор и вор. Так что Маврикий Афанасьевич не принял замечание Ивана Самсоновича за особое доверие к себе или откровение с похмелья.

— Вор вором,— вздохнул он и строго посмотрел на подмастерья, стоявшего у дверей с узлом в руках.— А все ж таки муж государственный. Облечен. И градоправитель не в Торжке где-нибудь, а в столице. Государственная амбиция, ваше превосходительство. Большой по Европе шум пойдет, на то и расчет.

— Окстись. Быть того не может. Темень ты наша непросветная... Ох и голова же трещит...

Начали примерять.

— Эко ты мне мундир в грудях сузил,— капризничал Иван Самсонович.— Приклад убери.

— Никак нельзя,— мычал Маврикий Афанасьевич, не разжимая губ, потому что держал во рту булавки.

— Сузил, я те говорю. И панталоны глянь!

— Панталоны в банте отлично. Гут, гут... Под ремень или на помочах носить будем?

— Да не гут, я тебе говорю, не гут! Смотри.

— Стойте, ваше превосходительство, смирненько.

— Ох, ох, ох, постарел я, да... Совсем старый. Уж и корпуленция не та, живот торчит...

— От майора и выше живот считается грудью,— поспешно успокоил Маврикий Афанасьевич.

— Слова все, слова...

— Девка в его стреляла! — выпалил вдруг молчавший до того подмастерье.

— Чего?

— Баба то есть, ваше превосходительство. За жениха мстила как есть.

— Любопытно.

— Да не слушайте вы его, Иван Самсонович, это ж ушей не хватит,— взмолился Маврикий Афанасьевич и, выплюнув булавки в ладонь, обернулся к подмастерью: — Ты б лучше ласы выучился убирать, чем разговоры говорить!

— Пусть говорит. Однако...

— Так точно, девка. Сказывают, за жениха мстила. За конного гвардейца ротмистра Боголюбского. Его градоправитель на гауптвахту поставил, а у них свадебка подошла.

— Уши б мои не слышали, Иван Самсонович!

— Час от часу не легче! Какое Федька отношение к конногвардейцам имеет? Вздор...

— Не могу знать, ваше превосходительство. И вы на меня, Маврикий Афанасьевич, так не глядите, выстрелила и сама же сказала. Я, говорит, за жениха!

Кое-как закончили примерку, и странно — разговоры о выстреле поначалу не внесли в настроение Ивана Самсоновича никакой оживленности. В организме по-прежнему не было ничего, кроме похмельного равнодушия. Стреляли, ну и ладно. А может, и не стреляли вовсе. Кто сказал? Проверить надо. Но проверять не хотелось.

Он походил по кабинету, не спеша допил содовую, и тут, вероятно, голова начала потихонечку работать сама собой, и возникли первые за день мысли.

Если и вправду стреляли, подумал он, то в Третьем отделении столпотворение вавилонское, уж небось и кор-

пус весь на ноги поставили, и полицию городскую и уездную, и в штабе от усердия дым стоит коромыслом. Может, до самого государя дошло, делаются запросы о настроениях в посольствах и, чтоб впросак не попасть, пора предсказывать европейское на сей счет мнение. Не ко времени выстрел! Балканские события не улеглись, да и градоправитель столичный! Все так, вор вором, а муж государственный... Облечеп. Верно портняжка рассудил.

Иван Самсонович почувствовал легкость, приказал бриться и закладывать, и чтоб живо! В доме началось движение.

День был холодный. С моря тянуло мокрым ветром, и, садясь в санки, запахивая медвежью полость, Иван Самсонович определил в природе полное соответствие душевному своему состоянию: там тоже светлело. Но первого, беглого взгляда было достаточно, чтоб почувствовать, что в городе произошло нечто из ряда вон. Ему явно ухмыльнулся ямщик на углу Литейного: видит, жандармский генерал катит, осклабился, рожа! В другое время и шапку бы скинул, и задрожал бы, а тут ухмыляется, каторжный... В подворотне на Невском собрались в кружок дворники, судачили о своем, заметили, затыкали пальцами — эвон, эвон, гляди, бежит на Гороховую.

— Живей! — приказал Иван Самсонович и, чтобы не леденило виски, глубже надвинул жесткое кепи, по старой памяти называемое каской или даже кивером.

И то верно, если без пристрастия прикинуть, кто такой Трепов Федор Федорович, выходит большой курьез... Командир конного жандармского полка в Киеве, варшавский обер-полицмейстер, получил генерал-адъютантство и монаршую благодарность за наведение порядка в царстве Польском. Но не видать бы ему столицы как собственных ушей, поросших седым пухом, если б не события 4 апреля 1866 года.

Тогдашний столичный генерал-губернатор, светлейший князь Александр Аркадьевич Суворов, внук генералиссимуса, слыл либералом и добряком. Будто бы он государю, взволнованному студенческими беспорядками и загадочными поджогами, имевшими место в столице, говорил: «Ваше императорское величество, мне положительно известно, что через несколько дней будет в Петербурге наводнение и что его сделают наши студенты».— «Ну вот ты всегда шутишь»,— отмахивался государь. Отмахивался до тех пор, пока не грянул каракозовский выстрел. Тут ясно стало, что Суворов распустил вожжи. Недоглядел. Не остерег.

Утром 15 апреля его вызвали в Царское Село и сообщили, что он отстраняется от должности.

В два часа дня бледный, сутулый Суворов явился к поезду, чтоб ехать в город. На перроне толпилось блестящее царскосельское общество, бывшего губернатора уже не узнавали, многие отворачивались. Суворов прошел к своему вагону, взялся за поручень. Как губернатор, он ездил без билета. Но на этот раз кондуктор потребовал: «Ваш билет?» — «И ты, анафема, туда же!» — только и сказал Александр Аркадьевич и некоторое время стоял у вагона под любопытными взглядами, под тихое хихиканье всего перрона, пока офицер, которого он попросил, не принес из кассы билет.

Так вот и попал Федор Федорович Трепов из грязи в князи. Государю нравились сильные люди, не столько делами, сколько внешностью. Федор Федорович бравостью импонировал и преданностью. Ох, губят они Россию, преданные без лести, думал Иван Самсонович. И кто объяснит государю, кто приведет ему в толк, что другое время на дворе, и откуда это мнение, что Россию и русское хамство может сдержать только хам?

Едва появившись в Петербурге, Трепов показал усердие чрезвычайное. Начал с требования повысить жало-

ванье полицейским чинам, справедливо находя неверным положение, согласно которому полицейские команды комплектуются из неспособных 2-го разряда. Писал в докладных на высочайшее имя, что полицейский обязан иметь приличный наружный вид. До него об этом тоже писалось. Но он первый добился своего. Выбил-таки Федор Федорович форму! А уж после казни Каракозова и жалованье городовым добавили. Но Трепов не этим удивил сановный Петербург, а подходом к делу. Он такой циркуляр тогда издал и такой порядок обеспечил, что ахнуть только. Расписано все было до мелочей. И кому где стоять, и куда прибыть, и когда, и в каком составе. Ничего не забыл! Все учел. И то, что толпы любопытных могут помешать на пути следования с Тучкова моста на Васильевский остров, когда из крепости злодея повезут, и квартальным надзирателям вменил в обязанность во время казни всемерно усилить надзор, и дворникам находиться у ворот своих домов во избежание воровства, и главному врачу полиции отрядить частных врачей для подания в несчастных случаях пособия... Мезенцев Николай Владимирович руками развел — профессионалист, одно слово! Научили его в Варшаве кое-чему...

Трепов порядки завел в городе драконовские. И чистота появилась, и дворники в фартуках с бляхами на груди, и полицейские с бляхами, чтоб номер был виден и тем заранее пресекалось всякое злоупотребление в службе. Ездил по городу, стоя в пролетке, и ветер трепал его шинель, одетую в опашку. Кутузов! Замечал все упущения. Но странное дело, а может, и не странное вовсе, Трепова сразу же невзлюбили. Даже свои же полицейские честили старым вором и ярыгой, а когда Федькой называли, это уж было вроде даже ласково.

У дома градоначальника со стороны Невского стояло оцепление. «Давай!» — гаркнул Иван Самсонович на растерявшегося было кучера, кивнул, отвечая на поспешное

приветствие конвойного офицера, и, на ходу, откинув полость, спустив ногу, чиркнул шпорой по примятому снегу.

К Трепову только что подъехал сам государь. Казаки императорского конвоя еще не успели спешиться. Государь, чуть сутулясь, двумя пальцами придерживая полу длинной шинели, шаткой гвардейской походкой поднялся на крыльцо. Суета стояла вокруг необыкновенная. «Стой здесь. Давай...»

Первым из своих Иван Самсонович увидел полковника Герца, добродушного остзейского немца, рыжего, конопатого, любопытного до чрезвычайности.

— Ваше превосходительство! Иван Самсонович, видали каково! Черт те знает что! Злодейский факт. Я, право, фраппирован, ваше превосходительство, и не могу определиться во мнении, но, по-моему, наш российский нигилизм становится явлением государственным. Право, так! Я только что оттуда. Сам очень плох, а она...

— Кто она?

— Мерзавка. Никаких устоев, никакой нравственности. А сам очень плох. Думали уже причащать.

— Чего не поделили?

— Заявила, что стреляла за Боголюбова. Помните у полковника Федорова? В Доме предварительного заключения беспорядки прошлым летом. Федор Федорович приказал выпороть...

Теперь уж точно, час от часу не легче! Жених, наверное. За жениха мстила, решил Иван Самсонович и, слегка отстранив Герца, сделал шаг к крыльцу. Было очевидно, что выстрел имеет непосредственное отношение к прямым обязанностям, а не к службе вообще.

История с беспорядками в Доме предварительного заключения проходила через его раздел, каким-то уж там непонятным ракурсом, а значит, следовало сегодня же и не мешкая вызвать офицера для поручений, затребовать копии докладов. Могли последовать запросы из кабинета, да


ЗА РАЗБОЙ

и на личном докладе шеф вправе был спросить, раз она назвала Боголюбова, что там произошло. И государь здесь! Кто такой Боголюбов? Не было у бабы забот...

В день демонстрации, на площади перед Казанским собором, это в позапрошлом, семьдесят шестом году, в декабре был он арестован. Точно так. Студент Архип Боголюбов. Сын не то дьячка, не то священника, нигилист и прокламатор. Помнится, в той демонстрации, организованной группой молодежи нигилистического пошиба, когда говорились противуправительственные речи, государственных преступников Чернышевского и Нечаева вспоминали, размахивали красным полотнищем со словами «Земля и Воля», он был замечен. И затем, когда сработал русский наш телеграф и понеслось по городу, что у Казанского побоище, и действительно началось, он оказал физическое сопротивление. Следовало уточнить, в чем это выразилось. Иван Самсонович не помнил.

Из агентурных сообщений он знал, что немногочисленных в общем-то чинов полиции поддержали дворники и гостинодворские приказчики. Казанских тех демонстрантов били по-кулачному, без милосердия.

Боголюбов был взят по подозрению, «за костюм», был обыскан в Невской части и при обыске «показал» револьвер системы «Бульдог», за что был судим Особым присутствием правительствующего Сената вместе с другими казанскими демонстрантами и приговорен к каторжным работам.

До отправки в Сибирь Боголюбов находился в Доме предварительного заключения, где и произошли беспорядки, так или иначе взволновавшие столичную публику гораздо больше самой демонстрации, которая, по мнению многих либералов, была беспочвенна и вызвала со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение.

Начальствующий над Домом предварительного заключения полковник Федоров был в отпуске по болезни, за-

мещал его треповский холуй, некто майор Курнеев. «От майора и выше»,— значит, и этот в счет. А поскольку Федоров считался солдафоном и большим филантропом, Курнееву, состоявшему при особе градоправителя для особых поручений, велено было обнаружить упущения в службе. Надо понимать не иначе.

Как-то в одно прекрасное утро, 13 июля кажется, Федор Федорович прибыл в предварилку с инспекторским визитом как градоначальник. Осмотрев помещения, вышел во двор в серой своей летней шинели на красной подкладке, надетой, естественно, в опашку, «по-треповски», и, находясь не в духе, был суров. Во дворе тем временем прогуливались арестанты, и среди них Боголюбов. Чего уж к нему придрался старый Федька, полная неясность. Будто бы тот поклонился недостаточно почтительно или поклонился, но не снял шапки, но только в этом факте Федор Федорович, отец-командир, обнаружил неуважение к себе и к мундиру, замахнулся, сбил с Боголюбова шапку размахом руки, затопал ногами и приказал высечь в назидание.

Само по себе решение его, надо думать, импонировало высшему начальству. Нечего с этими паршивцами сантименты разводить! Да и кто их всерьез принимает! Парня разложили, оголили. Тут случился полковник Дворжицкий, доверенное лицо Трепова, важный мужчина, команду отдал: «Начинай!» И, пожалуй, тихо бы все сошло, хоть телесные наказания были отменены и отмена их вместе с крестьянской реформой и судебными новшествами зачислялась в великие победы нынешнего царствования. Того только по хамской своей натуре Федор Федорович не учел, что действия его стратегически, то есть в широком смысле, могут напоминать произвол турецких пашей, от коего русское воинство во главе со всей царской фамилией спасает болгарских братьев по вере. Тут либеральная пресса могла увидеть аналогию. Думать надо, когда порешь, не в Торжке градоправительствуешь, в столице... А во-вторых,

время для экзекуции тактически выбрано было совершенно неподходящее. Тюрьма была битком набита. Со всей империи другие федьки рьяные, Жихарев, прокурор, и иже с ним собрали всех, кого могли,— готовили огромный процесс, чтобы единым махом покончить с преступной пропагандой.

Боголюбова пороли на глазах у всей тюрьмы. Демонстративно. И тюрьма взбунтовалась! Били окна, кидали во двор обломки тюремной мебели, кричали. Тут разгоряченная стража, засучив рукава, принялась наводить порядок. Сведения о побоище появились в газетах...

Если она невеста Боголюбова и мстила за свою любовь, за человека, которому отдала первый сердечный трепет,— один подход, думал Иван Самсонович, а ежели это политика, то тогда навалятся по нашему ведомству и держись, Ваня, всю душу вытрясут, да...

Подошел к парадному подъезду, к дубовым резным дверям, в которые только что проследовал государь, вскинул руку к козырьку: солдаты у дверей уже застыли, оба разом взяв по-ефрейторски на караул, обернулся к Герцу:

— Иван Францевич, следуйте за мной, вроде как для особых поручений.

— Сочту за честь!

У Трепова только что попытались извлечь пулю. Но не извлекли. Старик был плох, и, выйдя к собравшимся в малую гостиную перед спальней, куда перенесли раненого, профессор Склифосовский сказал внятным шепотом, что опасности не предвидится, но осложнения возможны. Возникли вопросы и замечания тоже шепотом:

— Доктор, а глубоко ли проникла пуля?

— Боже мой, у себя дома... В своих стенах...

— Политика...

— Политика, несомненно!

— Несомненно...

Вокруг Склифосовского толпились сановные. Иван Самсонович увидел графа Палена, обсыпанного сигарным пеплом, рядом с ним величественного Лопухина, ленивого, розовощекого, недавно назначенного прокурором палаты. Тут же дергался прокурор Железховский, главный обвинитель на жихаревском процессе, он только что приехал из дома, там ждала его какая-то молодая барышня, сказавшая горничной, что пришла сообщить что-то важное, но он принять ее не успел: спешил к Трепову.

Железховский, известный рогоносец и, по мнению Анатолия Федоровича Кони, «судебный наездник», ломал руки, то закрывал глаза, тряс широкими крахмальными манжетами, то поднимал взор к потолку, призывая в свидетели высшего судию, и это выглядело слишком театрально, а потому нелепо.

Когда государь шел к раненому, Железховский сказал: «...это выстрел в империю», и государь обернулся к нему, посмотрел с интересом.

Чуть в стороне, опершись о мраморный подоконник, стоял Мезенцев, высокий, свежий, величественный, с ним генерал-лейтенант Селиверстов, самый красивый мужчина Третьего отделения, и еще два голубых генерала с одинаково сделанными скорбно-тревожными лицами.

Вся эта скорбь была тем более ненатуральной, что сам же Мезенцев вызвался вести расследование о финансовых упущениях петербургского градоправителя. Вот что выяснить было бы весьма интересно! Как это получилось, что, имея должность по четвертому классу при жалованье в семь тысяч рублей на год, при трех тысячах столовых, трех тысячах разъездных и квартирных — в натуре, Федор Федорович оказался вдруг миллионщиком. И ведь известно было, что унаследованного за ним не числилось, еще в Киеве беден был как церковная мышь.

Теперь главный начальник Третьего отделения и шеф корпуса жандармов, бывший сослуживец Ивана Самсоно-

вича по гренадерской роте Преображенского полка Николай Владимирович Мезенцев стоял печальный и торжественный и выражал скорбь, будто не знал, кто такой Трепов, и в глубине души не ликовал, что поделом досталось старому вору. Так ему и надо!

— Рад видеть вас, генерал... В такую минуту радости мало, разумеется. Как чувствуете себя? Справлялся о вашем здоровье...

— Сам себя поднял,— входя в роль скорбящего, печально отвечал Иван Самсонович,— узнал про Федор Федоровича... Беда...

— И не говорите! О чем они думают сэ кошон [1], опять Шарлотта Корде... Опять Боголюбов... Либеральничаем, вот в чем причина! Небось Нечаев ваш либеральничать не будет.

— Сложное положение, при чем тут Нечаев?

— Нечаев — это... Нечаев...

— Куда как сложней! Демонстрация на Казанской площади, антр ну суа ди [2], случается в то время, когда отечеству более всего требовалось показать силу и единство перед врагами внешними, ныне, в не менее горячую минуту, стреляют по градоначальнику, и все это, опять же, обратите внимание, имеет оттенок, намекающий на нашу внутреннюю слабость.

У постели раненого государь пробыл недолго. Он вошел, аккуратно ступая по ковру, присел возле широкой кровати, попробовал улыбнуться.

— Ваше величество,— начал Федор Федорович, веки его задрожали, глаза наполнились горячей влагой,— ваше вели...

— Не надо. Я все знаю,— ласково отвечал государь. — Тебе не следует двигаться. Лежи спокойно.

— Ваше величество...

[1] Эти свиньи *(франц.)*.
[2] Между нами говоря *(франц.)*.

— Я слушаю тебя. Слушаю, друг мой.

Александр взял руку раненого в свою, сжал. Сложное чувство охватило старика Трепова: боль, восторг, жалость к себе и гордость: ведь сам же государь приехал! Не забыл старого слугу престола и отечества!

— Ваше величество, теперь я покойно... тихо мне... без страха готов... приму смерть, государь, видит бог...

Александр достал платок, прикрыл глаза. Он был жалостлив по натуре, видеть не мог мужских слез, хотя сам, случалось, плакал. Говорили, что у государя глаза на мокром месте.

— Тужур... Всегда по закону, по-отечески, он же мне, Боголюбов, в сыновья... сына родного так же бы, если б против устоев... На командира как так обиду держать? И меня пороли, а что он в уме повредился, то стечение...

— Все будет хорошо.

— А они в меня пулей,— продолжал Трепов, всхлипывая.— В слугу вашего. Это пуля, может, тем и счастлив, вам назначалась, а я ее за вас принял.

Государь вздрогнул.

Сплоховал Федька! Генерал-адъютант, а ума, как у рыбного лавочника: разве ж можно государю такую заслугу выставлять! После каракозовского-то выстрела, после того, как в Париже покушался на государя поляк Березовский. Думать надо, полицмейстер столичный!

— Выздоравливай,— сказал Александр сухо и вышел.

— Это выстрел в империю,— вякнул Желеховский и осекся.

Государь смотрел строго, даже зловеще. Он подошел к Склифосовскому. Все расступились.

— Оружие было марки «Бульдог», не так ли?

— Так точно, ваше величество. Выстрел произведен почти в упор.

— Опасность значительная?

— Будем надеяться...

Александр вздохнул, обернулся к Палену. Граф сделал шаг к государю.

— Расследование идет?

— Самым экстренным образом. Виновные будут наказаны.

— Виновные? Но это дело личной мести. Женщина мстила за жениха, я так думаю.

— Да, государь, личная месть, но...— Пален еще не понимал, чего от него требуется.

— Виновных не надо. Хватит больших процессов. Ординарное уголовное дело.

Александр сделал короткий военный полупоклон, все пришли к выводу, что на его лице застыло выражение затаенного страдания, которому он старался придать грозный вид, и удалился, цепляясь шпорами за ковер.

— Женская ревность, господа, всегда была у нас на Руси явлением государственным,— выступая вперед, бодро выпалил полковник Герц.— И я ничуть не удивлюсь, если вскоре они пустят в ход шпаги и шашки драгунского образца.

По незначительности чина Иван Францевич обязан был держаться среди собравшихся в тени, но тут вдруг осмелел, понимая, что может привлечь к себе внимание, начал весьма вдохновенно:

— То, что для англичанки или для француженки просто как чашку кофия выпить, для нашей драма! И сердечные страдания у нее, и душа рвется, и вот стреляет. Интересные наблюдения на этот счет имеются у Казановы...

Слова Герца вносили разрядку, тем более легкую и приятную, что уводили из политических сфер в область личной мести. Мезенцев одернул мундир, Селиверстов приготовился к веселым неожиданностям, а оба скорбных генерала подались вперед.

Герц рассказал, что великий покоритель женских сердец Казанова, прибыв в Петербург, имел цель соблазнить,

пардон, саму императрицу Екатерину Великую. Но увлекся молодой графиней Натальей Н., которая полюбила его безумно, а потому ревновала и требовала, чтоб он понимал ее душу. Когда он задерживался в клубе или у друзей, она травилась мышьяком, пыталась заколоть себя, стреляла в Казанову, срывая со стены оружие. Казанова кидался к ней, чтоб спастись, они боролись на ковре, она душила его, обливаясь слезами, и в такие вот минуты была у них близость, по мнению Казановы, ни с чем не сравнимая!

— Похоже на истину,— Селиверстов туманно улыбнулся.— Русские женщины — загадка.

— Загадки...

— Каждая в своем роде. Да...

Мезенцев потрепал Ивана Францевича по плечу, двинулся было к выходу следом за судейскими, но вдруг остановился, взял Ивана Самсоновича за пуговицу.

— Все материалы по казанской демонстрации — раз. Все о Боголюбове — два. И всю подноготную этой мерзавки особо.

— Слушаюсь.

— Приступайте немедленно, все материалы на высочайшее имя должны быть подготовлены сегодня же. Вечером фельдкурьером в Зимний! Насчет личной мести не обольщайтесь, это политика, из этого и будем исходить.

Внизу в канцелярии градоначальника за длинным столом против следователя Кабата и начальника петербургской сыскной полиции Путилина сидела девушка с расцарапанной щекой. Ее темные волосы были гладко зачесаны назад, большие серые глаза смотрели печально. Она назвалась домашней учительницей Козловой, но Путилин полагал, что имя вымышленное.

— В прошении указана Звериная улица. Запрашивали по городскому телеграфу. Под означенным нумером

числится пустопорожнее место. Только что следователь для верности ездил сам. Дотошный попался. Адрес с потолка взят, так где ж вера, что она Козлова?

— Кем ей приходится Боголюбов?

— Неясно еще, Иван Самсонович. Битый час об этом талдычим.

— Политика?

— Увольте,— Путилин хитро прищурился.— Дело пойдет как уголовное, намек высочайший. Судить будут как воровку с Апраксина рынка.

— Хрен редьки не слаще.

— Для кого как.

Назвавшаяся Козловой зябко поводила плечами, хотя в канцелярии стояла духота, как и во всем треповском доме. Дров не жалели — казенные.

— Политика не политика, а в кого стрелять — здорово выбрала,— прошептал Путилин.— Тут, ваше превосходительство, следует согласиться: вторую такую персону, как Федор Федорович, еще поискать...

— Кем вам приходится политический преступник Боголюбов? Я вас который раз спрашиваю. Потрудитесь отвечать!— сердился следователь.

— Я вам который раз отвечаю, что никем. Я его не знаю,— отвечала девушка, и голос ее показался Ивану Самсоновичу неожиданно резким. Не было в нем ни мелодичности, ни приятной для слуха женственности. Курящая, сразу же определил он.

— Вы лжете! Вы что меня за глупца считаете,— волновался следователь.— Я что, по-вашему, дурак?

Она промолчала.

Ясно, дурак, решил Иван Самсонович и посмотрел на Кабата с сожалением. Кто ж так допросы снимает, олух царя небесного! И вдруг он почувствовал решительность, сделал несколько поспешных шагов к столу, зашумел, разводя руками:

— Ну героиня, героиня... Видим, что героиня. А теперь пора уже настоящее имя открыть. Если вы думаете, что это кому-то навредит, то глубоко ошибаетесь. Все ваши наверняка успели уже скрыться...

Девушка молчала.

— Место в истории вам обеспечено,— усаживаясь за стол напротив, продолжал Иван Самсонович вполне добродушно, и расчет у него был как раз на это добродушие.— В гимназиях и в уездных училищах имя ваше будут изучать. Шаг с вашей стороны, я бы сказал, решительный, однако что за упрямство...

Докончить он не успел. Привезли срочно вызванную начальницу женских курсов генеральшу Ермолову, раскрасневшуюся от мороза и волнения крупную женщину в распахнутом манто. У следователя возникло предположение, что стрелявшая одна из ее воспитанниц.

— Ну-ка-с, ну-ка-с... Присмотритесь внимательно.

Начальница смотрела испуганными глазами.

— Узнаете? — торопил следователь.

— Нет, не узнаю, — отвечала Ермолова растерянно.— Первый раз... Я, право...

Ее поблагодарили за хлопоты, извинились и проводили до дверей. Вздохнув с облегчением, генеральша призналась, что по дороге сердце у нее разрывалось от ужаса.

— Вдруг она одной из наших оказалась бы?.. Сохрани Христос. Курсы бы закрыли.

— Это не факт,— ответил ей Иван Самсонович и вернулся к столу.

— Вы стреляли за любимого человека, это решительный шаг,— волновался следователь.— А теперь вы отказываетесь признать его любимым! Вы отказываетесь от него...

— Я его не знаю.

— Я облегчу вашу задачу. Он ваш жених? Любовник? Можете не отвечать. Кивните. Да?

— Я ж вам сказала, что я его не знаю. Не видела я его ни разу...

— Очень оригинально! Ваше настоящее имя?

— Козлова. В прошении написано. Козлова Елизавета Ивановна...

— А не угодно ли вам узнать, что вы лжете, любезная Елизавета Ивановна. Назовите ваше настоящее имя, это облегчит вашу участь, подумайте...

— Ну что ж, признаюсь. Я не Козлова.

— Так кто же вы? Кто?

— Запишите, что я не желаю назвать себя.

— Очень оригинально!

В докладе на высочайшее имя лично для просмотра государю пришлось написать:

«Личность, покушавшаяся сего числа на жизнь С.-Петербургского Градоначальника и назвавшаяся первоначально дворянкою Елизаветою Козловой, при допросе отказалась от принятой ею фамилии Козловой и в настоящее время подписывается «не желающей назвать себя».

Из допроса вышеупомянутой личности, отобранного Судебным Следователем Кабатом, видно, что она задумала покуситься на жизнь Градоначальника с того времени, как сделалось известным по газетам, что некий Сановник высек содержащегося тогда под стражею сосланного по делу о беспорядках 6-го Декабря на Казанской площади Боголюбова, и решилась отомстить именно Генерал-Адъютанту Трепову за то, что она слышала, что наказание Боголюбова произведено было по его распоряжению. Лично Генерал-Адъютанта Трепова она не знала и говорит, что ей было бы безразлично, убить его или ранить.

На дальнейшие вопросы о том, была ли неизвестная под судом или следствием, она показать не пожелала, и о том, где приобрела револьвер, не говорит.

Постановление о содержании под стражею неизвестной составлено Судебным Следователем Кабатом на основании 9,114 и 1454 ст. Уложения о наказаниях.

Неизвестная арестована при III Отделении.

Завтра дальнейшее дознание будет продолжаться при Жандармском Управлении.

24 Января 1878 года».

Позже говорили, что чуть ли не в тот же день появился стишок, который враги Федора Федоровича поспешили с приличной миной донести государю. Полковник Герц тогда же на всякий случай занес его в свой личный блокнот, куда заносил крамольные сочинения подобного рода:

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился божий бич,
И упал градоправитель,
Как подстреленная дичь!

В те же дни впервые прозвучал в столице еще и совершенно новый анекдот, позднее много раз повторяемый. Рассказывали, что как только у дома градоправителя выставили оцепление и поползли слухи, что стреляли, и образовалась толпа, и начались вопросы: «Кто стрелял?», «В кого стреляли?» — дюжий городовой говорил очень порусски: «Разойдемся, господа! Не толпиться... В кого надо, в того стреляли...»

А стрелявшая между тем имени своего так и не открыла и на всеподданнейшем докладе по Третьему отделению государь наложил резолюцию: «Это упрямство совершенно напоминает Каракозова». Странная резолюция при уголовном-то деле! Ну да чего не бывает, тем более что возникло предположение вернуться к одному очень нашумевшему имени и суду. Будто бы по приметам проходила там одна барышня, похожая на стрелявшую.

Ту звали Верой Засулич...

4

Иван Засулич, отставной капитан и горький пьяница, простудился на псовой охоте и умер, оставив неутешную вдову и пятерых малолетних сирот.

Имение Засуличей деревня Михайловка — восемь дворов, 40 душ и 200 десятин в Гжатском уезде Смоленской губернии — давным-давно было заложено и перезаложено в опекунский совет. Доходов не предвиделось.

Старшего, Мишу, отдали в военное заведение, он вышел в лейб-гвардейские гренадеры, дослужился до больших чинов, командовал Вторым сибирским корпусом и в бою под Тюренченом проявил крайнюю растерянность, потерял управление, вынужден был отступить и вышел в отставку генералом от инфантерии. Но это имело место много лет спустя, уже в русско-японскую войну 1905 года. Миша успел, и не один раз, отречься от своих сестер, родственных чувств не признавал так энергично и с такой яростной искренностью, что преуспевал в службе: ценили преданность.

Однажды она увидела его на Невском. Навстречу ей шел плотный, подтянутый генерал. Рядом катилась черная лакированная коляска. Миша шел, склонив седую голову, и нарядный офицер, наверное адъютант, забавлял его приятным разговором.

Она остановилась. Она была нелегальной, того еще не хватало, чтоб он узнал ее. Не выдал бы, наверное. Нет. И городового не кликнул бы, и жандармам не донес запиской, что встретил сестренку, но настроение себе испортил бы надолго, и мадам бы свою извел, и домочадцев, и она это поняла. Остановилась, прижавшись к стене. Стояла, смотрела, как ее брат Миша, хозяин жизни, идет по земле, заложив руки за спину.

Вере было три года, когда ее отвезли за десять верст в Бяколово к теткам Микулиным. Благодетельницам.

Она много раз собиралась писать воспоминания. Начинала, но находились неотложные дела, а потом она всегда робела перед листом чистой бумаги, ловила себя на том, что писать о себе неловко. Другое дело — просто вспоминать...

Для издательства «Шиповник» взялась она как-то переводить роман Уэллса «В дни кометы», и так как давно не читала по-английски, то для упражнения накупила разных английских книг, уехала в деревню, сидела по вечерам на крыльце и читала «The time machine»[1].

Был вечер. Солнце за рощей уже совсем опустилось. Читать стало тяжело, положила книгу на колени, села на машину времени, помчалась в прошлое. Замелькали года цифрами в окошечке, защемило сердце. Лондон, Берн, Женева... это все потом, а тогда захотелось назад в Бяколово, в смоленские леса, в июнь, в теплынь, пропахшую первой скошенной травой, захотелось снова стать маленькой, лежать на полянке, раскинув руки и ноги, и смотреть, пока голова не закружится, как высоко над бяколовским садом плывут облака, таинственные и нарядные.

В саду стоял серый старинный дом с облупленными колоннами, с мезонином, с парадными комнатами, заставленными шкафами красного дерева и оклеенными плотными обоями — синими в серебряных звездах. В двенадцатом году в Бяколове останавливались на постой французские драгуны. На двери в гостиной была трещина. Пьяный французский офицер стукнул по двери ружейным прикладом, с тех пор трещину показывали гостям, при этом непременно добавляли с ужасом: «А из диванной... они конюшню... себе сделали!..»

За господским домом, за садом тянулась в пыли и звоне бубенцов бесконечная почтовая дорога, в два ряда об-

[1] «Машина времени» *(англ.)*.

саженная березами. Березы были старые, развесистые и весной покрывались зеленым дымным пухом.

По этой дороге двигалась на Москву, гремя обозами и артиллерией, армия Бонапарта. Бяколовские мужики любили рассказывать, что сам Наполеон останавливался в господском доме, сидел на веранде за самоваром в сером сюртуке, в треугольной шляпе, пил чай из блюдца.

Жизнь в Бяколове протекала размеренно и монотонно. Сегодня, как вчера и завтра, как при покойном папеньке, как при тех французах и при императрице Марии Федоровне, которая в свое время приласкала кого-то из Микулиных, приблизила к себе.

Старшая тетка Элен занималась хозяйством, заказывала повару обед, носила при себе связку ключей от чулана и каждое утро выслушивала доклады приказчика Капиши, Капитона Васильевича, хитрого, разбитного мужичка, незаконного своего братца.

— У меня матушка — крестьянка, а отец — барин,— выговаривал Капиша рассудительно,— и я вот худого не видывал ни от господ, ни от крестьян. Так-то.

— Ты, Капиша, умница,— заискивала тетушка, и Капиша, почем зря обворовывавший Микулиных, скромно хмыкал в бороду:

— На то господь — хозяин. Как определит...

В три года Верочку Засулич отдали на воспитание гувернантке Матрене Тимофеевне, неизвестно почему прозванной Миминой.

Старая, толстая, к тому времени почти уже выжившая из ума Мимина то смеялась, как дитя, то плакала навзрыд, увидев дурной сон, называла Веру не иначе как сироткой, а обучение начала с Вольтера: «O, toi, qui deroula tous les cieux, comme un livre» [1], впрочем не подозревая, что это Вольтер, ужасный вольнодумец, страшный человек.

[1] О ты, разворачивающий небеса, как книгу *(франц.)*.

«Мы здесь чужие,— внушала Мимина.— Нас никто не пожалеет. Богатой не станешь. Откуда богатство? Нету его. Папа́ не оставил. А принц замуж не возьмет...»

Почему принц не должен был взять ее замуж? Он влюбится в нее! Она, как Золушка, приедет на бал в карете из тыквы. На ней будет серебряное платье, как на той красавице, портрет которой висит в гостиной. Добрая фея подарит ей хрустальные башмачки... Вместе с принцем они будут есть земляничное варенье из банки и рассказывать друг другу сказки.

— Когда я вырасту, я буду красивой.

— Ты? Красивой?— искренне возмущалась Матрена Тимофеевна.— Не смеши меня, ради бога! Не в кого тебе красивой-то. Всю жизнь будешь, как я. И всем чужая.

А ей не хотелось быть такой, как Мимина, толстой и старой. И чужой не хотелось быть. Однажды за утренним чаем она сказала, глядя на тетю Элен:

— Я не чужая...

Тетя вскинула растерянный взгляд. Молочник задрожал в ее руке.

— Да, да, конечно, ты не чужая, Верочка. Конечно, конечно...

И сколько фальши было в этом «конечно»! Дети все понимают. Просто у ребенка нет масштабов для сравнения. Нет опыта лжи и опыта защиты от несправедливости. Первые скорби и тучи житейские... Какая буря должна клокотать в душе маленького человечка, когда папа́ нет, а маман приезжает раз в год и совсем она не такая, какой хотелось бы ее видеть, заискивает перед тетками, всем улыбается, все хвалит и даже с Миминой разговаривает уважительно: «Матрена Тимофеевна, я вам так благодарна! Матрена Тимофеевна, у девочки ведь есть способности?»— «Пожалуй, да»,— важно соглашалась Мимина.

Ей не хотелось быть чужой. «Я не чужая...» Даже фамилию свою переиначила, чтоб не так отличаться от Микулиных. И когда мальчик-казачок, высунув голову из прихожей, дразнился: «Верочка Засулич! Верочка Засулич!»— отвечала злым шепотом: «Нет, Микулич. Верочка Микулич!» Это ей было пять лет. В семь она уже не спорила, знала, что чужая. Чужая, и ничего не поделаешь.

Никто никогда не ласкал ее, не целовал, не сажал на колени просто так. Не называл глупыми, ласковыми именами, как всех других детей.

Зато ее любили собаки! О, это так здорово! С собаками легко, весело. С Бомбой, с Барбосом, с Шайтанкой... Между прочим, она всегда говорила, что собаки угадывают настроение, все понимают, умеют слушать, могут улыбаться. С собаками хорошо.

Платье вечно сидело на ней кое-как, воротничок испачкан, ленточка на голове съехала, двигалась Верочка порывисто, голос был громкий. Она не умела говорить так, как положено маленькой барышне. Тетушка Элен вздыхала:

— А ведь бедная девочка должна будет трудом снискивать себе пропитание. Решительно не знаю, что из нее будет.

Мимина плакала:

— Не слушаешься, пожалеешь, когда я умру. Захочешь тогда небось увидеть Миминочку, захочешь? Придешь на кладбище...

Шумели деревья в бяколовском саду. Во дворе дядька Серафим в распущенной рубахе, кряхтя, закладывал рессорные дрожки,— значит, тетки собирались в гости.

— Придешь?— спрашивала Мимина.

— Приду,— отвечала она, чтоб от нее отстали.

Мимина подбирала юбки, шмыгала носом.

— Придешь, ручей там, две-три березки да еще искренние слезы. Вот монументов красота!

Начинался душный вечер. Лиловая туча разворачивалась над далеким лесом. Ленивые куры копошились у забора. Мимина пребывала в грусти. Мимине хотелось поплакать.

— Придешь на кладбище, увидишь трещинку в земле, заглянешь в нее, а из земли взглянет на тебя нечто отвратительное. Ужасное! Увидишь череп с оскаленными зубами, а Миминочку уже не увидишь.

При этих словах Матрена Тимофеевна залилась горькими слезами, проплакала с полчаса и успокоилась только за вечерним чаем, выпив, по своему обыкновению, пять чашек. Пила, причмокивая и вытирая теплый пот белой салфеткой.

Тетки тоже любили все страшное. Долгими зимними вечерами, когда в полях трубила метель и по всему дому, разомлев в тепле, пиликали сверчки, при свече читали стихи: «Где стол был яств, там гроб стоит... Надгробные там воют клики». И, замирая от сладкого ужаса, крестились на темные окна, на слезливые деревенские огни.

Лаяли собаки, пахло дымом, и казалось, что эта бяколовская жизнь никогда не кончится. «Учись,— говорили тетушки хором.— Учись. Читала в святой истории, как ленивому рабу-то было, а? Помни, Верочка, ты бедная девочка, тебя учат, чтобы ты кусок хлеба могла иметь. Ты это должна чувствовать, ведь мы тебе добра хотим...»

К семи годам к первой исповеди она выучила «Верую», знала краткую священную историю в вопросах и ответах и под праздники, когда в Бяколове служили всенощную, стояла худенькая, тихая и серьезная и с открытым ртом прислушивалась к непонятным и таким загадочным словам священника отца Анатолия: «Пастырь добрый... душу свою... полагает за овцы своя, а наемник божий нет». При этом ей казалось, что наемник бежит по паркету прямо в черный проем двери, ноги у него длинные, тонкие, как соломины. Почему пастырь душу полагает и куда бе-

жит наемник, было совершенно неясно. Спросить же об этом старших она стеснялась. Да и не хотелось услышать, что добрый пастырь — это Мимина, а она овца или хуже того — «наемник», которого держат в чужом доме из милости, а он, неблагодарный, готов убежать, лодырничать, когда его учат грамоте и хотят ему добра.

Великим постом она читала Евангелие вслух всем теткам, детям и нянькам. Бог был добрым, хорошим, и, когда она читала, как с глазами, полными слез, он просит учеников не спать, потому что час его близок, ей делалось жутко до сердечной боли. Почему все спят? Как же так можно? Ведь его убьют! Больно ему будет! И больше всего ее расстраивало, что все бежали, все его покинули, бросили, обманули, такого доброго, и дети, которые встречали его с пальмовыми ветвями и пели ему осанна, тоже спали в ту страшную ночь.

Сколько раз она представляла себе, как вместе с хорошей девочкой, дочкой первосвященника, вдвоем они бегут будить детей. Всех будят и гурьбой несутся спасать бога. «Не спите, час мой близок...»

Гремит засов, с тяжким скрипом дверь приоткрывается, и к ней в комнату вваливается кто-то медведеподобный.

— Вставайте...

Наверное, уже утро. В зарешеченном окне темень, а из коридора в приоткрытую дверь вливается дрожащий газовый свет.

Жандарм принес кружку чая и пятикопеечную булку. Оглянулся опасливо и, подойдя ближе, зашептал:

— Это ты, что ли, в Трепова стреляла? Чем он тебе насолил-то, хы... сказывали, баба крупная, бой-баба, а ты мильятюрьная. Как револьверт подняла?.. Лежи, рано еще. На допрос после девяти поведут. За жениха стрельнула?

— Нет.

— Сказывай! Просто так, что ли? Жених тебе энтот, ну выпороли которого?

— Я его не видела ни разу.

— Да не пужайся ты меня,— жандарм снова оглянулся, синий газовый отсвет блеснул в его глазах.— Мы с ребятами вчерась в самый раз обспорились за тебя. Жених, не жених... Ежели за каждого поротого стрелять, так, считай, пол-России подняться должно... Ладно. Пей чаек. Еще захотишь, стукни. Я ведь не по охоте сюда попал, определили. Пей...

Он вышел, гремя сапожищами. Прикрыл дверь, и снова лязгнуло железо. «Час мой близок...» Да уж недолго, наверное, осталось.

Если б она верила в бога, как в детстве, она бы попросила его перед казнью укрепить ее дух. Дай мне, господи, умереть без боли! Чтоб я твердо дошла до петли, чтоб ноги не подкашивались, а то вдруг испугаюсь в последнюю минуту... Не сделай так.

Детские ее молитвы были другими. Обижалась на теток. Не хотела быть чужой. Хотела быть красивой. Стояла на коленях, шептала заветные свои желания.

— Ты чего к богу с глупостями пристаешь? К богу только с молитвой можно... Ты о чем шепчешь?— кричали тетки, а потом сами же и пугались: может, чем обидели сироту, может, на нас жалуется? Сиротская молитва угодна богу.

В своих воспоминаниях она напишет: «В пятнадцать лет я уже не верила в бога, и легко рассталась я с этой верой. Жаль было сперва будущей жизни, «вечной жизни» для себя, но жаль только, когда я думала специально о ней, о прекрасном саде на небе. Земля от этого хуже не становилась. Наоборот».

Наконец настало время расставаться с Бяколовым. Туманным утром дядька Серафим подкатил к крыльцу свой валкий шарабан. Вынесли ее вещички, сложенные в сундучок, увязали. Вышли тетушки. «Ну пора. Легкой тебе дороги, Верочка. Учись. Серафим, не пей в Москве». И

едва лошади тронулись, заскрипели колеса, тут же и поспешили тетки с крыльца по своим делам. Жизнь в Бяколове продолжалась своим чередом уже без нее.

«Легко расставалась я с Бяколовым,— напишет она.— Я не думала тогда, что весь век буду вспоминать его, что никогда не забуду ни одного кустика в палисаднике, ни одного старого шкапа в коридоре, что очертание старых дерев, видных с балкона, будет мне сниться через долгие-долгие годы...»

Тетушки определили на ее воспитание 150 рублей в год, искренне уверенные в смоленской своей глуши, что за такие деньги — деньжищи прямо-таки! — не только одну, а двух девочек можно отлично прокормить и выучить.

Нашли дешевый пансион в Москве близ Дорогомиловской заставы, на вывеске которого значилось, что устроен он для благородных девиц, но благородных там почти что и не было, учились все больше купеческие дочки, поповны. Папеньки вели торговлю на шумном Дорогомиловском рынке, сидели в трактирах, в лабазах, служили в соседних церквах, и очень их грело всех, что за умеренную плату доченьки будут играть своими пальчиками на фортепианах, шпрехать по-немецки и беседовать франсе, иначе хорошей партии не сделаешь.

В первый приезд Москва поразила Верочку Засулич, деревенскую барышню, величиной, шумом, грохотом, золотом церковных куполов. Стояли разносчики с лотками, с кувшинами.

— Ка-аму ква-ас? Квасок, квасок попыривает в посок!

— Сайки, калачи... С пылу, с жару, пятак пара...

Широкими пыльными улицами проносились лакированные экипажи, за зеркальными стеклами, откинувшись на сафьяновые подушки, веселые красавицы нюхали цветы. Громыхали по булыгам ломовики. Легковые извозчики лихо восседали на своих облучках.

— Эх, прокачу! Накинь, барынька, гривенник, на край света отлетим...

В Москве жила старшая сестра Катя.

Мать рассказывала, что отец не любил Катю, он любил своего первенца Мишеньку, а Катю, напившись пьяным, бил, и мать по слабости характера не могла заступиться и плакала вместе с ней, забившись куда-нибудь в уголок. А отец, посадив Мишу на колени, пел строевые песни.

Катя уже была взрослой барышней, снимала комнату и жила на свое жалованье.

Они росли в разных семьях, виделись редко, и вспоминать им особенно было нечего, но они сразу понравились друг другу, родные люди, только что встретившиеся в этом огромном, шумном, солнечном московском мире. Теплая нежность захлестнула их обеих. Значит, вот она какая, Катя! Старшая сестра.

— Катя, дай я тебя поцелую... Какая ты красивая, Катя...

— Верочка! Верочка, ты уже совсем большая выросла. Верочка, как я счастлива, что мы вместе!

Катя возила ее по Москве, угощала конфетами от Эйнема, пряниками от Педотти и удивительным лакомством, смесью изюма, винных ягод, фисташек и миндаля. Это называлось — «четыре нищих» — ле катр мандьян.

Они гуляли по нарядному Кузнецкому мосту, по ослепшей от солнца Петровке, по шумному Столешникову и Газетному переулку, по самым светским московским местам. Стояли у витрин перчаточного магазина и парикмахерской.

— Катя, Катенька, давай чего-нибудь купим, а? Вот те перчатки с пуговками...

— У нас нет таких денег.

— Мы бедные? Катя, разве мы очень бедные?

— В стране, где мы живем, стыдно быть богатым. Любое состояние наживается нечестным путем, честный че-

ловек обречен жить в бедности. Но это даже прекрасно! — весело засмеялась Катя, а Вере было обидно быть бедной и непонятно, почему это прекрасно. Богатой интересней, можно все покупать, ездить на красивых лошадях...

«Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в «стан погибающих»,— напишет Вера Ивановна, вспоминая те годы и первый приезд в Москву.— Никаких ужасов крепостного права я не видела, а к бедным сперва поневоле, с горькой обидой, потом чуть не с гордостью сама себя причисляла...» Как Катя!

Сестра повела ее в «Русский трактир», бывшую «Британию», помещавшуюся на Моховой рядом с университетом, в доме напротив входа в манеж, который по старой памяти коренные москвичи называли экзерциргаузом. В николаевское время любили такие вот по-военному звучные названия, чем больше «эр», тем лучше. Но николаевское время кончилось. В бывшей «Британии», сменившей вывеску в Крымскую войну и ставшей «Русским трактиром», собирались студенты, пили чай и вели умные разговоры об окончательном освобождении крестьян, о земском и городском самоуправлении, об опубликованных уже судебных уставах и новом уставе университета...

Новый государь Александр II отменил студенческую форму, теперь студенты ходили в статском, носили длинные волосы, и это было тем более удивительно, что в Москве еще совсем недавно никто не смел курить на улицах, блины полагалось есть только в масленицу, усы и бакенбарды разрешались одним военным, а бороды — купцам и крестьянам. «Увидел бы вас государь Николай Павлович,— вздыхал трактирный швейцар,— в гробу небось перевернулся б... Ай, нравы, ай, люди...»

Но особенно возмущали общественное московское мнение не длинноволосые студенты — чего со студентов взять?— а их коротко стриженные подруги в коротких темных платьях. Подруг называли девками, московские

купчихи, завидя их на улице, крестились, извозчики плевали вслед: тьфу, срам-то какой! Но на это не следовало обращать внимание. Катя курила на улице и беседовала со студентами, как с друзьями. Ее совершенно не смущали косые взгляды прохожих, и Вера гордилась ее независимостью и тем, что швейцар в «Русском трактире», такой толстый и важный, кажется, даже побаивался ее. Потом много позже она поймала себя на мысли, что тот швейцар наверняка состоял на службе в полиции: уж больно лживая была у него улыбка, наглый он был и трусливый, как нашкодившая шавка.

Тогда же в Москве, перед поступлением в пансион, в те несколько совершенно счастливых бесконечных дней, увидела она странное зрелище, потрясшее ее.

Вдруг на улице раздалась тревожная барабанная дробь. Она подбежала к окну, забралась на подоконник и увидела строгие лица солдат. Впереди, придерживая ладонью шашку, шагал офицер, а за солдатами, вздрагивая на булыгах, катилась запряженная парой сытых лошадей телега, выкрашенная в черный цвет. На телеге сидели двое мужчин и женщина, все в серых арестантских халатах, на груди у них висели черные дощечки с крупными белыми буквами...

Она выбежала на улицу. Позорная та колесница ехала медленно; она догнала ее и успела прочитать, что было написано на тех дощечках: «За разбой», «За убийство» и, кажется, еще «За поджог». Рядом шел, поигрывая плечами, красивый парень в красной рубахе с белым кушаком. Усмехался, вскидывал бровь. Палач.

Гремели барабаны. Мерно колыхался серый солдатский строй. Ей было интересно и жутко посмотреть, что же будет дальше, но она боялась заблудиться в огромном городе, дошла до угла, вернулась назад. К тому же она почувствовала вдруг, что ее тошнит.

Так первый раз она увидела начало обряда «публичной

казни». Тех преступников, приговоренных на каторгу или на поселение в Сибирь, лишенных по суду всех прав состояния, везли на Конную площадь, за Москву-реку. Там уже стоял воздвигнутый за ночь деревянный эшафот с позорным столбом посредине. Она не видела, но ей рассказывали, что арестантов по очереди палач вводил к тому столбу; если осужденный был дворянином, то ломал над его головой шпагу, затем на эшафот поднимался священник в епитрахили, давал целовать крест, произносил слова утешения. Затем громко читали приговор, опять гремели барабаны, солдаты вскидывали ружья, арестанты стояли неподвижно в наручниках, прикованные к столбу.

В юности все печальное забывается, и про ту позорную черную колесницу забыть бы ей к вечеру, если б не тот красивый парень в красной рубахе, подпоясанной белым кушаком. Зачем же он, такой красивый, сильный, в палачи-то пошел? Бедным не хотел быть! И, ворочаясь на узкой Катиной постели, все она думала о том, что когда-нибудь, через много лет, встретит этого парня, узнает его. Он ее узнает: ведь бывает же так, что увидел человека мельком и запомнил на всю жизнь. И ему станет стыдно. «Я согласен быть бедным,— скажет он.— Я хочу быть честным!» А она будет говорить ему, как Катя, и плакать и жалеть, и он поймет. Так она и заснула, думая о том красавце, весело идущем за черной колесницей, повозкой скорби и ужаса.

Настал день, когда Катя повезла ее в Дорогомилово в благородный пансион, где воспитанниц учили немецкому, французскому, музыке, танцам, манерам и остальному — so etwas [1].

Много лет спустя, уже взрослой, она облюбовала аккуратный садик с зеленой раковиной для оркестра, с узкими лавочками вдоль дорожек, выложенных красным кирпи-

[1] Чуть-чуть *(нем.)*.

чом. Оиа забиралась туда по утрам, выходила на маленькую полянку, садилась на пепек, читала «Новую Элоизу» Руссо, историю любви аристократки Юлин д'Этанж и разночинца Сен-Пре, гимн естествеиной человеческой страсти, сметающей все ханжеские условиости.

Оиа читала. Как вдруг рядом появилась чопорная, вся хрустящая, накрахмалеиная монахния. За ней гуськом шлн по траве воспнтаннннцы, девочки лет по двенадцать-тринадцать, все в одинаковых серых накндках и белых воротннчках. Монахиния рассадила нх в кружок, сама расположнлась посреднне, поерзала на месте, устраиваясь удобией, и начала рассказывать какую-то библейскую притчу, иудно, тоскливо, ну совсем как Мимина. «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы своя, а наемиик божий нет».

Девочки делали вид, что слушают, сидели, положив отмытые ладошки на колени, и только одиа все время крутилась, толкала своих подружек, строила забавиые рожицы; ей было скучно, оиа не могла сдержать свою эиергню.

Сестра-моиахиня оглянулась, побледнела от негодования, набросилась иа воспитанницу. Как же можно ие слушать! Ведь надо миого знать!

— При ваших даиных такое совершенио иепозволительио! Вас ждет труд, и вам иадо учиться. Вам не на кого надеяться, кроме как иа саму себя!

Девочка расплакалась. Моиахиня села в прежнюю свою позу и принялась за прерванную притчу.

Где истоки человеческой жестокости? Откуда все это? Почему в Бяколове и в паисионе ей внушали, что оиа некрасива, что иа хорошую партию рассчитывать не стоит. Разве главиое иазначение женщииы быть при мужчиие, быть супругой, любовиицей, содержанкой?.. Быть только принадлежиостью постели?

Жан-Жак Руссо, сыи часовщика, служивший лакеем, гуверпером, учителем музыкн, писал о любви гордой аристократки к скромиому юиоше из простого сословия. Он

боролся с одной несправедливостью, но есть по крайней мере еще одна. Серая кожа ее имя, тусклый взгляд, кривой рот... И пусть за всем этим скрывается тонкая душа, нежная отзывчивость, бесконечная преданность, кому она нужна, зачем это?

Мальчик может стать офицером, доктором, чиновником, мало ли кем разрешается стать мальчику, а у девочки одна профессия — она будет женщиной. Нужно быть нежной, кокетливой, уметь нравиться мужчинам, готовиться к любви. При слове «любовь» тетка Элен начинала дышать носом, будто нюхала жаркое, а в пансионе купеческие дочери переписывали в свои альбомы нежные стихи про любовь. У каждой был альбом с засушенными анютиными глазками, с наклеенными картинками, вырезанными из иллюстрированных изданий, с секретами. На первой странице непременно писалось цветными карандашами: «Бом, бом, бом, начинается альбом!» — и рисовались колокольчики, перевязанные бантиками. Считалось, что это приучает к рукоделию и дает девочке представление о том, как создавать домашний уют.

В Бяколове среди сверстников она была заводилой во всех начинаниях, самым главным атаманом Стенькой Разиным, и это главенство было отдано ей за смелость, неутомимость, прыгучесть, справедливость... Она бегала быстрей мальчишек, плавала, как мальчишка, собак совершенно не боялась. Не боялась высоких заборов, когда лазали по яблоки, а в пансионе была своя лестница достоинств. Свои вершины. Была девочка Аня, дочь полковника. Аня щурила глаза — вот уж в самом деле анютины глазки! — и, дергая круглым плечиком, капризно поджимала губы. Она имела право капризничать: была самой красивой и самой светской. Самой богатой считалась девочка Тася, дочь купца второй гильдии, белобрысая до рези в глазах, как придорожный лютик. Тася была влюблена в учителя географии, писала ему записочки, он от нее бегал. Тася

рыдала, била по подушке кулаками: «Да мне и не такого красавчика купят!» И верная Тасина подруга, худая и бледная девочка Надя, дочь дьячка, кивала, сидя у нее в ногах, успокаивала, что, ясное дело, купят, да и на этом свет клином не сошелся, тоже мне граф Бобринский! Вокруг Ани и Таси группировались свои партии. Дворянская и купеческая. А Вера не хотела примыкать ни к тем, ни к другим. Ни к купцам, ни к дворянам. Она была сама по себе и училась хорошо. Заявила вдруг, что музыка и танцы ей ни к чему. Гувернанткой она не будет! Все, что угодно, только не это. «Я гувернанткой? Дудки...» И замуж ей не надо! Подумаешь, радость какая сидеть в четырех стенах, с кухаркой ругаться да следить, чтоб мужу манжеты накрахмалили, когда рядом кипит настоящая жизнь, готовятся какие-то неясные, но огромные события, она это чувствовала и слышала от Катиных друзей.

У Кати в тесной ее комнатушке собирались новые люди — нигилисты, радикалы. Сидели за столом под керосиновой лампой, пили много чаю, спорили, курили, читали стихи Некрасова, рассуждали о борьбе в стане «погибающих за великое дело любви». Все они были старше Веры, но ей было легко с ними, понятно. Они были такими же, как она, чужими, забытыми детьми, это в глазах у них светилось, и, когда они говорили о любви, их любовь была бесконечной и щемящей, как далекий благовест над заснеженными бяколовскими полями. Их любовь была выстраданной и несравнимой с той пошлой, сюсюкающей, пропахшей духами, нафталином и подмышками, плотской любовью, о которой шушукались в пансионном танцклассе. А их песни! Их песни бередили душу, и плакать хотелось от жалости к ним ко всем, таким добрым, родным, таким хорошим и несчастным в несчастной своей стране.

— По пыльной дороге телега несется, в ней по бокам два жандарма сидят...— начинал студент Витенька. В его лохматой черной бороде открывался розовый юношеский

рот, и белые зубы влажно блестели в темноте.— Эх, сбейте ж оковы, эх, дайте мне волю, я научу вас свободу любить...

Тихо рокотали гитарные струны, в окне за запотелым стеклом стояла ночь, и молодые голоса Катиных друзей подхватывали слова этой песни, как клятву.

— Юный изгнанник в телеге той мчится...

Она слушала Витеньку и видела телегу и двух жандармов. Догорал закат, выгибаясь желтым керосиновым отсветом на боку остывшего самовара. Как далекий бубенец под дугой, позванивала ложечка в стакане, бесконечная дорога неслась куда-то, и желтой клеенкой на обе стороны стелилась закатная степь.

—... скованы руки, как плети висят... Эх, сбейте оковы, ох, дайте мне волю, я научу вас свободу любить...

Чаще других она встречала у Кати Льва Павловича Никифорова, студента-медика. Неторопливый, рассудительный Лев Павлович был явно влюблен в Катю, говорил колкости и старался выглядеть эдаким разочарованным повесой.

— Господа, вы путаете две вещи. Социальную несправедливость и просто несправедливость жизни.

— Жизнь по сути своей — великая справедливость. О чем вы, Лев Павлович? Все, кому она подарена, равны...

— Так уж и равны! Я, Екатерина Ивановна, мечтаю проснуться однажды утром высоким, голубоглазым брюнетом. А я вот блондин, и глаз моих не видно из-за толстых очков. Жизнь очень даже несправедлива! На страдания пришел ты в этот мир...

— Вы сейчас до того договоритесь, что человек создан быть рабом!

— Нет, до этого не договорюсь. Екатерина Ивановна, я так не считаю. Я считаю, что нельзя путать божий дар с яичницей. Наш мужик темный, забитый, бунтовать он не собирается, и как вы его научите свободу любить? Вашими песнями, Витенька?

— И песнями тоже!

— Песнями не выйдет. Надо нести в народ знания, грамоту, культуру, для этого нужны целая армия энергических деятелей и серьезный подход к проблеме.

— Да разве вам неизвестно, милостивый государь, что у нас в России невозможна широкая общественная деятельность! — восклицала Катя и смотрела на Льва Павловича испепеляюще.

— Не спорю, Екатерина Ивановна, невозможна широкая общественная деятельность, но скромную пользу на своем поприще смею делать!

— Ничего-то у вас не выйдет! Вы или разочаруетесь, или будете вести жизнь сытого профессионалиста, получившего образование и живущего за счет народа.

— Смею надеяться, что буду приносить своему народу пользу. Лечением... Медицина сделала большие успехи. Новые лекарства, новые методы, вот, говорят, в Америке нашли лекарство от рака.

— Вы мужчина, а каково женщине? Русская женщина может стать доктором в родном университете?

— Зачем вы меня спрашиваете? Нет, не может. Но только, по-моему, это и хорошо, что не может. Зачем женщине быть доктором? Это тяжелая работа. Попробуйте шесть часов кряду постойте за операционным столом...

Тут на Льва Павловича набросились со всех сторон. Называли ретроградом, сторонником домостроя, и неизвестно, что было бы дальше, если бы в спор не вмешался молодой человек в светлой пиджачной паре с чужого плеча.

— Нет, нет, у женщины, господа, свое призвание. Лев Павлович прав. И в новом обществе, свободном от угнетения человеческого духа, она останется богиней! Вдохновением! Скажите мне, что у меня кривые ноги. Да начхать мне на это сто пятьдесят раз! Не обижусь. А если сделать намек, что я плохой живописец? Это посмотрим,

конечно, но...— Он считал себя хорошим живописцем. Говорил и все смотрел почему-то на Верочку Засулич. Слушала она его внимательней других, что ли, но он апеллировал к ней.— Женщина должна быть женщиной. Это ее главное призвание. Это ее основная профессия, и вся она, ну вот вся целиком... женщина. Скажите ей, не мне, а ей, что у нее ноги кривые? Трагедия, не так ли?

Вера не выдержала, спросила тихим голосом:

— А если вам сказать не про ноги, которые вас не волнуют, а про то, что вы плюгавый и от вас всегда пахнет тухлой рыбой?

Живописец изменился в лице и сник. С тех пор он ее не замечал, а Лев Павлович долго сокрушался, снимал пенсне, вздыхал, покачивал головой, шептал:

— За что ж вы так художника-то нашего, господи, жестоко? Выпороли прямо-таки... Вас когда-нибудь пороли?

— Хотели один раз,— шепнула она.

— За что? — живо полюбопытствовал он, щуря добрые глаза.

— В саду кошку нашли повешенную. Тетки решили, что это я.

— Но это ведь не вы? Правда?

— Тетки решили, что я...

Она быстро привыкла к Москве, к московскому укладу. Уже не путалась в бесконечных переулках, не удивлялась уличному шуму, толкотне. На пасху ходила на Кудринку смотреть на праздничное катание. На всю жизнь запомнилось. Вечер, музыка, огни как крылья бабочек, и снег летит в глаза жемчужный и золотой. Фонари, фонари... Шубы на бобрах, на хорях, на рысях... Сани, застланные текинскими, бухарскими, арабскими коврами. Сбруи серебряные, кони тысячные, и мордастые кучера дышат винным духом: «Пошел, пошел!», «Посторонись, крещеные...»

На пасху каталось на Кудринке московское купечество, бакалейщики, галантерейщики, охотнорядские оптовики и бедные дворянчики, протокольные крысята коллежские, зябко поеживались, смотрели с панели на чужой пир, пряча тощие шеи в куцые воротники. Кончалось дворянское житье-бытье. Кончалось...

Ее привезли в Москву в те времена, когда на общественной арене уже начало возникать хамское рыло новых хозяев. Люд служивый, крапивное семя, с замиранием говорил в губернских канцеляриях не про Шереметевых, Юсуповых и роскошь фамильных их гнезд с крепостными театрами, мраморными дворцами, лепниной, каминами, севрскими сервизами. Другие уже назывались фамилии — Рябушинские, Морозовы, Прохоровы... И не Архангельское, не Кусково упоминалось в тех разговорах. Шуя, Иваново, фабричные слободки, населенные чумазым людом. Это тогда писал поэт: «Грош у новейших господ выше стыда и закона: нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона». И четверостишие было, врезалось в память на всю жизнь:

Бредит Америкой Русь,
К ней тяготеет сердечно,
Шуйско-Ивановский гусь —
Американец?? Конечно!

Дореформенная Москва — тихая, застывшая в зелени бесконечных Садовых, в блинном чаду и рыбном великолепии Охотного ряда — уплывала в прошлое, в золотые сумерки воспоминаний. Официанты в «Шеврие» и «Дюссо» лебезили перед господами в суконных поддевках и лакированных сапогах бутылками. Хозяева мазали лакейские рожи горчицей, куражились: «Желаю крем-брюле... Пошел вон! За все плачу!» Это из тех лет. Из той Москвы. «Отца на конюшне пороли. Дед господским коровам хвосты крутил. А я... Дай я тому очкастому в морду плюну!» «Стю-



дент, а студент! Желаю знать, как по-французски... самовар. Са-мо-вар! Скажи, я тебе три, не... пять рублёв! дам».

Все было! И генералов покупали, приглашая на свадьбу. И купеческая содержанка, шлюха из благородных в бриллиантах и шеншелях, скромно потупясь, скидывала с перчатки нищей старушке у Иверской божьей матери золотой империал. И гремел в ресторанных огнях соколовский хор у «Яра», и сам Соколов, в красном казакине, в синих шароварах с золотыми лампасами, играл на гитаре, и пел, и жонглировал гитарой, и вдруг, сделав ногами какой-то неведомый, неповторимый кунштюк, присев, поворачивался к хору, вскакивал, и зал охал в сладком восторге, и... «эх, да соколовская гитара, эх, до сих пор в ушах звенит...».

Русский образованный промышленник еще не народился. Эти были первыми во всем своем хамском первородстве.

— У нас буржуазия насаждается государством, верховной властью,— рассуждала Катя.— Им даются займы, субсидии неспроста. Это искусственное детище деспотизма призвано заменить крепостное право новым ярмом. И они еще страшней тех...

— Идет естественный процесс,— возражал Лев Павлович.— Россия покрывается сетью железных дорог, создает горное производство, хлопчатобумажное, сахарное. Надо идти в ногу с веком.

— А возможна ли в нашей стране широкая общественная деятельность? Я опять об этом. Интеллигенция призвана воспитывать свой народ, учить его, просвещать. Это ль не требование века?

Лев Павлович робко теребил русую бородку.

— Я понимаю, широкая деятельность невозможна, но смею надеяться принести пользу на своем скромном месте.

— Ой, Верочка, не слушай ты этого человека! — Катя сверкала глазами.— Он придерживается того мнения, что

наши буржуа могут сделать для народа, для мужика что-то положительное. У нас в деревне общинное пользование землей. У нас мужик — социалист по сути своей, а вы в рот буржуа смотрите, эх, вы...

— Я им в рот не смотрю,— обижался Лев Павлович.— Я в аспектах социализма слабо разбираюсь. Но вот вы мне дали Лассаля почитать...

— По своим нравственным задаткам, по той коренной закладке чувств и душевных движений, которые в конце концов и определяют тип миросозерцания отдельной личности, сермяжный наш расейский мужичок в сто раз чище и естественней любого горожанина, начиная от бакалейщика и кончая каким-нибудь университетским вашим профессором, и вообще он здоровей так называемых «культурных слоев». Он шире, он мудрей! — горячилась Катя.— Он давно уже выработал в себе убеждение, что всякий человек имеет право получить место на пиру природы и что, если все места уже заняты, не беда! Участники пира должны потесниться, чтоб дать место вновь явившемуся.

— Русский мужик нравственно, я подчеркиваю, нравственно давным-давно готов к революции и переустройству общества,— поддерживал Катю студент, друг того раз и навсегда обидевшегося живописца.

— И в кого вы все такие отчаянные радикалы? — удивлялся Лев Павлович и недоуменно пожимал плечами.— Мужика еще лет сто надо учить и воспитывать, а профессора надо уважать, он профессор! И негоже априорно подозревать его в душевной нечистоте. Я, господа, при своем мнении остаюсь...

Как-то весной Лев Павлович провожал Верочку до пансиона. Спускались к Москве-реке от Смоленской площади. Она спросила:

— Лев Павлович, вы говорите, что надо воспитывать народ, учить мужика, а как?

— Задача не в том, Верочка, чтоб самому опуститься

до мужицкого уровня. Его следует поднять до своего уровня! А все это любование мужиком от незнания мужика, и мне оно глубоко несимпатично. Разные есть мужики, как и разные есть профессора...

— Что ж вы предлагаете делать?

— Учиться, Вера. Надо учиться.

— Чему?

— А вот поступили бы на медицинские курсы.

— Допустим. А выучившись медицине, я буду в состоянии поднять мужика... до уровня фельдшера?

— Вы переворачиваете вопросы. Так нельзя.

— Не обижайтесь, Лев Павлович. Я бы охотно согласилась с вами, что следует заняться медициной, но докажите мне сначала, что болезни — главное зло людей...

Ей нужно было бороться с самым главным злом. Сразу же — с главным! и никаких мелочей, нечего отвлекаться на мелочи!

В коридоре горят газовые рожки, а над Пантелеймоновской улицей уже светает, но по-зимнему скудно, и угол возле двери выступает из темноты резкой, тяжелой гранью, как форштевень большого корабля.

Дверь отворилась. Вошел жандармский офицерик, невысокий, юркий, пахнущий одеколоном и утренним ветром. «Доброе утро. Бонжур». Подвинул к себе табуретку, сел, снял кепи. «Извините великодушно. Я не по службе». Какой откровенный, однако! Не по службе он... «Я не утерпел. Думаю, надо взглянуть, право дело... Весь вечер только о вас и судачили. Собрались у Саламова в картишки перекинуться, да уж какие карты, право дело... Про вас да про Трепова весь разговор. Сегодня дежурство сдам, на квартиру прибегут — как она? что она? Да... всполошили вы наш тихий пруд...» — «Не такой уж тихий»,— ответила она и удивилась, что так легко вступила в разговор с жан-

дармом, насупилась. Офицер все заметил, усмехнулся: «Я несу караульную службу. Охраняю вас, а то убежать изволите или, не дай бог, руки на себя наложите, не открыв сообщников... Вы за вашего жениха стреляли? — Он понимающе вздохнул.— За любовь мстили, это в наш развратный девятнадцатый век надо очень понимать! Мы вчера все — я, Саламов, Клейнер, Смородкин, все мы! — завидовали вашему жениху! Право дело, не лгу... — Он вскочил с табуретки, глаза его горели восторгом.— Мы все... Мы... Молодое офицерство... Мы уважаем вас!» Он резко повернулся и вышел, маленький, ладный в мундирчике с начищенными пуговицами. Спать надо. Спать... Офицерство уважает... Господи, бог ты мой...

В бумагах Веры Ивановны есть такая запись: «Считала себя социалисткой с 17 лет... Всегда считала за счастье быть с революционерами, всегда готова была на все революционно-опасное, и чем опаснее, тем лучше. Поэзия революции быть в «стане погибающих», самопожертвование, личное равнодушие к материальным благам и отвращение к несправедливой погоне за ними среди нетрудящихся классов — вот это все увлекало в революцию». И опять — «Если было во мне что-нибудь незаурядное, так только одно: неспособность бояться для себя скверных последствий какого-нибудь поступка, равнодушие к своей будущей судьбе...»

Это с семнадцати лет... А в Трепова выстрелила она в двадцать восемь... Равнодушие к своей судьбе? Неспособность бояться скверных последствий?

С точки зрения здравомыслящего либерала, ей нечего было терять. Простите, господа, сказал бы такой либерал, воспитанный в духе самоварной российской действительности, всегда при кухарке, при дворнике, при тихом желании выпить рюмку и поговорить о чем-нибудь возвышенном, простите, господа, но девице и нечего было терять! Не было у нее ни семьи, ни будущего.

Это верно, у нее никогда не было ни семьи, ни двора своего, ни кола, ничего, кроме закопченного кофейника и черепахового портсигара, так что тот либерал, пожалуй, и прав: не велика заслуга отвергать то, чего у тебя нет. Но у нее было дело! Вера у нее была неколебимая и уверенность в том, что без конца так продолжаться не может. Почему одни с рождения до смерти рабы, а богатые бездельники — господа, патриции, хозяева жизни? Какое право имеет человек жить за счет другого человека, угнетая его, унижая его человеческое достоинство, обманывая, ради того, чтоб самому сытно есть, мягко спать? Она к бедным себя с гордостью причисляла! И презирала тех, кто всякие жизненные успехи подсчитывал количеством кастрюль, стульев, комнат, доходных домов, банковских акций, контрольных пакетов, квадратных верст своей вотчины. Царей она ненавидела. Маленьких и больших, тех, кто живет, не трудясь, и гордится, доволен такой жизнью. «Как же так? — говорила она друзьям, когда была совсем юной девушкой, воспитанницей дорогомиловского пансиона.— При рабовладельческом строе у каждого рабовладельца было несколько рабов и он жил за их счет. Если б любому из нас, современных людей, предложили такую жизнь, мы бы, конечно, отказались! Но чем мы отличаемся от тех рабовладельцев? Тем только, что не видим лиц наших рабов? А вот если б увидели, представляете...»

Она закрывала глаза и видела тех молчаливых, бородатых мужиков, обворованных господами, видела рано постаревших крестьянок, голодных ребятишек, вспоминала устоявшийся запах нищеты, голодных крыс, пробегающих по коридору дорогомиловского пансиона, учрежденного для благородных, но в общем-то недостаточных девиц.

С детства она восхищалась революционерами, людьми, отдавшими душу свою за друзей своих, она хотела быть похожей на них, чтоб быть независимой от обмана, в ко-

тором погрязли сытые, самодовольные хозяева жизни. Первыми ее героями были декабристы. И много, много лет спустя Плеханов, сообщая В. И. Ленину о статьях для «Искры», писал: «О декабристах должна написать Вера. Это ее жанр, она их знает и любит».

Она их знала и любила. Они были примером для подражания, герои, вышедшие на заснеженную площадь под барабанную дробь при развернутых батальонных знаменах, чтоб победить или погибнуть и лишиться ради своей идеи всего — чинов, богатства, благополучия. Вот где истоки ее отвращения к погоне за материальными благами среди нетрудящихся классов. Так ее ли упрекать — героиню и подвижницу, что не было у нее салфеточек, тарелочек, хрустальных рюмочек на крахмальных скатертях. Всепонимающая улыбка здравомыслящего либерала — гримаса ненавистного ей буржуазного мира. Она в вашем соревновании, господа, не участвовала! Ей претили ваши игры. И все ваши блага, ваше стремление к комфорту, к сытости, ваша грызня за теплые места — все это обижало ее. Ей жалко было вас, потому что человек должен быть выше личного, выше своего плотского, великие горизонты он должен видеть и жить ради идеи, а не просто так, существовать.

Она не уходила из богатой семьи, как Соня Перовская, маленькая женщина, дочь всесильного графа, всегда в темном платьице петербургской курсистки, с белым воротничком на высокой стоечке, невенчанная жена крестьянина Таврической губернии Феодосийского уезда Андрея Иванова Желябова. Стремясь в революцию, она не бросала молодого, вполне приличного супруга, как Верочка Фигнер, Вера Топни Ножкой, великая героиня, святая для друзей и женщина-монстр для врагов.

Путь Веры Ивановны естествен и объясним. Она оказалась среди революционеров потому, что не могла не оказаться.

Семью бы ей иметь к двадцати восьми годам, детей, мужа, думал следователь Кабат и сокрушался, что вот не получилось у нее, и выяснял, неясно ему было, «отвращение к погоне» возникло потому, что ничего не получилось, или ничего не получилось, потому что было отвращение. Тут все очень завязано, полагал следователь, правда, зависимость не прямая...

Многие биографы Веры Ивановны Засулич с умилением констатируют, чуть ли не ставя ей в заслугу, что и обед-то она никогда как следует не могла себе приготовить, и одевалась кое-как, и не следила за собой совершенно.

А сама она с присущим ей нигилистическим юмором, в стиле ее молодости подшучивала над собой и, прося, например, у товарища дать ей несколько номеров «Вестника Европы», статьи ей нужны были Вл. Соловьева о нравственности, писала: «Клянусь, что беспрерывно мыла бы руки, читая их».

Она не обращала внимания ни на одежду, ни на еду. У нее было дело. Великое дело. И не надо обижать Веру Ивановну, приводя ей в заслугу то, что не имеет оценки хорошо — плохо. Она была таким человеком. Характер у нее был такой.

Больше всего на свете она любила друзей. Она старалась не иметь предвзятого мнения, к чужим советам в данных вопросах не прислушивалась и в каждом новом человеке должна была разобраться самостоятельно.

Дейч вспоминал, что всякий новый человек вызывал у Веры Ивановны прилив добрых чувств и желание оказать немедленную услугу. Помочь деньгами, если деньги были, дать совет, перевести иностранную статью, написать рекомендательное письмо... Она суетилась, варила кофе, ее доброе лицо светилось, все сыпалось из ее рук, она просила рассказывать новости и слушала, слушала...

Постепенно, отнюдь не сразу, несмотря на все радушие, новый человек становился более или менее хорошим зна-

комым, про которого все было известно, но попасть на самую высокую ступень — из знакомых превратиться в друга — было очень трудно.

К людям ординарным Вера Ивановна очень быстро теряла всякий интерес и болезненно переживала, казнила себя, что вот сразу не разобралась, не поняла, не догадалась... «Видно ж сокола по полету, а молодца — по соплям...» — говорили ей. «Ах, бросьте,— сердилась Вера Ивановна.— Как можно оскорблять человека недоверием».

Всю жизнь она искала друзей. С самого раннего детства. Больше всего ей хотелось того, чего никогда она не имела,— ласки, внимания, заботливости. И самой ей хотелось быть доброй, защищенной в кругу верных товарищей, где все тебя знают и любят за то, что ты такая, какая ты есть. И не надо притворяться, стараться быть лучше, умней, интересней. Она платила за дружбу дружбой, вниманием, готовностью к самопожертвованию.

Сострадание к чужой боли, к боли поруганного человеческого достоинства в один день сделало ее героиней. Когда вся Россия молчала, она одна заступилась. Она одна вышла к барьеру и подняла оружие. Так был понят ее выстрел, его великий нравственный смысл.

К своему выстрелу она шла от любви, от ненависти к жестокости, от сострадания к чужой боли, ставшей своей, потому что, если Федька, облеченный властью за просто так, прихоть ему такая подвалила, приказывает выпороть невинного человека, это он приказывает выпороть тебя! Это с тебя, дыша тебе в лицо чесночным духом, хмыкая и усмехаясь, стягивают служители одежду. Разве ты не чувствуешь прикосновения их пальцев? Это тебя, да, да, тебя, рассуждавшего о разных высоких материях, Шиллера читавшего и Пушкина — «Мороз и солнце; день чудесный!..», волокут на лавку, оголяют... Нет, не тебя! Боголюбова какого-то... Ну что ж, тебе повезло. Но завтра-то тебя потащат, будь спокоен, поешь поплотней, распусти одну пуго-

вицу на сюртуке и, чтоб не так обидно было, если занимаешь должность, пусть даже маленькую, сорвись на том, кто еще мельче... Не пороли тебя? Не пороли. Выпорют! Завтра.

Ей никто никогда не сострадал. У всех были свои дела, кого интересовала бедная воспитанница в чужом доме, а потом дорогомиловская институтка, худенькая, незаметная девушка, некрасивая, что ей так или иначе на каждом шагу давали понять, бедная, слишком резкая, лишенная какой-либо женственности. Ни жеманства, ни кокетства, а надо, надо... Так жизнь устроена, мужчину заманивают. Тайной, мягкостью. «Эдакая бархатистость должна быть в движениях. Коготки, коготки спрячь»,— учила тетушка Элен; лицо ее принимало томное выражение. Она прятала коготки. Гадость-то какая!

И в ту страшную зиму, в тот январь, показавшийся ей лютым, она почувствовала чужую боль еще и потому, что та боль совпала с ее болью.

Она любила. И ее любили. Первый раз в жизни по-настоящему. Харьковские душные ночи ей вспоминались, открытое окно в переулок и запах его колючих усов. Милый... «Спи, Верочка, спи...»

Но была судьба и было дело, которому они оба служили. Его арестовали, он находился в Одесской тюрьме, и она не знала, известно ли следствию, что он покушался на Гориновича. Но все равно они уже не должны были встретиться. Не могли.

Когда-то в ранней молодости она презирала влюбленных. Она делала вид, что презирает, девчонка в сером байковом платье, с ситцевым белым воротничком. Дергала плечиком. «Какая глупость! Смотреть противно...» И отворачивалась.

Сестра Катя соглашалась и не соглашалась с ней.

Катя признавала любовь только как единение двух индивидуумов, спаянных одной высокой идеей, и напрочь от-

вергала божественную суть брака. Это все поповские россказни, сказки для несчастненьких обывателей, говорила.

— Позвольте, Екатерина Ивановна,— возражали ей,— но любовь — это еще и влечение. Шекспир, Петрарка...

— В свободном социалистическом обществе любовь будет свободна! Но...

— Прекратите! Не наводите флер на соленый огурец.— Катя закидывала дымящуюся папиросу в угол рта.— Во всех так называемых душевных порывах надо искать материальную основу, господа. Вся ваша любовь — это определенное сочетание молекул и атомов в кислотах и щелочах. Вас это устраивает?

В наши дни, через сто лет читая воспоминания Веры Ивановны, перелистывая в архивах ломкие желтые листочки, исписанные ее неровным почерком, понимаешь, что вся ее юность до четкого рубежа, определившегося в тот январский петербургский день, вся юность прошла в бесконечных поисках пути и спорах.

Ох, какими отчаянными спорщиками были Катины друзья и сама Катя, Екатерина Ивановна Засулич, московская нигилистка, коротко остриженная, в синих очках, всегда с папироской.

Все они спорили, но не все отдавали себе отчет в том, что слишком часто их захватывали сама стихия спора, шум, гам, сражение интеллектов, а не поиск решения.

Московские нигилисты, застольные потрясатели государственных устоев, они выросли в стране, где правил царь всероссийский, который казался им виновником всех бед. Они не видели со всей научной строгостью, четко и ясно, какие же силы стоят за самодержцем, классовый расклад общества был им ведом скорей на чувственном, литературном уровне, чем на научном. Они презирали, они ненавидели русского своего монарха, потому что, в их понимании, он являлся главным вершителем судеб людских и государственных, ведь царизм — это не только форма

правления, это еще и состояние духа, некий уровень мышления. Отношение к жизни, определенный взгляд на суть вещей — это тоже царизм. Слишком долго августейший самодержец правил Россией, страной нищих, обездоленных, угнетенных, униженных, ограбленных крестьян и живущих за их счет землевладельцев, дворян, чиновников, генералов, попов и всей той дряни, которая официально именовалась нарождающейся буржуазией. Монархия — всегда предвзятое мнение с детства, с юности, с молодых ногтей.

Русский царизм — это табель о рангах в крови. Полковник всегда умней подполковника. Так точно! Дворянин главней мещанина. Купец почетней крестьянина. И это на всех уровнях. Все расставлено, все расписано, всем известно, кто кому должен отдавать честь.

Чьи интересы выражал царь, ставленником какого класса он был? Вот вопросы, которые решала она потом. А тогда, в юности, в Москве, Катины друзья возмущались. Не может один человек править судьбами стран и народов. Но правил-то один царь, им казалось, что один, и в этом факте многое надо искать.

Не отсюда ли — как протест — возвеличивание серого российского мужика: пусть те, «жадною толпой стоящие у трона», славят царя, мы слуги «простого народа»; не отсюда ли любование сермягой: пусть те прозябают в роскоши, мы с гордостью причисляем себя к бедным! — и мысль на уровне подсознания, возникшая сама собой, четко и ясно, без какого-либо анализа классовых противоречий: если правит страной один царь — один ведь, им казалось! — то почему не может спасти ее один герой? Один выстрел, один взрыв...

В ленинской «Искре» она объяснит ошибку той нетерпеливой юности. Опубликует большую статью, но для этого во многом ей придется разобраться, и не в застольных спорах за самоваром среди шумных Катиных друзей.

Как трудно перекинуть мостик из сегодняшнего дня в тот, в прошедший день.

По Сретенке катит мокрый троллейбус, девчонки-десятиклассницы с хохотом перебегают на красный свет. Раскатисто заливается милицейский свисток. Рррр!.. Девчонкам весело, бегут по лужам, визжат.

Они еще в школьной форме, в темных платьицах, в передниках, но в них уже женщины просыпаются, какая-то неуклюжая кокетливость в них. Белые воротнички, туфельки уже не школьные. И постовой старшина усмехается, глядя им вслед, и сосед в троллейбусе...

Какой же была в их годы Вера Ивановна?

Вот идет она по Новинскому бульвару, воспитанница дорогомиловского пансиона благородных девиц. На ней серое байковое платье и стоптанные башмаки. Она неуклюжа и добродушна. Круглые серые глаза смотрят внимательно и доверчиво, рот чуть приоткрыт от любопытства к жизни, и во всей ее нескладной фигуре, еще совсем девчачьей, доброжелательность.

Ей хочется большого дела, настоящей работы, огромной любви. И чтоб было солнце, и чтоб на бульварах капало с деревьев и лужи блестели, как круглые зеркальца, в которые смотрятся кухарки.

Весной 1866 года в царя стрелял Дмитрий Каракозов, вольнослушатель Московского университета, уроженец Сердобского уезда Саратовской губернии. Верноподданная Москва ахнула в священном ужасе. Гудели церковные колокола. Москвичи осеняли себя крестным знамением, благодарили бога за то, что ниспослал простого русского человека по фамилии Комиссаров, который отстранил руку злодея. В газетах сообщалось: «Божие провидение предохранило драгоценные дни августейшего нашего государя. Преступник задержан. Расследование производится».

Вера знала, доходили до нее слухи, что в Москве существует какое-то тайное общество «Организация». Есть тайные склады оружия, и уже подготавливается восстание. Намекали, что во главе всего дела стоит Николай Ишутин, он, между прочим, агент какой-то революционной силы. Его уважали и как будто даже побаивались. Он говорил: «Наступит великий час, мы люди обреченные». И этот час называл прекрасной Фелициной. А ей казалось, только стыдно было сказать об этом вслух, что Ишутин — фантазер, склонный к мистификациям. Позже она писала, что не очень-то во все это верила: Коля Ишутин и вдруг тайное общество! Всякое, конечно, бывает, но, по ее мнению, во главе серьезного дела должны стоять другие люди.

Ишутин был двоюродным братом Каракозова. После ареста Каракозова в его вещах нашли письмо, адресованное в Москву. Начались аресты, допросы, очные ставки. «Ишутин на следствии старался выгородить себя и оправдаться,— пишет Вера Ивановна.— Почти все ишутинцы держались малодушно, спешили выразить раскаяние, давали откровенные показания».

Теперь мы знаем, что это совсем не так! Ишутин вел себя достойно. Брал всю вину на себя, выгораживал товарищей. Но ведь все документы того следствия и суда открылись только после Октября семнадцатого! Откуда было знать воспитаннице дорогомиловского пансиона, как вел себя Николай Ишутин, молодой человек, склонный к мистификациям. Значит, осталось такое ощущение из той весны, если так она написала много лет спустя.

Через год после каракозовского выстрела Вера Ивановна закончила пансион, сдала экзамены при Московском университете и получила звание домашней учительницы. Гувернантки. Льву Павловичу она сказала:

— Я не буду гувернанткой. Это мне не по душе совершенно. И учительницы из меня, думаю, не получится. Надо искать работу.

— А что, Верочка, если вам медициной заняться? — обрадовался Никифоров.

— Я читала,— сказала она,— что в вашей науке главное — гигиена, а положение нашего народа не допускает исполнять ее правила. Так какая же польза в вашей медицине?

Лев Павлович растерялся.

— То есть как «какая»? Екатерина Ивановна, вы только послушайте, что изволит ваша сестра...

— Она права,— сказала Катя.— В нашей стране никакая деятельность невозможна! В том числе и медицинская. Она это поняла. Я имею в виду широкую деятельность, а не крохоборство, кое вы позволяете себе величать службой на благо.

— Да как вы смеете! Я людей спасаю... Я вчера кучера оперировал...

— Спасаете, чтоб они были рабами, чтоб их угнетали?

— Моя специальность — лечить! А угнетать не моя специальность, и, как с угнетением бороться, я не знаю!

— Скажите лучше, что вам нравится сытая жизнь, которую дает вам ваш докторский диплом. Отогреться хотите в тепле за мужицкий счет?

Нет, в домашние учительницы она не пошла! Получила диплом и уехала в Серпухов, устроилась писцом к мировому судье. Тогда только появились при общем ликовании широкой публики и печати окружные и мировые суды.

Работа в суде была на виду, если не сказать — в моде. Слишком еще жила память о старой судебной волоките, взяточничестве держиморд и крючкотворстве кувшинных рыл.

По единодушному мнению, судебные заседания с присяжными, с прокурором, с защитником из сословия присяжных поверенных производили на общество сильнейшее впечатление.

Перед введением новых судов много раздавалось со-

лидных голосов, предостерегающих от этого, пожалуй, слишком уж либерального увлечения на том основании, что русские-де присяжные заседатели, в число коих первоначально допускались даже и неграмотные крестьяне, не поймут возлагаемых на них гражданских обязанностей, не смогут их выполнить и, более того, явят собой судей, доступных подкупу. (А то раньше не подкупали!) Но приверженцам новых реформ и противникам в равной степени любопытно было наблюдать за судебными спектаклями в окружном суде. Ходили туда, как в Большой театр, и за входными билетами такое творилось, чего и присниться не могло театральным барышникам. Итальянской опере в гастроли не снилось того, что творилось у судебных подъездов.

Мировые судьи в присутствии публики разбирали дела меньшего калибра, чем суд окружной, но пользовались не меньшим вниманием, и даже тип определенный выработался — «судебных психопаток», вроде театральных, которые ходили в суд, в окружной — послушать своих кумиров, знаменитых присяжных поверенных, а в мировой — на народ посмотреть. Это в Москве. В провинции же, в огромной той бесправной стране, раскинувшейся от финских хладных скал до пламенной Колхиды, всякий суд, и не без основания, считался делом неправым, и разумный россиянин вздыхал по старым, таким понятным и таким простым временам, когда ни мировых, ни окружных судей не было. Был господин будочник, и был господин квартальный надзиратель. Надзирал.

Допустим, пил серпуховской человек, допустим, совершал разные хулиганства, не уважал старших или творил иные опасные буйства. Господин будочник за шиворот волок виновного в квартал. Там, если время было присутственное, их благородие господин квартальный для начала давал в ухо, чтоб провинившийся сразу же понял, куда попал.

Коль скоро возникало мнение, что подобными средствами в данном случае не обойтись, то без всяких судебных волокит буяна тут же приговаривали к наказанию розгами.

В суде могли за пустяк душу вытрясти и свободы лишить, а в квартале пожарные служители спускались с каланчи, плевали на руки и пороли без стыда, без греха и досыта. Но на Сахалин не гнали.

В Москве в знаменитостях ходил секутор Кузька Гвоздь, кажется, так его звали, и про доблесть того Кузьки легенды рассказывались. Бывало, порол до смерти. По всей Руси были свои кузьки.

В Серпухове Вера Ивановна увидела настоящую российскую жизнь — серый дождик, шлепавший по булыжной мостовой, пьянство, мордобой и такую скуку, что выть впору.

Судья был человеком порядочным, но заболел душевной болезнью, и ей пришлось поехать к матери в Петербург. Да и то, надо сказать, смотрели на нее в Серпухове как на белую ворону. Где это видано, чтоб барышня ученые книжки читала? Ни тебе вышивания, ни тебе поговорить о том об этом.

В Петербурге она устроилась в переплетную мастерскую, организованную на артельных началах, жила на квартире у Елизаветы Христиановны Томиловой, возле домика Петра Первого, и было в ее судьбе сырое петербургское утро, когда к ней в комнату без стука вошел Нечаев. Она проснулась, села на кровати, натянула одеяло на плечи, глядела на Нечаева, ничего не понимая.

Накануне он сказал ей, судорожно глотнув воздух:

— Вера, я полюбил вас!

Это было неожиданно, но, кроме удивления и желания поскорее найти что сказать, она ничего не почувствовала. К тому же какое-то шестое чувство, инстинкт какой-то

подсказывал, что верить его «полюбил» нельзя. Но обижать его не хотелось. Она сказала:

— Я очень дорожу вашим хорошим отношением, Сергей Геннадиевич, но я не могу ответить вам тем же чувством. Я вас не люблю.

Его глаза сузились, он гордо вскинул голову.

— Насчет хорошего отношения, это чтобы позолотить пилюлю, так я понимаю? Да?

Она не ответила.

И вот утром он вошел к ней, бледный, решительный. Тень от чахлой пальмы, стоявшей у окна, падала через всю комнату на него, на его лицо и руки, сжимавшие тугой сверток.

— Спрячьте это! Немедленно!

Она не решилась высунуть руку из-под одеяла, прошептала:

— Хорошо, я спрячу.

В то утро она видела Нечаева последний раз.

5

Следователь Кабат был круглым неудачником. Он уже и сам свыкся с мыслью, что чуда не случится. Молодая, прекрасная женщина не полюбит его, богатство не свалится вдруг в одно прекрасное утро, а слава, о которой он мечтал когда-то, не накроет его своим гордым крылом. Пусть так, думал он, грустно усмехаясь своим мыслям, я такой же, как все, я — общее, скучное правило жизни, а те немногие счастливчики — исключение. Но у них свои беды, свои тяготы, и неизвестно, кому легче. Пусть у меня нет богатства и громкого имени в обществе, пусть я не могу похвалиться подбором каретной серой четверки, как тот господин, пронесшийся мимо с ливрейным лакеем на запятках, у меня есть свои радости, свои идеалы и свои принципы.

При всем при том надворный советник Кабат был хорошим следователем, и его коллеги, завистники и доброжелатели в равной степени, признавали, что он умеет «копать».

Не его вина, что ему не попадалось настоящих крупных дел, таких, чтоб можно было выйти на большие, государственные интересы. Фальшивые векселя, поджоги застрахованных строений, поддельные завещания в пользу заинтересованных родственников — все это не тот капитал, на котором делается громкое имя следователя. А свое дело он знал...

Выстрел в Трепова мог быть началом его славы. Он это понял сразу, мгновенно оценив ситуацию. Он не поверил в личную месть. Глупости какие! Чутье старого сыщика подсказывало, что перед ним дело государственное и есть возможность докопаться до огромного заговора, до тайной организации, разветвленной по всей империи и связанной с Парижем, Женевой и Лондоном, где окопались господа эмигранты, мечтающие о русской революции.

Он не исключал и такой возможности, что выстрел направляли заинтересованные иностранные силы, стремящиеся к унижению России как великой державы.

Надо было собрать все материалы, очертить картину в целом и представить на высочайшее имя как документ чрезвычайной государственной важности.

Ему представлялась аудиенция у государя. «Я внимательнейшим образом ознакомился с вашей работой,— скажет государь тихим своим голосом.— Она не воровка с Апраксина рынка. Она страшней, вы правы, барон!»

Барон Кабат — звучит солидно и достойно. Графское достоинство он получит позже, допустим уже будучи министром... А как ловко-то все получилось, когда он понял, что она не Козлова. Он смотрел на нее и чувствовал, что ее лицо знакомо. Где он видел эти серые глаза?

— Иван Дмитриевич,— сказал он Путилину,— мне ка-

жется, что эта девица была замешана по нечаевскому делу. Уж очень знакомая внешность.

— Вполне возможно. Вполне...— отвечал Путилин без интереса.— Проверьте, батенька мой, свою догадку, раз так.

Путилин, старый сыскной волк, не поверил, а она и в самом деле по всем приметам оказалась дочерью капитана Верой Засулич, привлекавшейся в шестьдесят девятом году по делу Нечаева Сергея Геннадиевича, главного российского беса, описанного господином Достоевским.

Он нашел на Петербургской стороне ее мать, Феоктисту Михайловну Засулич, повез на свидание с дочерью.

Мадам Засулич, рыхлая женщина, вытирала глаза кружевным платочком, пыталась лепетать по-французски.

— Извините, мадам, что сорвал вас. Суровая необходимость. Ваш приезд облегчит положение вашей дочери. Ей угрожают неприятности.

— Да в чем она, собственно, подозревается? Боже мой, бедная Верочка. И почему ей такие неудачи...

Он устроился напротив и всю дорогу терзался. Никаких сомнений не было. Конечно, это ее мать, тот же рисунок лица, те же глаза... Но все-таки...

Провел Феоктисту Михайловну в кабинет для следователей и распорядился, чтоб туда же доставили арестованную, стрелявшую в генерал-адъютанта Трепова.

— Верочка,— вскрикнула Феоктиста Засулич,— доченька моя, что с тобой сделали...

— Не надо, мама. Не плачь.

— Как ты здесь? Что случилось, Верочка?

Он дал им обняться. Стоял в сторонке, не мешая и не делая никаких знаков караульному жандарму, приведшему ее из камеры. Пусть пообнимаются. Ловко-то как! Он ликовал. Судьба выводила его на главное дело всей жизни.

— Теперь вы признаете, что вы Вера Засулич? — начал он, усадив ее у стола.

— Признаю.

— Вот видите, как все просто, Вера Ивановна. Кажется, вас так по батюшке величают. Я не ошибся, Ивановна?

— Не ошиблись.

— Прекрасно.

Куда как прекрасней! У него имелся уже один прелюбопытнейший документ. На следующий же день после выстрела пришла телеграмма от прокурора одесской палаты. По его агентурным сведениям, в Трепова стреляла некая Усулич, а не Козлова. Следовательно, одесские радикалы знали, кто должен совершить покушение на петербургского градоправителя. Какая уж тут личная месть! Политика, господа. Политика!

— Кем вам приходится политический преступник Боголюбов?

— Я вам говорила еще на Гороховой, что никем.

— Но вы говорили также, что вы Елизавета Ивановна Козлова. Я вас понимаю: вы намереваетесь путать следствие, чтобы дать возможность скрыться вашим сообщникам. Не так ли, госпожа Усулич?

На «Усулич» она не прореагировала. В телеграмме могла быть ошибка или опечатка, но при упоминании о сообщниках Кабату показалось, что ее лицо дрогнуло.

Вот оно, первое свидетельство заговора! Не могла она в одиночку решиться на такой шаг, это несомненно. Не могла! Значит, они еще здесь, бродят рядом, ее сообщники, члены тайной организации, грозящей уничтожить все устои. Здесь они! Здесь!

Надворный советник Кабат, с грохотом отодвинув стул, поднялся над столом.

— Итак, как видите, нам все известно! Смею напомнить, что чистосердечное признание облегчит вашу участь. Потрудитесь отвечать!

6

Вечером того же дня главный начальник Третьего отделения и шеф жандармов Николай Владимирович Мезенцев доносил государю: «Дворянка девица, дочь капитана Вера Засулич 28 лет, была привлечена к следствию по делу Нечаева в качестве обвиняемой... поводом к привлечению Веры Засулич послужили сведения III Отделения, что у нее на квартире весною 1869 года собирались молодые люди, рассуждавшие о преступных замыслах против священной Особы Вашего Императорского Величества. Это последнее злоумышление представилось еще более правдоподобным после допроса свидетельниц сестер Токмачевых, на квартире у коих жила Вера Засулич и которые заявили, что слышали от матери Засулич, будто бы в обществе, собиравшемся у ее дочери, речь идет о провозглашении в России республики... Ввиду продолжительного промежутка времени, который истек со дня получения III Отделением сведений об означенном злоумышлении Веры Засулич и до производства формального следствия, собрание доказательств важного обвинения против Засулич оказалось невозможным. Поэтому, при отсутствии против Веры Засулич достаточных улик, она освобождена была из-под ареста и выслана под надзор полиции в Новгородскую губернию.

Вера Засулич по убеждениям и действиям своим принадлежит к так называемым нигилисткам.

Во время производства нечаевского дела в С.-Петербургской судебной палате Вера Засулич была вызвана как свидетельница. На суде она отреклась от своих прежних показаний и показывала исключительно в пользу подсудимых.

Впоследствии Вера Засулич переведена была в Тверь. Когда же начальник Тверского губернского жандармского управления донес, что Вера Засулич занимается преступ-

пою пропагандою и у нее при обыске найдено было много писем и рукописей предосудительного содержания, то она переведена в Солигалич, Костромской губернии, под строгий надзор полиции...

25 января 1878 года».

7

Еще в середине зимы нежданно-негаданно южным поездом приехали в Питер два господина без вещей.

Сначала они остановились в меблированных комнатах купца Селедкина, что на Одиннадцатой линии Васильевского острова, предъявили паспорта, заплатили за месяц вперед, но через неделю съехали, чем вызвали у Ивана Карповича Селедкина живейшее подозрение — кто такие?

С год, как ходили по городу фальшивые ассигнации, говорили, что делают их из двух половинок, склеивают крахмалом, так что на просвет получаются все водяные знаки и достоинства. Уж не фальшивомонетчики ли?

— Внешность какая? — допытывался пристав у растерявшегося купца.

— А шут их знает. Один — Михайла, другой — казак.

— Не густо. Сам паспорта смотрел?

— А то как. Ясно, сам. Сам и смотрел... Как иначе...

Иван Карпович пятерней провел по лицу. Заморгал. Был он человеком опытным, фальшивый паспорт обнаруживал на язык, потому что преступники смывали надписи щавелевой кислотой и гербовая бумага долго хранила кислый вкус.

— Лизнул, ваше высокородие.

— Горе мне с вами.— Пристав снял шапку.— Надо было сразу заявлять. Заподозрил, видишь фигли-мигли — зови. Не откажу ведь. Как заподозрил...

— Так уж, как всегда,— засуетился купец.— Попутал нечистый. Все вперед заплачено. Вели себя тихо.

— Ходил кто?

— Разные люди ходили, за всеми рази усмотришь. Рази уследишь? Однако в границах.

Пристав попросил с мороза крепкого чаю, расстегнул шинель. Кухарка тут же поставила на стол самовар, Иван Карпович поспешил распорядиться насчет закуски, а пока он распоряжался, пристав скучающим взглядом осмотрел комнату, подошел к окну, сдвинул занавесочку.

На улице мело и гнуло деревья. Внизу у тумбы стоял извозчик весь белый и лошадь белая. Оба дремали, подставив согбенные спины ветру.

— С юга, говоришь, прибыли?

— Так точно. Южным поездом.

Иван Карпович помог приставу снять шинель, осторожно на вытянутых руках отнес в прихожую.

— Метет, однако. Буйство в атмосфере который день.

— Метет-с.

Выпили чаю, попробовали пирога с вязигой, потом — ватрушку с творогом, и, когда пристав разомлел в тепле, хитрый Иван Карпович деликатно поинтересовался, как здоровье градоначальника и кто стрелял.

— Женская месть. Судить будут ее как уголовную воровку, но, думается мне, что вопрос этот весьма тонкий. Разложите на элементы, вы, Иван Карпович, мужчина умный, когда ж это было видано, в какие времена, чтоб барышни в генералов стреляли? С какой стати?

— Не было того!

— Одна не решится, факт натуральный! Значит, общество у них. Компания своя. Свои награды, свой кураж.

— Куда там,— согласился Иван Карпович и затрепетал.

Дело в том, что оба южных господина, как только съехали от него, сняли компату на Гороховой, напротив дома

градоначальника. Каждое утро они сидели в портерной, смотрели, как выезжает Федор Федорович, беседовали и словно высматривали все и выслеживали.

Как-то случаем, проходя по Гороховой, Иван Карпович обратил внимание на вороного рысака удивительной красоты. Рысак тот выгибал лебединую шею, нетерпеливо бил тонкой ногой, и его нежные, розовые ноздри трепетали. Красавец безумный! Селедкин чмокнул губами и обомлел от неожиданности: тот, который назва́лся Михайлой, вальяжный, в расстегнутой шубе на хорях, сидел в ковровых санках, а казак устроился кучером на облучке. «Пошел!» — приказал Михайла, конь рванул с места, только снег взвизгнул под полозьями, обитыми тонким железом.

Иван Карпович зашел в портерную, поинтересовался у сидельца, человека своего же купеческого звания, откуда, мол, господа и кто такие, толком ничего не узнал и заволновался пуще прежнего. Конь какой, сани какие, да и шуба тысячная! В его меблированных комнатах тысячные господа не останавливались. Уж не фальшивомонетчики ли в самом деле? И в день, когда стреляли в Федора Федоровича, как сила какая-то потянула его на Гороховую. Однако сдержался.

Переждал в душевных мучениях два дня, снова зашел в портерную и узнал, что сразу, как выстрелили, оба господина разом съехали и больше их в портерной никто не видал.

Господи, думал Иван Карпович, господи милосердный, получается хуже, чем с фальшивомонетчиками. Наедет следствие, начнут трясти, да и не полиция, а жандармы, ихнее ведомство: куда смотрел, чего не донес? На старости-то лет... Только жизнь налаживаться стала...

Надо было как-то обезопаситься. Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никак. Позвал пристава.

— Одна, ясно, стрелять не станет. Но ежели концы в воду, иди ищи, кто с ней, — тихонечко поворачивал Иван

Карпович на откровение.— Как полагаете, шайка у них или как?

— Ясно, шайка,— успокоил пристав, облизывая чайную ложечку,— одной куража не хватит. Это на публику бенефис. Только так! Чтоб видели: эвон я какая. В бога не верят, от этого все! Теперь, Иван Карпович, барышни благородные в чем ходят? В церкви много молодежи видите?

— Шайка, непременно! И думается, многих переловят,— опять начал поворачивать Селедкин, но пристав никаких разъяснений не давал, продолжал о том, что девицы за собой не смотрят, в таком ходят — срам; моду взяли, что в Париже, а там все ж таки и климат другой, если серьезно говорить.

Иван Карпович в другое время с большим удовольствием послушал бы и про беспутство, и про Париж, но в душе ныло беспокойство и нервозность была: а ну как понаедут жандармы, потащат в Петропавловку или куда хуже, эх, елки зеленые, и паспорта фальшивые окажутся, и гости подозрительные ходили, поди отговорись.

Пристав, напившись чаю, расстегнул мундир. Неторопливо вынул из портсигара папироску и, закурив, начал расхаживать по комнате. Он расхаживал и все рассуждал о падении нравственности, приводил примеры, а совсем растерявшийся Иван Карпович ходил за ним следом, как тень или даже как привидение, потому что сильно нервничал, предчувствуя неприятность, ломал руки.

Пристав подошел к окну.

— Божественное начало брака отвергают! — сказал строго.

— Они...— прошептал Иван Карпович, меняясь в лице.— Они, ваше родие... Вон, держи! Они... Михайла, казак и барышня с ними, ей-ей они...

Селедкин дернул оконную раму, на пол посыпалась замазка.

— Держи!..

— Иван Карпович, однако...

— Эвон, глядите, они! Держать надо. Они, крест святой, они!..

По другой стороне улицы к набережной не спеша двигались трое. Два молодых человека и барышня в беличьей шубке.

— Они!

Пристав не то чтобы засомневался, но, пока застегивал мундир, пока в прихожей надевал шинель и по форме прилаживал портупею, тяжелыми пальцами застегивал латунную пряжку, прошло время. Спустились вниз. Иван Карпович метнулся в одну, в другую сторону. А ить ушли! А куда, спросить некого. Пусто. Ой ты, господи. Не иначе извозчика взяли, тут стоял.

— Крест святой, ну ведь они ж были,— сокрушался Селедкин.— Они, доподлинно. Ей-ей...— И снег валил на его непокрытую голову, на растерянное лицо и взлохмаченную бороду.

— А может, не они... Что за каприз, однако... С больной головы... Зрение изменило,— проворчал пристав, озираясь по сторонам,— ошиблись вы.

— Какой ошибся... Они! Эх, елки зеленые...— простонал Селедкин, и самое удивительное состояло в том, что он не ошибся. Только что по Одиннадцатой линии прошли бывшие его постояльцы Михайло Фроленко и Григорий Попко, казак. Они и в самом деле взяли извозчика, скучавшего под окнами меблированных комнат купца Селедкина, потому что спешили к Царскосельскому вокзалу на квартиру своей спутницы Саши Малиновской. Саша нервничала.

— Вы спокойный как истукан, как идол древний,— говорила она, обращаясь к Фроленко.— Неужели вы ничего не чувствуете, каменная ваша душа?

— Неа,— отвечал Фроленко, усмехаясь.— Не волнуйтесь, Сашенька, не тот случай.

— И вы уверены, что не будет арестов, что за вами уже не следят? Григорий, да объясните же вы ему! Он сумасшедший.

— Чего мне объяснять? Он лучше меня знает,— стряхивая снег, говорил Попко.

— Что он знает, право, нелепость какая. Ведь все уже поставлено на ноги, надо действовать немедленно!

— Бежать?

— Называйте это как вам угодно: бежать, уезжать, улепетывать, смываться. Я хотела сказать — скрыться надо. Вы с ума сошли!

— Не желаю ни бежать, ни скрываться.

Саша снимала квартиру у Царскосельского вокзала в доме некоего господина Сивкова, домовладельца средней руки. Цена была не слишком высокая и место подходящее.

По длинному коридору, заставленному тяжелыми шкафами, Саша провела гостей в большую комнату, наполненную запахом устоявшегося табачного дыма. За окнами в снежном крошеве гасли ранние зимние сумерки, и стекла в доме напротив отливали печальным золотом.

Фроленко кинул взгляд в конец улицы, туда, где кружил ветер, зябко повел плечом. Зимой Петербург казался ему, южанину, насквозь промороженным, оцепеневшим. Всякий раз, приезжая в столицу, Михайло чувствовал брезгливую чопорность и загадочность этого города. Гремели барабаны и флейты его плац-парадов, в хрустальных каретных огнях катил Невский, мраморные дворцы на набережных холодно смотрели на приезжего провинциала, не замечали его. Город жил своей жизнью. По утрам запахивал полу гвардейской шинели, выпускал на свои проспекты толстых кухарок, спешивших за покупками, смотрел брезгливо, как шаркают по панелям в поблекших калошах отставные его чиновники. Санкт-Петербург, вытянув руку, лениво шевелил пальцами, расправляя белую

лайку перчатки, пил шампанское, торговал гороховым киселем с лотков своих разносчиков, а в высоких двусветных окнах его дворцов за плотными шторами мелькали неясные тени, там жили большие господа, хозяева и командиры отечества, далекие и неведомые, как марсиане. Чужой город. Холодный. Каменный. Фроленко ненавидел и презирал столицу русского царя. А Сашина квартира с первого же взгляда ему очень даже понравилась.

— Хатенка что надо,— сказал, присвистнув.

— Хорошее пристанище нашли,— подтвердил Попко, ладонью вытирая мокрую бороду.

— Так где ж Марея? — спросил Фроленко.— Не вижу Мареи. Марея!

— В угловой комнате она,— ответила Саша.— Спит, наверное. Она такая нервная, Михайло... Разбудить?

— Надо бы...

— Я ее второй день лекарствами успокоительными потчую. От нервов.

Саша вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Гости остались вдвоем.

— А и в самом деле хорошо устроились барышни,— усмехнулся Фроленко.

Нет, Сашина квартира положительно нравилась ему все больше и больше. Она выглядела старомодно и ветхо, мебель, обои, картинки, вырезанные из иллюстрированных изданий и развешанные по стенам... Возле печки висел потертый лубок времен Крымской войны, изображавший военный совет тогдашних врагов России — глупого турка, щуплого французика и наглого англичанина, склонившихся над картой. Все было скучно, но вполне верноподданно. В красном углу под иконами теплилась розовая лампадка и рядом государь в пушистых усах и баках стоял, прижимая к бедру старательно нарисованную рукоять шпаги. Глаза Фроленко и государя встретились.

— Да...— сказал Фроленко мрачно и отвернулся.

— Если придут с обыском, думал он, то сразу видно, что проживает здесь барышня бедная, но трудолюбивая и обстоятельная, мечтает о замужестве, копит на приданое. А старая ее тетушка, что мелькнула в прихожей, размышляет о божественном, с племянницей говорит о ценах на маркизет и керосин. Вдвоем ходят они, горемычные, по морозу ко всенощной, и сухие питерские звезды сияют по вечерам у них над головой. Нет, отлично устроились!

Фроленко выглянул в коридор, отметил, что в квартире есть черная лестница, ведущая в проходные дворы. Отметил близость Царскосельского вокзала: народу небось всегда много вертится, если что, можно затеряться в толпе.

Только вот, пожалуй, Сашина тетушка раздражала Фроленко. Он ее иначе как старой ведьмой не честил. Вдруг она вошла в комнату и, бубня что-то под крючковатый нос, проследовала на кухню.

— Не нравится мне эта бабуся,— провожая ее долгим взглядом, сказал Михайло,— случаем, не дружит ли она с местным приставом? В самый раз парочка.

— Вы скажете, маэстро...

— Уж так зло смотрит! Жандармским полковником выглядывает. Или под.

— Что под?

— Подполковником.

— А...

Во всем остальном Сашина квартира могла считаться идеальной. Саша — художница, рисовальщица, занимается раскрашиванием фотографических карточек. Если влезть в жандармскую шкуру, каждого посетителя подозревать не станешь, мало ли желающих за доступную плату получить свой цветной портрет. Но посетители приходили и уходили, а бабуся, душу из нее вон, как говорили Михайле, случалось, жила неделями и все сокрушалась — экая молодежь пошла, что носят, о чем говорят!

— А вот и она,— сказала Саша, вводя в комнату Машу Коленкину.

Фроленко поднялся, раскрыв объятья.

— Здорово, Марея!

— Здравствуйте, Михайло.

— Садитесь, рассказывайте, что вы выдумали. Разыграли, значит, кому в кого стрелять. Одной в Трепова, другой в Железовского...

— Железовского не оказалось дома. Если б он принял меня, я уж, можете быть уверены, влепила б пулю ему в лоб! Эта сволочь ходит по земле, когда осужденные им люди заживо гниют в тюрьмах! — Маша задохнулась, судорога сжала ее горло, глаза наполнились слезами. Она ударила кулаком по столу: — Никакой пощады палачам! Хватит соловья баснями кормить...

— Маша права! Народ надо воспитывать делом, фактами вооруженной борьбы. Ведь по сравнению с теми силами, которые были употреблены на мирную пропаганду, и с теми жертвами, коих она стоила, результаты ничтожны! — сказала Саша.

— Что ж вы предлагаете?

— Бороться со злом всеми доступными методами! Война объявлена, и никакой пощады!

— Попрание достоинства человека — величайшее из зол и тягчайшее из преступлений. Трепов получил по заслугам! А Железовский и в ус не дует, кровавый палач!

— И до него дойдет срок.

— Никакой им пощады, и только так мы сможем приблизить день, когда встанет вся Русь! — воскликнула Коленкина и снова ударила кулаком по столу.

Двадцать четвертого утром она прибежала к Малиновской и, размазывая по щекам горькие слезы, рассказала, что Верочка, солнышко Верочка, поехала к Трепову. «Ой, Сашенька, как я теперь людям в глаза взгляну... Дома его не оказалось...» — «Кого?» — допытывалась Малиновская,

но должно было пройти сколько-то времени, прежде чем она поняла, в чем дело.

В тот же день было решено, что вот-вот должны начаться аресты и обыски. Многие петербургские радикалы сразу же, как только стало известно, что кто-то стрелял в градоправителя, двинулись на вокзалы. Уезжали в провинцию, к знакомым, к родственникам, с глаз долой. Тут же поползли слухи, что где-то кого-то взяли, к кому-то уже приходили фараоны и все перерыли вверх дном; Мезенцев совсем распоясался; переодетые жандармы рыскают по городу, и точно есть приказ всех подозреваемых арестовывать на месте и доставлять к Цепному мосту в Третье отделение для выяснений, но, странное дело, Фроленко был абсолютно уверен, что все это только слухи. Никаких имен и никаких адресов у полиции нет и в связи с делом Веры Засулич не будет.

— Она стреляла одна, и это ее личная месть. По крайней мере, так будет заявлено следствию. Она мстила за Боголюбова.

— Да поймите, упрямый вы хохол,— рассердилась Малиновская, и ее детское, нежно очерченное лицо дернулось гримасой,— они весь город перевернут!

— С какой стати? Так уж весь. Город большой...

— А с такой, что даже глупцу ясно, что это политический акт! Акт большого общественного звучания!

— Согласен, но что меняется?

— Вы только послушайте, что он говорит! Маша, Григорий... Да сейчас начнется такое, чего вам и не снилось. Вся государственная машина уже пришла в движение. Между прочим, смею вам намекнуть, господин революционер, что и вас ищут. Вы об этом знаете? Или вы действительно сошли с ума?

— Да что вы меня с ума все сводите. Сумасшедший, сумасшедший... Покормили бы лучше. Дали б чайку с колбаской, огурчика соленого. Вот у меня матушка-голубуш-

ка пирожки, бывало, пекла по шестнадцать штук на пуд. Сейчас бы парочку таких — и па сон. Как, Гриш?

— Разумно,— подтвердил Попко.

— Странный вы человек! — не сдавалась Саша.

— Очень, очень я странный...

Саша Малиновская как-то сказала Михайле, что если б пришлось ей писать его портрет, то она обошлась бы двумя красками. «В вас нет никаких полутонов, никаких переходов. Только «да» и «нет»». Фроленко хмыкнул. Странный человек! И почему он не хотел понимать опасность положения? Что это, беспечность или безудержная храбрость? Несомненно, Михайло — храбрый человек, думала Саша, глядя на него через плечо, одно дело с освобождением Алеши Костюрина чего стоит! В прошлом году в Одессе на благовещение он, Фроленко, подъехал в пролетке к жандармским казармам, где содержался Костюрин. Алешу предупредили накануне. Улица была пустынна, все пошли в церковь, только у ворот одинокий часовой беседовал с веселой бабенкой в цветастом платке, показывал ей ружейные приемы: амурничал.

Костюрин выбежал с пальто в руках. И чего это пальто ему сдалось? «Ай, держи!» — завопил часовой истошно и побежал, широко расставляя ноги в длинной шинели. «Держи!» Но куда там! Укатили.

Уж если Михайло брался за что-нибудь, то непременно доводил все до конца, такая была у него репутация, и не случайно именно ему Вера и Маша передали осенью тысячу рублей для организации побега арестованных по чигиринскому делу Дейча, Стефановича и Бохановского.

Поужинали. Саша собрала чайные чашки, сложила в тазик с водой. У нее был свой метод, она мыла посуду большой колонковой кистью, чем возмущала тетушку до слез. «Господи, срам-то какой,— плакала тетушка,— точно антихристы какие, все не как у людей...»



Михайло стряхнул в ладонь крошки со стола, закинул в рот и несколько мгновений сидел совершенно неподвижно. Он приехал в Питер вместе с Попко и Валерианом Осинским, чтоб свершить приговор над Треповым. Судьбу Федора Федоровича решили еще осенью. Надо было отомстить за товарища, и стрелять в градоправителя должен был Валериан. Приступили к подготовке, сняли комнату на Гороховой, следили за выездами Федора Федоровича. Как-то Михайло встретил Веру, она поинтересовалась, как дела, какие-то слухи о приговоре Трепову, видимо, до нее доходили, но Михайло не мог посвящать ее в подробности, он сказал: «Все в периоде слежки». А как иначе? Он не имел права быть откровеннее. Она больше ни слова не проронила, только пожала плечами, и лицо ее не изменилось, а ведь у самой уже все было готово — и револьвер, и идея с прошением на выдачу свидетельства о поведении, Маша только что все рассказала.

— Святая она! Великомученица! Весь грех на себя взяла...

— Хоть бы намек сделала...

— И все-таки я рекомендую вам уехать.

— Сашенька, не волнуйтесь,— мягко сказал Фроленко, и Саша решила вдруг, совершенно неожиданно, что у него зреет дерзкий план Вериного освобождения. От Фроленко можно было ожидать и этого. И если так, то все становилось на свои места! Неужели так? Она спросила:

— Вы уверены, что вам надо быть здесь? Вы уверены?

— Да, пожалуй,— ответил он просто, и в тот вечер Саша его уже больше ни о чем не спрашивала и не пыталась внушить ему, какой опасности он подвергает себя, находясь в столице.

На самом же деле Михайло еще не знал, чем можно помочь Вере и вообще можно ли ей помочь. Никаких планов у него не было. Но сразу же, как стало известно, что она взяла на себя все то, что предназначалось им — ему,

Валериану, Грише,— возникло странное чувство, в котором он не мог определиться.

Вера Засулич всегда была для него загадкой.

Неброская, незаметная, она держалась в тени, говорила мало, но если говорила, ее редкие слова ложились с хорошим попаданием. Могла кого-нибудь так на место поставить, что куда там! И было почти физическое ощущение точности ее слов. Ловко-то как, думал он, слушая ее, и удивлялся, почему он не может говорить так, как она, ведь думается вроде бы то же самое, но поди ж ты, выскажи!

Сначала он определил, что влюбиться в нее нельзя. Влюбиться в Верочку Засулич? Смешно. А потом вдруг поймал себя на том, что, наверное, именно таких женщин любят безумно, если есть на свете безумная любовь. В ней скрывалась какая-то тайна, секрет какой-то за семью замками, неведомость какая-то таинственная. Бездонная тайна стыла в ее серых глазах. А ведь одевалась кое-как, по нигилистской моде, платье висело мешком, на голове клеенчатый блин вместо шляпы, женственности никакой, всегда с папиросой, резкая, угловатая.

Судьба свела их случайно в компании южных бунтарей. Он застрял в Одессе. В Одессе пыльной, в Одессе жаркой... Тамошние радикалы называли бунтарей вспышкопускателями, критиковали их программу, но относились к ним с любопытством. Компания южных бунтарей сложилась на развалинах киевской коммуны, про которую ходила в общем-то дурная слава. Были какие-то слухи, какие-то пересуды, но Михайло не мог себе позволить подозревать бунтарей в жестокости или несерьезности.

Стояла задача — создать в деревне массовую крестьянскую организацию для подготовки восстания. Бунтари придерживались бакунистских понятий о русском крестьянине — как о социалисте и анархисте по природе и революционере по инстинкту.

Вождем киевских бунтарей был Владимир Дебогорий-

Мокриевич, сын подполковника, красавец и силач, неутомимый спорщик и радикал в душе. В тихом домике его родителей всегда полно было молодежи. Каждому находилась постель и тарелка супа. Мишка, такая была кличка у Владимира Дебогория, бородатый, с глазами шальными, как у Емельки Пугачева, носил при себе револьвер, любил точить кинжал, и столько было в нем мужества и силы, что нельзя было не понять Марусю Ковалевскую, певунью и любительницу книжек про роковую любовь, которая ради Мишки оставила своего супруга, тихого учителя гимназии, и ушла в бунтарство.

Они решили создать большой, хорошо вооруженный отряд, выбрали место историческое — Матрониевский лес, Жаботин, Медведево,— где гуляла когда-то широко и смело гайдаматчина и, значит, жил в местном населении бунтарский дедовский дух, пелись песни, вспоминалась история. Решили ждать крестьянского бунта, чтоб примкнуть к нему и возглавить.

Михайло попрощался с одесскими друзьями и отправился в деревню Цибулевку, где ждала его какая-то Вера Засулич, согласившаяся играть роль его жены. Она уже сняла подходящую хату, говорила всем, что ждет супруга. Им поручалось устроить чайную.

В соседнем селе бородатый Мишка задумал повести торговлю лошадьми. Нанял дом с конюшней, где могли находиться все лошади будущего отряда. Здоровая была конюшня, так ведь и предполагалось, что лошадей будет много. Сколько, еще неясно, но много. А пока было три. На них учились ездить верхом.

Устроили несколько поселений, чтоб охватить всю местность. Селились под видом столяров, башмачников, мелких торговцев. Роль связных выполняли коробейники из своих.

Иван Ковальский пробовал отговаривать Фроленко. Шел рядом своей ныряющей походкой в широкополой со-

ломенной шляпе, в стоптанных полотняных ботинках, в полосатом пиджачке. Он теребил рыжую бороденку и возмущался наивностью вспышкопускателей.

Ковальский служил репортером в «Николаевском вестнике», вел пропаганду среди сектантов, здорово знал святое писание, но к тому времени обзавелся револьвером и носил его на поясе сзади, так что издали всем было видно — большой радикал.

— Не выйдет у них, голубчик мой, решительно ничего! Ровным счетом. Скажете — одолела потребность к перемене мест? Пойму.

Михайло молчал. Ковальский заглядывал ему в глаза, любопытствовал:

— Вы хоть раз эту Веру Засулич видели?

Нет. Они тогда еще не встречались ни разу. Михайле сказали, что она привлекалась по нечаевскому делу, была выслана на север, кажется в Солигалич. Через два года ей разрешили переехать в Харьков, она собиралась поступать на медицинские курсы, но бунтари смешали все ее планы.

— Как вы ее узнаете в вашей Цибулевке? Это ж курам на смех. Приедете, здрасте, я ваш супруг. Михайло, да окститесь же вы наконец!

Иван Ковальский был большим чудаком, презирал все условности, по утрам пил морскую воду и, не моргнув, объяснял каждому: «Помогает от глистов». Но при этом к вопросам нравственности относился чрезвычайно серьезно. Особенно его возмущало, что девица пусть ради идеи и великой цели, но все же берет на себя роль жены человека, которого ни разу не видала.

— Простите, Михайло, я не ханжа, отнюдь, но согласитесь, есть в этом что-то... Пардон, но вам придется лечь с ней в одну постель, а это накладывает определенные обязательства...

Была весна и непролазная грязь. Лошади вязли в раскисшей трясине.

Мужики кое-как довезли до большого торгового села Смелы, а до Цибулевки двинул Михайло на своих двоих.

Пахло мокрой землей. Кругом простирались, стекая с пригорка на пригорок, озимые поля, и за дальним лесом, синевшим на краю земли, плыли дымы невидимой деревни.

Михайло шел, закинув котомку за спину. Весенний запах щекотал ноздри, и ныло в груди, ныло: кто ж она такая, Вера Засулич?

Прежде всего в сельском правлении он предъявил писарю паспорт, и, чтоб притупить излишнее его любопытство — паспорт-то был поддельный, пригласил на новоселье. «Мы с жинкой завсегда будем рады хорошим людям». Писарь принял приглашение с достоинством.

Новоселье справляли в воскресенье. Вера накупила лубочных картинок — «Охота на тигра в Индии», «Возвращение блудного сына», «Что ты с грустью глядишь на дорогу...», а заодно и всю царскую семью с царевнами, с царевичами и все развесила по стенам.

Был великий пост. Пошла рыбка вяленая и соленая, моченые яблочки, капустка, огурчик нежинский, буряк маринованный... Выставили четверть мутной водки, чай и к чаю цветной постный сахар с лакированными сушками и маковыми баранками.

Он все сам приготовил, расставил на столе тарелки, рюмочки-бухарочки, вилки, ложки. Она совершенно ничего не умела делать по дому! Ее нельзя было назвать ленивой. Она была неумехой. Задумчивой неумехой. Повесить картинки могла, а взбодрить самовар не получалось: то труба ей на ногу свалится, то искра в глаз залетит. Он сам и хлеб, и лучок порезал неумелой мужской рукой и селедочку по-плотницки, с кишкой. Крупновато получилось, но она сказала: «Красиво». И вскинула на него колдовские свои глаза, полные благодарности.

Гости явились все разом. Долго с кряхтением вытирали ноги. Староста, старшина, писарь и лесничий, которого вовсе и не приглашали, но, поскольку дровишки всем нужны, он тоже явился.

Пришел хозяин хаты с женой. Жена уже называла Веру по-родственному — кумой. «Ну, кума, богато живете!»

Первую выпили за новоселье, за успех будущей чайной. Закусили.

— В нашей местности чайная хорошо пойдет,— сказал лесничий, одновременно дожевывая огурец и торопливо разливая по второй.

Жена хозяина раскраснелась. «Я полтавска галушка... Ох и увивались за мной хлопчики!» И вдруг, кивнув в сторону царской семьи, вздохнула: «Брат любит сестру богатую, муж — жену здоровую». Михайло и Вера переглянулись. На что намекала хозяйка? Что было известно из «тайн царской жизни» в далекой Цибулевке? «Зять любит взять...» — вздохнул хозяин. «Эх, эх, эх,— поддержал лесничий,— тесть любит лесть...» «Рыба, она с головы»,— изрек староста. Михайла и Вера опять переглянулись: может, это замечание имело отношение к верховной власти? Но нет, староста имел в виду селедку.

Лесничий тем временем начал умный разговор о переселении на новые места, вспомнил, как в царстве Польском в городе Радом, где служил он коронную службу в гренадерах, была у него барышня Крыся, хотел грех венцом закрыть, осесть в поляках, но дослушать не успели. Явился на огонек сотский, с шапкой через плечо, загремел на крыльце сапогами.

Он был уже здорово навеселе. Розовый и пухлый. Первым делом полез к хозяйке обниматься. Хозяйка отбивалась, но несильно. «Ой, фулюган, ой, фулюган ты, Лазарь Митрофаныч». Муж отворачивался и улыбался с грустной снисходительностью.

Сотский выпил и ушел, но через некоторое время вернулся, затеял с лесничим спор. Лесничий умничал, приводил в резон разные ученые слова,— «акадэмик», «инженэр», «приват-доцен наук», а сотский сердился: «Я человек простой. Простой я!» Дело кончилось дракой. Опрокинули стол. Посыпалась на пол посуда. «Убью!» — рычал сотский и рвал на лесничем рубаху. Их еле розняли. Рассадили, заставили покушать. Потом начали петь песни, а разошлись уже за полночь, довольные, пьяные. Целовались на крыльце горячими губами, троекратно, взасос, опустошенные и не помнящие зла.

Вера помогла убрать грязную посуду, вытерла стол и села напротив. Так они просидели друг против друга несколько долгих мгновений, он и его будто бы жена.

Вера убавила огонь в лампе. Было тихо. Скрипела под ветром старая стреха, на крыше шуршала солома. Хотелось поговорить, рассказать этой сероглазой девушке что-то о себе. Сразу вспомнить самое важное, чтоб все было легко и просто. И от выпитой водки, от только что кончившегося шума и суеты, от молодости и опасности, которая ждала их, это простое желание показалось вдруг почти нестерпимым. Он взглянул на нее. Она улыбнулась. Встала строгая, усталая. «Спокойной ночи». И разошлись они по своим углам. Он на лавку под картинкой «Охота на тигра в Индии», она — на свою кровать за ситцевой занавеской. Улеглась тихо, как мышка.

С того раза он стеснялся лишний раз посмотреть в ее сторону. А всего они прожили как муж и жена месяц.

8

Первый раз в жизни надворный советник Кабат твердой ногой выходил на столбовую дорогу удачи. Ему открывалось дело чрезвычайной важности в масштабах доподлинно государственных.

Девица Засулич, поднявшая оружие на особу петербургского градоначальника, несомненно, действовала не как частное лицо, но по приказу тайной организации, ставящей своей целью ниспровержение правительства и перемену образа правления.

Судебный следователь Кабат собирался воздвигнуть здание, при виде которого волосы вставали дыбом и кровь леденела в жилах. По его мнению, еще не подтвержденному документами, именно Засулич была тем переходным звеном, которое связывало прошлое с настоящим.

Кто сказал, что с Нечаевым и нечаевщиной покончено, а Сергей Геннадиевич, запрятанный в Алексеевский равелин, изолирован от общества? Не есть ли этот выстрел дело организации, им заложенной, возродившейся, созревшей и получившей повсеместное разветвление под влиянием социально-демократических начал и вредных тенденций?

Жихаревское дело не дало результатов. Огромного общества крайних прогрессистов, ступивших на путь тайной борьбы с правительственным началом, не обнаружилось, хотя возлагались надежды. Отсюда недовольство государя и понятное нежелание новых громких политических процессов.

Но разве мог следователь Кабат, опытный сыщик, сомневаться в том, что данный выстрел не заурядное преступное явление общественной жизни, не замысел одной обвиняемой Засулич, а выражение скрытых политических страстей, мщение за идею и агитационный протест.

Покушение на Трепова было осуществлением той преступной программы, с которой русскому обществу впервые пришлось ознакомиться из процессов по делам государственных преступников Каракозова и Нечаева. Вот ведь какой поворот, милостивые государи.

Все это достойно внимания самого императора, и в мыслях судебный следователь Кабат апеллировал к его авгу-

стейшей особе. «Отмщенья, государь, отмщенья! Паду к ногам твоим,— шептал он, расхаживая по комнате от стола до двери,— будь справедлив и накажи убийцу...»

Ему нужно было разобраться, кто же она, эта девица с нездоровым цветом лица и жестким взглядом. Что толкнуло ее на выстрел? Как смогла она подготовить себя к такому шагу? Жизнь у нее не сложилась, это так. Но кто она, какую роль выбрала себе — роль заложника будущего, живущего в сегодняшнем дне, как во сне, или роль шпиона, не подчиняющегося никаким законам времени, потому что он поставил себя над обществом, порваны все связи, есть своя цель, ненависть и презрение?.. Но чем больше он беседовал с ней, тем сложней рисовался ее образ. Была в ней какая-то острая пружинка, до времени сжатая, но в любое мгновение могущая выстрелить. Она была очень разная. То решительная, то растерянная, то строгая...

Нет, нет, ее надо наказать по всей строгости, думал Кабат. Но ведь Трепова-то не накажут, а он больше виноват. Произвол или самосуд? Самосуд или произвол, что выбирать? Но пусть, пусть приговор над ней будет смягчен. Несчастная девица...

Итак, она была связана с Нечаевым; образа мыслей не переменила; по неясным причинам после ссылки оказалась на юге среди таких же, как она, радикалов, мечтающих произвести страшный переворот, все поставить вверх дном и точно метлой вымести все высшие классы. Это вам не денежные растраты в частном акционерном учреждении и не дело о подарках и угощениях на земских выборах! На таком материале следователь может сделать имя.

Его судьба писалась наново с того январского утра. Жизнь приобретала иной смысл, меняя привычный ритм. От нетерпения леденели кончики пальцев.

Он поймал на себе удивленный взгляд жены. Никогда раньше она не смотрела на него с удивлением.

Каждое утро, в сером балахоне, с неприбранной головой, сидела она рядом за столом и зевала, показывая золотые пломбы на двух передних зубах. А тут вдруг интерес! «Кеша,— спросила она ласково,— Кешенька, ты устал?» Когда-то она его так называла — «Кешей», кличка у него была такая домашняя, но сие давно было. Ох как давно... В первый год или даже в первые полгода. Не иначе ей передалось его ожидание больших перемен. Они ни о чем не говорили, но она почувствовала, что он накануне своего часа и вот-вот предстанет перед ней в новом качестве. В каком — еще неясно, но в новом.

Как он ни был занят, обратили на себя внимание мелкие домашние перемены: свежее крахмальное белье и теплый стеганый халат с атласными отворотами, неожиданный подарок жены. Она сама стала ездить на рынок, готовила телячью голову с петрушкой и по утрам сама взбивала ему омлет. Она почувствовала себя женой человека, который достигает того, к чему стремился в этой жизни. Детей кормили отдельно, чтоб не беспокоили отца. «Папа́ занят!» Первый раз за столько лет...

Он шагал от стола до двери, голова работала четко и энергично вполне. Ни о какой личной мести речи быть не может! Действительное положение дела, факты и хроника семейства, к которому принадлежала обвиняемая, доказывают противное. Так он и записал. Обмакнув перо, закусил губу. Слова ложились на бумагу ровно, как никогда: «Обвиняемая была младшая из трех сестер, единственный же брат, избравший военную карьеру, вследствие вполне противоположного направления с своими сестрами порвал всякую родственную с ними связь. Старшая сестра, Екатерина, вышедшая замуж за студента Никифорова, еще в 1865 году обнаружила нигилистическое направление и обратила на себя внимание правительственных лиц пропагандированием вредных идей. За это была сослана по решению администрации...»

Отложил перо, перечитал написанное. Он начинал строить свое здание с фундамента, подготавливая прочное основание для стен, где каждый кирпич был фактом, скрепленным твердым раствором его логики и интуиции.

«...Обвиняемая, имевшая в то время, когда производилось дело о сестре, едва 16 лет, успела уже обнаружить в характере скрытность и лукавство, представлявшие ее личностью сомнительной благонадежности. Затем, два года спустя, она уже вполне усвоила то же нигилистическое направление и появилась в городе Серпухове Московской губернии в качестве письмоводителя у мировых судей, нося стриженые волосы, кожаный пояс и тому подобные наружные атрибуты отрицания общественных условий».

Кабат задумался, отложил исписанную страницу, сухими пальцами поправил манжет.

Жена купила ему новые запонки, серебряные с синими сапфировыми каплями, безумно дорогие. «Ты с ума сошла, Лидия... Разве можно... Такие траты, право...» — «Тебе идет синий цвет»,— сказала она, помогла вправить запонки в манжеты и поцеловала в щеку.

Еще несколько усилий, и он кончал следствие с широким выходом на глубокие обобщения. Биография обвиняемой, ее родственные связи были тем необходимым участком, на котором локомотив медленно набирает скорость, чтоб выйти на прямой путь и понестись на всех парах уже неудержимо в своей многопудовой силе, огнях и железном гуле. Он сам подцеплял вагон к вагону, создавал состав. Состав преступления!

Между прочим, вторая сестра подсудимой вышла замуж за Петра Гавриловича Успенского. Да, именно за того самого, который служил заведующим книжным магазином Черкесова и вместе с Нечаевым — опять же с Нечаевым! — активно участвовал в убийстве ни в чем не повинного студента Иванова! Так-то, милостивые государи, открывается

сей хитрый ларчик! Но... Было по крайней мере несколько «но», на которых следовало остановиться особо.

Во-первых, телеграмма прокурора одесской палаты, точно назвавшего имя стрелявшей, указывала на некоторые новые направления. Уж не связана ли обвиняемая с этими государственными преступниками Дейчем, Стефановичем и Бохановским? Требовалось начать работу в Одессе в том же направлении, что и в столице. Во-вторых, требовалось выяснить, кто же покупал револьвер, из которого обвиняемая произвела свой выстрел, и вот тут Кабат был уверен, что незамедлительно определится все недостающее. Оно явится вдруг. Случайным словом, оброненной запиской, тревожным жестом, перехваченным опытным глазом, а там все пойдет само. Несомненно, найдутся сообщники. И найдутся где-то рядом, может даже в соседнем доме. Рукой подать! Они еще ничего не знают, ведут обычную свою жизнь, спят в своих постелях, распивают чаи, ведут беседы, улыбаются, а он уже их почти нашел. Кольцо сжимается. И ощущение огромной его силы и власти над этими людьми перехватывало дыхание.

У него уже имелись кое-какие наметки. Адреса и фамилии подозреваемых лиц, агентурные сведения о сходках, где бывала Засулич, а значит, могли быть и ее сообщники. Следовало выяснить, например, кто такая и чем занимается девица Александра Малиновская? Кто собирается у нее на квартире в доме Сивкова у Царскосельского вокзала? Обыск надо произвести сегодня же вечером, это он решил твердо и заготовил ордер, но еще не подписал у начальства.

Кабат работал увлеченно. Работал запоем. Юность и счастье! Ветер в душу, и время летело так, что усталости не чувствовалось, а разрозненные факты, кирпичи его здания, ложились точно на свои места.

У него оставалось еще некоторое время до обыска, назначенного на квартире рисовальщицы Малиновской.

В другое время он бы позволил себе отвлечься перед таким делом, снял бы сюртук и, закрыв двери, походил по комнате, закинув голову и размахивая руками. Доктор внушал, что неподвижность чрезвычайно опасна для здоровья. Но когда каждый росчерк пера приближает к триумфу, можно кое-чем поступиться.

В дверь постучали. Он вздохнул, поднял взгляд: «Войдите!»

Вошел экзекутор Тимофеев, скучный маленький чиновник с лицом лимонного цвета, поклонился, подал записку, из которой следовало, что надворного советника Кабата со всеми материалами следствия вызывает к себе прокурор палаты Лопухин. «Велено прибыть немедленно»,— добавил Тимофеев, с уважительным любопытством косясь на гору исписанных листов на столе. «Начинается!» — понял Кабат, и серебряные трубы запели в душе.

Внизу, когда швейцар подавал шубу, посмотрел на себя в большое настенное зеркало, обратил внимание на лихорадочный блеск глаз и тревожную бледность лица. Не так ли выглядел Наполеон, ступая на Аркольский мост? Глупости! Заставил себя усмехнуться. Подскочил полицейский офицер Любимов, поинтересовался насчет выезда с обыском, назначенного на вечер в доме Сивкова у Царскосельского вокзала. Все готово. «Повремените несколько. Я скоро»,— сказал Кабат.

Лопухин ждал его в здании судебных установлений в своем огромном кабинете, еще пахнущем свежей краской.

В камине, отделанном зеленым мрамором, потрескивало пламя, и густые красные отсветы, вспыхивая в хрустальных подвесках тяжелой павловской люстры, падали на лицо прокурора, делая его величественным и загадочным одновременно. «Посмотрим, посмотрим... так-с, так-с...» Ленивым движением холеной руки Лопухин разрешил присесть. Кабат сел в низкое кресло возле широкого резного стола, судорожно, рывком вынул из портфеля

материалы следствия, еще не закопчениого, по уже определяющего государственные масштабы. «Интересно... Интересио...»

Не поднимая головы, Кабат мог видеть только тяжелый чериильный прибор на столе и руки Лопухииа, его пальцы в перстнях, медленно переворачивающие страницу за страницей.

— Вы иастаиваете, что это дело политическое, все следствие имеет такой поворот...— паконец сказал ои.

— Совершеиио так.

— Вы уверены?

— Если угодно вашему превосходительству...

— С какой стати тем ие менее личиую месть рассматривать в таком аспекте?

— Смею ие согласиться. Никакие ссылки...

— Тайные общества, заговоры, якобинцы — это все эффектно, но это проще всего. Попытаюсь внушить вам, что эта девица мстила Трепову за человека, иаказанного розгами. Жених ои ей или кто, это другой вопрос. Оиа действовала из иеверио понятого чувства безграиичной гуманности. Или можно сказать...

— Александр Алексеевич! — Кабат поднялся.— Как же так?! Если какое-либо лицо, проникнутое чувством гуманиости, и притом, как вы изволили выразиться, безграничной, развивая в себе это чувство, доведет его до фанатизма в интересах совершеиствования иравов, законов, цивилизации, иакоиец, поставит себе целью ограждение человеческого достоинства, то, без сомнеиия, такое лицо будет мстить при первом же представившемся случае. Но начиет ие с Федора Федоровича!

— Очеиь интересио. С кого же оио иачиет? Мы все хотим знать это, и немедлеино, дорогой мой...

— Увы, такое лицо начиет мстить за всякие угиетеиия. Безразлично, к какому бы положению угиетенный и оскорблепный ни приадлежали! Поймите, оио будет

мстить господину за слугу, мачехе за сироту, начальнику за подчиненного, богатому за нищего — короче, всем, кто в силу своего положения получает возможность както попирать человеческое достоинство. Здесь же иной случай.

— Весьма любопытно. Но ход ваших рассуждений уводит нас в сторону.

— Напротив! Мщение за лицо только известного направления определенных идей, как в данном случае, является не проявлением общих гуманных чувств, а принципом. Возьмите во внимание деятельность и среду, к которой принадлежали и Засулич и Боголюбов.

— Вы хотите сказать...

— Да, я хочу сказать, что данное преступление нельзя рассматривать как мщение вообще. Как мщение за наказание бесправного лица. Чувство, которым оно вызвано, определяется политически. И только так! Шестимесячное расстояние, разделяющее наказание Боголюбова от выстрела в генерал-адъютанта Трепова, составляет такой промежуток времени, который способен охладить даже самое пылкое воображение и ослабить самую сильную энергию всякого лица, тем более женщины. При этом учтите положение, в котором находилась эта Вера Засулич. Тут имеются ее биографические данные.

— Интересно...— Лопухин улыбнулся. Улыбка его была добродушной, ленивой.— Если угодно, можете закуривать.

Следователь Кабат не курил. Но тут не смог отказаться. Вынул из протянутой коробки душистую папиросу, затянулся, поспешно выпустил дым, дернув головой.

— Интересно... В материалах есть телеграмма прокурора одесской палаты. Предлагаю ее изъять. Зачем это? Право, не стоит. И еще... Какое, дорогой мой, имеет значение, кто помогал вашей Вере Засулич в приобретении револьвера? Суть дела не в этом...

Кабату показалось, что он ослышался, что у него возникло внезапное повреждение слуха, говорят же о всевозможных галлюцинациях... Или от напряжения и душистого табака голова пошла кругом. Он ничего не понимал.

— Ваше превосходительство, помилуйте, но...

— Дорогой мой, право, не стоит нервничать на этот счет. Я понимаю, проделана большая работа, все это учтется, однако вопрос будет простой. Как вы считаете, русский человек доброе слово ценит?

— Не понял. Виноват.

— Я спрашиваю, чем наш российский нигилизм можно истребить, если русский человек по сути своей чем-нибудь всегда недоволен. Окладом жалованья? Непременно. Собой, страной, женой... Вешать его за это или просто в Петропавловку тащить?

— Позвольте...

— Не позволю. Желание государя не случайно. Возьмем казанскую демонстрацию. Ну, собрались все эти нигилисты, красным знаменем махали, речи говорили противуправительственные, их народ поколотил, чтоб неповадно было, и не надо никаких процессов!

— Смею не согласиться, ваше превосходительство. Там народа не было, извозчики да мясники — чернь, не народ!

— А это как посмотреть, народ не народ... Гражданин Минин, спасший Россию, тоже мясником был. В Нижнем Новгороде в мясных рядах.

— Однако...

— Я не закончил... Теперь возьмем жихаревское дело. Собрали со всей империи паршивцев да говорунов всяких и некоторых до трех лет под следствием в Доме предварительного заключения держали, чтоб на суде признать невиновными. Так-то вот! Да и Федор Федорович хорош, если между нами говорить. Выпорол человека, когда телесные наказания по воле государя давно отменены... Я ж помню, он к Палену ездил. Что делать? И к Алексею Бо-

рисовичу Лобанову-Ростовскому с тем же вопросом. Понял уже, что беда будет. А Боголюбову он в крепость чаю, сахару прислал, показать хотел, что зла не помнит. Нельзя к нигилистам серьезно относиться, пороть их следует, может, и так, но при этом думать надо. И сие несомненно!

— Но ведь, ваше превосходительство...

— Я еще не кончил. Факт бунта в тюрьме, который последовал за наказанием Боголюбова, вам известен? Не так ли?

— Да, но к данному делу...

Лопухин остановил его мягким жестом и говорил еще что-то, все так же улыбаясь добродушно, снисходительно, как будто перед ним взрослый ребенок, который уже кое-чего понимает в жизни, но не может еще считаться человеком зрелым, потому что нет у него масштаба для сравнений. Масштаб же этот дается только опытом, и Лопухин это понимает, а сидящий перед ним — нет.

До Кабата долетали только отдельные слова. Несвязные, без смысла. «Не стоит... Незачем... Право, не будем поднимать на ноги Одессу, у них там своих дел больше чем достаточно... Отмените подготовленные вами мероприятия... Никаких обысков по делу Засулич...»

— Ее следует наказать, и примерно, но не за политику, а за выстрел... Вы меня поняли?

— Я...

— Времени мало, но вполне достаточно.

Все его здание рухнуло. На мгновение вроде бы даже он увидел перед собой, как разваливаются стены, падают кирпичи, проваливается крыша и стропила вылезают из-под нее, как кости из живой плоти. Но это только на мгновение.

Чего же он не учел? Чего не понял? Или умный Иван Данилович, старый сыскной волк, сразу сообразил, что это не то дело, совсем не то, за которое следует браться,

и не проявил обычной прыти, передал все ему, извечному неудачнику?

Когда-то давно, еще в пансионе, был он первым учеником, и тогда это казалось очень важным — быть первым по списку. Но пришел к ним в класс молодой человек, его ровесник, сын знатного отца, большого богатея, много раз миллионщика. И как так получилось, никто не понял, но тот юноша стал первым по списку. И когда молодой Кабат попытался выяснить, как же так, сын знатного отца, присутствовавший при выяснении, взглянул на него странно. Взглянул, и только! И все! Но почему этот взгляд преследует его всю жизнь? И сейчас тоже!

— Желаю скорейшего окончания,— сказал Лопухин и встал. И протянул руку: — Пора. Давно пора. И учтите: никакой политики. Судить как воровку с Апраксина рынка.

Следователь Кабат понял, что жизнь кончена. Уже ничего не будет. Ни улыбки государя, ни аудиенции в его царскосельском кабинете... И серой каретной четверки, как у того проехавшего мимо господина, не будет... И сенаторского мундира... Ничего...

Он вернулся к себе. Он тащился по коридору и шаркал, как старик. Полицейский офицер, нетерпеливо ожидавший его, развел руками.

— Заждались! Все по местам. Начнем?

— Все отменяется,— сказал он чужим голосом и, не снимая шубы, поднялся к себе наверх, рухнул в кресло.

Была полная пустота. Так тебе и надо! Для кого ты старался, ученый лакей, или забыл, в какой стране живешь? Забыл! Забыл, забыл... Примазаться к знатным захотел? В бароны, в графья... Не пустят...

Его гордый локомотив рухнул с рельсов, едва выйдя на прямой путь. Летели под откос вагоны, наползали друг на друга, переворачивались, обдирая железными боками траву и полевые цветы на насыпи.

Он просидел, не снимая шубы, в полной неподвижности час или, может, даже два часа. Служитель принес зажженную лампу, поставил на столе.

Он не мог идти домой. Дома ждала жена. Она волновалась и еще надеялась, еще верила в счастье. Не мог он идти домой! Не мог. «Ваше высокородие,— сказал служитель,— до вас тут внизу один почитай с самого утра добивается. Сидит. Не пускаем, а он свое твердит. Дело у него есть, и все!» Сказал устало: «Раз дело, зови» — и тут же в дверях вырос бородатый тип, явно из купцов, загудел сипло: «Как русский человек, сын отечеству, спешу донесть, облегчить душу... К вашей милости третьей гильдии купец Селедкин... На Одиннадцатой линии Васильевского острова меблированные комнаты «Ростов-на-Дону»...»

Кабат слушал растерянного купца вполуха. Не до того было, а купец, путаясь и заикаясь от волнения, начал про фальшивые ассигнации, про каких-то фальшивомонетчиков Михайлу и казака, приехавших в Питер южным поездом, а потом вдруг мелькнула Гороховая. Почему вдруг? Портерная напротив дома градоначальника. Наблюдения за выездом Трепова. Черный рысак удивительной красоты. «...А в день, как стреляли, оба так и съехали,— закончил купец.— Шайка у них, ей-ей...»

Все точно! Он был прав в своей интуиции! Недостающее определилось, и, как он предполагал, само. В этот раз в лице купца Селедкина! У сыска свои законы, сейчас бы и двинуть по следу, вот оно, все в руках. Но зачем?

Он записал адрес купца, поблагодарил, успокоил, как мог, сказал, что всех переловят. «Благодарствуйте покорнейше»,— лепетал купец и вышел, пятясь, а он остался один в пустой комнате, разбитый, уничтоженный.

И то правда, зачем надрываться господину Лопухину, родственнику князя Оболенского, члена Государственного совета и сверх того председателя совета учетного и ссудного банка с жалованьем в двадцать пять тысяч «за предста-

вительство»? Его устраивает, чтоб все было тихо, без всплесков. У него свои интересы. Раз государь сказал...

Следователь Кабат решил, что завтра же явится к Лопухину, скажет, гордо подняв голову: «Я отказываюсь вести это дело, ибо, как профессионалист, вижу в предлагаемой вами тенденции большой вред. В край угла надо ставить интересы государственные!» — «А разве я не ставлю?» — возразит Лопухин, бледнея. «Нет! — гордо бросит он.— Вы дорого покупаете свое благополучие!» Лопухин непременно должен смутиться, спросить гордого следователя, как быть. И он ответит ему, что негоже государственным людям, как птицам страусам, прятать голову под крыло. Надо смотреть вперед и думать как о себе, так и о своих детях. Какой же ценой покупается сиюминутное спокойствие? Не за их ли счет идет игра? Мало ли что сказал государь! Вельможе подобает быть не лакеем, но советчиком держащему верховную власть. «Как воровку с Апраксина рынка!» — это не четкое указание, а эмоциональный всплеск растроганной души.

Легче не стало. Чего уж после драки решать решенное. Никуда он не пойдет, ничего он не скажет. У него семья, жена, дети и нет 25 тысяч жалованья «за представительство». Требуете личную месть? Будет по-вашему! Будет личная месть. А ведь как все здорово складывалось. Как точно-то! На самого Нечаева выходил! На ближайшем же допросе хотел начать с него, с Сергея Геннадиевича, с самой первой встречи, чтоб все в хронологии...

9

Когда она увидела его первый раз? Когда это было и где?

Ах да, на Васильевском острове. Конечно, на Васильевском, в Андреевском училище, там давали предметные уроки обучения по звуковому методу.

Ее познакомили с учителем Виктором Ивановичем, большим энтузиастом звукового этого метода, и Виктор Иванович зазвал ее и еще нескольких слушателей к себе на квартиру, сказав вполне серьезно: «Господа, надо побеседовать о том, что следует читать нам, учителям, чтобы достойно подготовиться к своей великой миссии».

Собрались в маленькой жалкой комнатенке. За столом, накрытым скатеркой с кистями, места всем не хватало. Отдернули ситцевую занавеску, уселись на кровать. «Ничего, ничего, не стесняйтесь, господа. Будьте как дома,— настаивал хозяин.— Закуривайте, если желаете, я фортку открою».

Собравшиеся учителя, все очень молоденькие, не старше ее, и раньше-то не представлялись ей мудрецами, но, когда начался разговор, она поняла, что знают они мало, гораздо меньше ее и разговор вот-вот приобретет характер безответственной болтовни, когда незнание предмета пытаются компенсировать энергичной заинтересованностью, темпераментом, повышенным тоном и размахиванием рук.

Она обратила внимание на молодого человека, сидевшего на кровати. Он слушал, наклонив голову с достоинством взрослого, попавшего в малолетнюю компанию, и нет-нет на его гладком, довольно смазливом лице появлялась снисходительная улыбка. Не улыбка даже, а тень. Его каштановые волосы были аккуратно причесаны. На нем был поношенный, но аккуратный пиджачок, явно купленный по случаю и уже кем-то обмятый, но на этот пиджачок молодой человек пришил новенькие фрачные пуговки, блестящие, нарядные.

И много лет спустя, всякий раз, когда ей говорили о Нечаеве, о его безумной работоспособности, аскетизме и бескорыстной преданности делу народа и революции, она вспоминала эти пуговки, пришитые на расхожий пиджак.

Да, это был Сергей Геннадиевич Нечаев, учитель Сер-

гиевского приходского училища, вольнослушатель Петербургского университета. Их представили друг другу. Он кивнул довольно-таки снисходительно и отвернулся.

Кто-то из присутствующих начал говорить о философии, упомянул Писарева и Добролюбова, но, как тут же и выяснилось, ни того, ни другого не успел прочитать, а только слышал кое-что о них. Она сказала, что ее любимая статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?».

— А когда он придет? — спросил Нечаев, усмехаясь и по-владимирски нажимая на «о».— Когда?

— Добролюбов считает, что при поколении, которое вырастет в атмосфере надежд и ожиданий.

— При нас, значит,— заключил он и, когда расходились, пригласил ее зайти в Сергиевское училище. Сказал: — Надо бы нам потолковать...

Ее рассмешило это фамильярно-многозначительное «надо потолковать», она спросила:

— У вас тоже учителя собираются?

Он, видимо, растерялся и уже вполне нормально, без всякого «оканья», сказал:

— Да нет, учителя не собираются, но хорошо бы нам поговорить.

— Поговорить? О чем?

Он пожал плечами, и снисходительная тень мелькнула на его лице. Он явно хотел показать, что ему известно то, о чем она даже и не догадывается.

Когда в Художественном театре через сорок с лишним лет давали инсценировку «Бесов», перед зрителями бегал рыжий господин, изображавший Нечаева, послужившего Достоевскому прообразом Петра Верховенского.

Она оценила актерское мастерство и талант режиссера. И гениальность Достоевского была ей очевидна. Но увы, в жизни все было совсем, совсем не так. Жизнь сложней искусства. Искусство — только формулировка задачи,

жизнь — решение. Что делать, если живопись имеет два измерения, а третьего ей не дано, все картины плоские, живописный объем — иллюзия. Скульптура неподвижна. Театр — лицедейство. На сцене люди вживаются в чужой образ, но полного соответствия быть не может. Любой человек неповторим. Нельзя восстановить образ один к одному. Можно попытаться, и только. Была у нее такая попытка.

В Женеве зимой 1883 года члены незадолго перед тем возникшей первой русской марксистской группы «Освобождение труда» решили прочитать ряд рефератов о русском революционном движении. Друзья долго уговаривали ее рассказать на собрании о нечаевском деле. Она отнекивалась: не любила и не умела выступать на людях. В отличие от Плеханова, оратор была никакой. Наконец согласилась, подготовила конспект, но, когда наступила ее очередь, до того растерялась, что не в состоянии была произнести ни слова. Извинилась, и собравшиеся разошлись.

Потом через некоторое время она нашла в своих бумагах тот конспект, прочитала и пришла к выводу, что есть в нем интересные моменты. Решила написать статью о Нечаеве и напечатать в каком-нибудь легальном марксистском журнале, разумеется под псевдонимом, а чтобы цензура не догадалась, кто автор, не назвала ни себя, ни своих сестер, привлекавшихся по нечаевскому делу, разве что упомянула среди других имен. И все.

...Он никогда не ходил один. При нем всегда крутились адъютанты. Один из них, Евлампий Аметистов, говорил не без гордости: «Близок я к Сергею Геннадиевичу и в настоящую минуту изображаю из себя «alter ego» [1]. Вот ведь как... alter ego! Почему это?

Как возникает лакейство и холопство? Только ли экономические причины творят их, только ли служебная за-

---

[1] Второе «я» *(лат.)*.

висимость? Материальная, физическая... Какая еще? Есть люди, которым необходимо зависеть. Они не могут существовать сами по себе. Они не состоялись, и им непременно нужно состоять при ком-то. Вот самое страшное холопство! Вращаться в какой-нибудь известной компании, быть в друзьях при знаменитости, чтобы похвастаться. Их греет блеск чужой славы, они купаются в нем, как русалки в лунном свете.

Когда Евлампия спрашивали о Нечаеве, он говорил: «Сергей Геннадиевич — человек из народа. Вы еще о нем услышите! До шестнадцати лет грамоты не знал, а ныне Канта чешет почем зря. Цитирует наизусть! От сохи — к вершинам культуры, вот русский путь!»

— Полноте, Евлампий,— сказала она,— вы его подробней расспросите, он и споткнется. Вершины культуры... Откуда ему Канта знать? Он котлету ножом режет.

— Его этому не учили!

— Ну так прочитал бы. Эта деталь через всю русскую литературу проходит. И везде сказано: не делайте сего.

Обычно на людных сборищах Нечаев помалкивал, сидел в сторонке, изредка бросал одну-две фразы, и ничего особенного в них не было, но адъютанты тут же начинали громко восхищаться: «Молодец, Сергей!», «Так их!», «Браво, Нечаев!»

Им любовались. Он и в самом деле был человеком «из народа». Выросший в нищете, он вырвался в столицу, сдал экзамены на звание приходского учителя, и это было ох как непросто! Борьба за кусок хлеба, за место в жизни закалила, но и озлобила его. По мнению Веры Ивановны, в те далекие уже времена в таком человеке, как Нечаев, в силу только одного его происхождения готовы были видеть самые прекрасные свойства и качества, заранее относясь к нему с почтением. Люди из народа были тогда большой редкостью в студенческой среде. От них хотели ждать нового слова и прекрасного подвига. Да и сам народ пред-

ставлялся почти в мифическом свете: ведь «хождения в народ» и всего того, что за тем последовало, еще не было! В чудо хотелось верить! Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить!

«Сын народа», «человек из народа», наизусть цитирующий Канта, вызывал бурю восторгов, и не очень-то хотелось проверять, соответствуют ли источнику приводимые им цитаты и как они заучены.

Из студенческих сходок тогда никаких тайн еще не делали. Многие родители охотно предоставляли молодежи свои квартиры, а полиция смотрела на все это сквозь пальцы. Сведения о сходках помещались в газетах!

Как-то собралась шумная сходка в большой гулкой квартире где-то на Петербургской стороне. Народу пришло много, и настроение у всех было боевое. А тут еще заметили, что у ворот городовой всех пересчитывает: «Девяносто пятый, девяносто шестой...» Она тоже видела того городового, но не заметила, чтоб он подсчитывал входящих в парадное. Просто стоял у дверей, беседовал с толстой кухаркой, но под общим впечатлением готова была согласиться, что за ними наблюдают! Так оно романтичней в двадцать-то лет!

Как обычно на сходках, говорили о необходимости устройства студенческих кухмистерских, касс и частных уроков. Потом, вполне естественно, молодежь затрагивала и вполне запрещенные вещи. Начинали говорить о демонстрациях, о народных бунтах и недовольстве в отдаленной сельской местности.

К слову, Нечаев считал, что никаких кухмистерских и касс не нужно, поскольку они только развратят молодежь, облегчив ее положение, а это отодвинет революцию.

— Сытый голодного не разумеет,— говаривал он, и сразу же адъютанты оживлялись:

— Правильно!

— Сытый голодного — вот суть!

— Дело говоришь, Серега!

Было шумно на той сходке, накурено. Юные ораторы по очереди поднимались на стул, накрытый газетой, и, расставив ноги, чтоб не качаться, со стула произносили речи.

Рыжий юноша по фамилии Ижицкий, выбрасывая вперед тонкую девичью руку в голубых прожилках, рисовал картину счастливого завтра: «Тогда все будут свободны! Тогда ни над кем никакой, господа, не будет власти! Всякий будет брать столько, сколько ему нужно, и трудиться бескорыстно».— «А если кто не захочет?!» — крикнул кто-то из задних рядов. Ижицкий искренне огорчился, на лице его отразилась мгновенная растерянность, но он тут же нашелся: «Мы упросим его! Мы ему скажем: друг мой, трудись! Это необходимо — трудиться! Не-об-хо-ди-мо... Мы будем умолять его, и он начнет работать вместе со всеми, радостный и свободный!»

Она уже тогда считала себя революционеркой, но все эти разговоры о будущем строе находила смешными, а в больших количествах нелепыми и утомительными. На той сходке она расхохоталась, спрятавшись за соседку, а потом часто рассказывала про студента Ижицкого. Это было нечто вроде любимого анекдота — рассказ о нем. Она даже собиралась как-то рассказать об этом Энгельсу, он бы, наверное, очень повеселился. Ну да это было много, много лет спустя... А тогда выслушали Ижицкого, затем другого оратора, забравшегося на стул, и решили устроить кузнечную мастерскую, в которой студенты смогли бы обучаться ремеслу и зарабатывать на жизнь.

Нечаев все эти речи слушал вполуха. У Нечаева был план, согласно которому студенты должны протестовать. Он понимал, что за студенческими демонстрациями последуют ответные действия начальства. Начнутся высылки на родину, и вот тогда по всем губерниям разъедется масса людей недовольных, возбужденных, а следовательно, на-

строенных революционно. Недовольство высланных студентов передастся местной молодежи, главным образом семинаристам, а те в свою очередь, разъехавшись на вакации по родным селам, сольются в единый монолит с протестующими элементами крестьянства. Таким вот образом и создастся революционная сила, которая объединит народное восстание в масштабах всей империи.

Сам факт приближения народной революции принимался всеми за аксиому. Как можно сомневаться? Сомнение было бы принято за неуважение к народу!

— Он недоволен и обманут, народ наш российский. Так неужели вы полагаете,— гремел Нечаев,— что эдаким Макаром он и станет сидеть сложа руки, народ наш!

— Браво!

Нет, сложа руки наш русский народ сидеть не станет. Все верно. Не умеет он сидеть сложа руки.

— Диплом и карьера развращают,— вторил Аметистов.— Посудите сами, господа, на первом, на втором курсах студенчество жаждет движения, интересуется общественными делами, с радостью посещает сходки. А как почувствовали близость диплома, что тогда? Тогда их уж ни на какую сходку не затащишь...

Нечаев благосклонно кивал и вдруг поднялся.

— Довольно фраз,— сказал он резко, и все обернулись к нему.— Много переговорено, други! Хватит лить из пустого в порожнее. Хватит! Кто не трусит за свою шкуру, тем пора протестовать. Пора валить зверя!

Сделалось тихо. Никто не знал, как протестовать. И в какие формы может вылиться протест, никто не знал. Но внизу-то у парадного стоял тот важный городовой в фуражке, с шашкой. Близость народного восстания была очевидна, а зверя всегда хочется завалить. Каждому свое. В молодые-то годы...

— Други мои,— воскликнул Нечаев, и его резкий голос зазвенел,— пора отделиться от праздноболтающих, от

прозябающих в тине благополучия. Кто готов, пусть напишет свои фамилии на листе. Вот он!

Лист был уже заготовлен и белел на столе, и на листе сверху аккуратным почерком было выведено заглавие, подчеркнутое волнистой линией: «Подпись лиц, учащихся в высших учебных заведениях, протестующих против всех тех условий, в которые они поставлены, и требующих для изменения этих условий право сходок для всех учащихся высших учебных заведений вместе. Форма протеста примется по соглашению подписавшихся».

До чего ж любил Сергей Геннадиевич канцелярский стиль! И самое странное, это действовало! Обычно над всякой казенщиной посмеивались. А тут эта же казенщина принималась подтверждением некой внутренней силы, формой, принятой в каждом серьезном деле.

Адъютанты подписались первыми. За ними бросились другие. Началась суета. И вдруг кто-то сказал тихим голосом, неожиданно четко прозвучавшим:

— Да вы что, господа! Какой лист? Это глупо и бессмысленно. Лист может попасть в руки полиции.

— Ой! — охнула розовощекая барышня, успевшая поставить подпись одной из первых, хоть и не была студенткой.

Женских курсов тогда еще не существовало, на сходки приходили барышни, сочувствующие студентам.

— Давайте порвем, а?

Но было уже поздно. Цепким движением Нечаев сорвал лист со стола, сунул в карман. Адъютанты тут же плотно окружили его. Он стоял, вобрав голову в плечи. Глаза его бегали из стороны в сторону, а весь он застыл, как попавший в западню волк. Она видела однажды в Бяколове такого волка. Пришли мужики с ружьем и фонарями... Волк! Волк! Сергей Геннадиевич был похож на того зверя, приготовившегося в углу овина к последнему прыжку. А что терял Сергей Геннадиевич?

Всего собрали 97 подписей, и лист не порвали. Какими-то путями он с именами «протестующих против всех условий» попал в Третье отделение. Некоторые студенты после этого начали подозревать Нечаева в предательстве и даже поговаривали об этом вслух, а Михаил Негрескул назвал Нечаева платным агентом, но Негрескулу не поверили. Его пристыдили. Сын народа не мог быть платным агентом!

Она жила тогда на Поварской у Елизаветы Христиановны Томиловой, жены полковника, горного инженера. Квартира была не слишком большой, и средства у Томиловых были ограниченные, но в их доме, как отмечал на суде защитник Томиловой профессор Спасович, бородатый судебный златоуст в небрежно повязанном галстуке, в их семье всегда находился для гостя лишний прибор за столом, лишняя чашка чаю и, если нужно, лишняя кровать. «Я знаю, что память о таких домах принадлежит к самым чистым и золотым воспоминаниям моей юности»,— говорил Спасович в судебном заседании. Тогда эта фраза как-то прошла мимо, не взволновав, не задев. Странно! А с годами, став старше и, наверное, посерьезнев, она поняла, что от далекой юности только и осталось что неразменное золото воспоминаний. Солнце в окне. Торопливое пожатие руки. Шум молодых голосов в соседней комнате. Звенит звонок в прихожей.

Нечаев был у Томиловых своим человеком. Елизавета Христиановна давала ему уроки из латинского языка, а познакомились они совершенно случайно, в вагоне железной дороги. Ехали как-то в одном купе и разговорились.

У Томиловых читали вслух «Что делать?», хвалили Чернышевского, увлекались Рахметовым и снами Веры Павловны. Но как осуществить те сны и чем занимался Рахметов, было неясно. Понимали, что он революционер, а государственный строй надо менять, но, что делать для этого конкретно, никто не знал. Шли бесконечные споры.

Выяснялись истины. Каждый имел свое мнение. Никто ни с кем не соглашался. А время требовало дела! И вот он явился — человек дела!

Нечаев, с его таинственной значительностью и деланно-народным говором на «о», попал на подготовленную почву. Нет пророков в своем кругу! Из народной среды вышел!

Полковник Томилов решительного голоса у себя дома не имел и толком не понимал, что происходит вокруг. Он «Что делать?» не читал. У него была любимая книга «Фрегат «Паллада»».

Чернышевский вроде бы указывал путь. Для начала следовало организовывать артельные мастерские — ассоциации. Все ясно. Томилова хотела создать такую. Купила швейную машинку. Уговорила модистку Клаву уйти от хозяйки-кровопийцы, наживающейся на чужом труде. Договорились, что Клава должна учить ремеслу будущих мастериц, набранных из петербургских нигилисток, много куривших и много говоривших об эмансипации.

Шить нигилистки, ясное дело, не умели, но горели желанием и уважали талант Чернышевского.

Швейные ассоциации росли тогда как грибы. В первый месяц преисполненные энтузиазмом нигилистки, дымя крепким табаком, работали усердно. Но шить по десять часов в день ради приближающейся революции тяжело. Энтузиазм угасал. Шить начинали все меньше и хуже. Модистки, бросившие своих хозяек-эксплуататорш, сами начинали относиться к работе кое-как, а потом бросали ассоциации и возвращались на прежние места, тем более что и жалованье в ассоциациях было маленьким. Ведь вырученные деньги делили на всех.

Случалось, мастерицы выгоняли нигилисток из мастерской и забирали швейные машинки к себе. Тогда все кончалось судом.

— Сами же постоянно твердили, что машины принад-

лежат труду! Аль не так? — удивлялась бойкая Клава.— Вот мы их и забрали.

— Ну это уж слишком,— негодовала Елизавета Христиановна,— святая наивность! В какой стране мы живем!

— А уж какой с них был труд,— сердилась Клава, кивая в сторону обиженной устроительницы.— Как есть никакого! Только, бывало, разговоры разговаривают...

Права Клава, думала Вера Ивановна. Одни разговоры! И негодующий шепот Томиловой веселил.

Она работала в переплетной мастерской. Тоже артельной. Но там работа была проще, да и нравилось ей переплетать книги. К тому же она относилась к своей работе как к заработку, отнюдь не как к пропаганде грядущего будущего.

Сергей Геннадиевич тем временем выписал в столицу сестру Анюту, и Анюта приехала из Иванова, растерянная деревенская девушка. Вышла из вагона в длинной ситцевой юбке с оборкой, в плисовой черной жакетке в талию, с мешком домашней снеди и вязанкой бубликов. Розовощекая, круглоглазая.

Анюта была почти неграмотная, еле читала по складам. Ее воспитанием занялась Елизавета Христиановна, и вскоре Анюта поселилась у нее на Поварской. «У девочки есть способности»,— сказала Томилова. «Ничего, Нюшка их не объест,— заключил Нечаев не то в шутку, не то всерьез.— Все едино не на свои деньжатки живут. Полковничья пенсия за народный счет. На мужицком на горбе держатся». Елизавета Христиановна этих его слов не слышала.

В ту осень Сергей Геннадиевич как-то сразу и вдруг стал знаменитостью. Кажется, о нем говорили повсюду. Он бывал на студенческих сходках и в светских домах, давал уроки детям барона Вольфа, был везде на виду, и знакомство с ним считалось лестным. Среди радикалов говорили,

что именно Сергей Геннадиевич делает настоящее дело. Какое дело, что за дело? Неясно... Но делает! Когда же она как-то поинтересовалась, в чем же оно заключается, его дело, Томилова вздохнула, посмотрела на нее грустным, голубым взглядом и ответила стихами: «Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекрасней, желаннее тернового венка!»

Как все сложно в жизни! Как неоднозначно и запутанно. Фрачные пуговички на пиджаке, деланная многозначительность в голосе, а на челе терновый венок. И такое может быть, но кто ж он, Сергей Геннадиевич, от сохи поднявшийся к вершинам знаний, думала она и не могла решить. Однажды разговорилась с Михаилом Негрескулом, болезненным молодым человеком с печальными карими глазами. Речь зашла о Нечаеве.

— Он жулик,— сказал Негрескул, и смуглые его веки вздрогнули.— Верочка, это страшный человек!

— Он так знаменит...

— Тоже мне труд — сделаться на Руси знаменитым! Наш обыватель ленив, ему лень разбираться в сути. У нас есть знаменитые поэты, не написавшие ни одной стоящей строчки, вас ведь это не удивляет, верно? Есть безграмотные академики, дремучие беллетристы, малограмотные философы — властелины дум. Их знаменитость строится не на деле — на скандале. Для этого им необходимо, чтобы вокруг их имени постоянно шли разговоры. Ах, это тот Нечаев, который?.. Тот самый Сергей Геннадиевич? Ах, ах... Ох, ох... Сын народа! Человек дела! И обратите внимание на эту манеру выражаться народным говором, ведь он вполне может и не «окать», но поди ж ты, играет роль... Модно! Попробуй его обидь, весь народ обижаешь.

— Вы к нему несправедливы.

— Нет, почему же, очень даже справедлив. Он мне ясен. Время от времени являются такие тщеславцы, выросшие на нашей российской почве. Вполне ординарный слу-



чай. Я узнаю этих вертких юношей по свечному отблеску в глазах. Они испепеляемы огнем бонапартизма, внутри у них все так и полыхает, им главней господа бога надо быть, никак не меньше! Они являются вдруг из своей слободки, чтоб сказать будто бы новое слово. Еще вчера такой ходил на карачках, а ныне, приподняв голову, утверждает, что видит звезды, которые другим пока что видеть не дано. Бог с ним! Он боролся за кусок хлеба, а теперь воюет за славу. Он в начальство лезет, к жирному куску, а все эти разговоры о деле — повод для шума вокруг имени, не более того. Он еще станет любовником какой-нибудь графини-истерички или женится на дочери знаменитого отца, чтоб был шум, вот вы посмотрите...

Она соглашалась и не соглашалась с Негрескулом, но в тот вечер, когда Сергей Геннадиевич признался ей в любви так вот сразу: «Я вас полюбил, Вера!», она поняла раз и навсегда, что верить этому человеку нельзя.

Утром он передал ей сверток с прокламациями: «Спрячьте это! Немедленно!», а вечером она получила по городской почте письмо и удивилась, прочитав на тонком листке торопливые строчки, написанные незнакомой рукой: «Идя сегодня по Васильевскому острову, я встретил карету, в которой возят арестантов, из ее окна высунулась рука и выбросила записочку, причем я услышал слова: «Если вы студент, доставьте по адресу». Я — студент и считаю долгом исполнить просьбу. Уничтожьте мою записку». Подписи не было. Она надорвала конверт, и на колени ей выпал клочок серой бумаги. На том клочке Нечаев написал карандашом — его почерк она узнала сразу: «Меня везут в крепость, какую — не знаю. Сообщите об этом товарищам. Надеюсь увидаться с ними, пусть продолжают наше дело».

Арест Нечаева произвел весьма сильное впечатление. Его знали многие, но никто не понимал, неясно было, за что же его арестовали.

За Сергея Геннадиевича сразу же взялся хлопотать его училищный начальник. Как педагог Нечаев был на хорошем счету, прекрасно вел уроки, отличался строгостью с учениками. Поехали в приемную к обер-полицмейстеру Трепову. Но там никаких сведений о Нечаеве не имелось. Побывали в Третьем отделении и в Петропавловской крепости, чтоб хоть передачу передать, справиться о здоровье. Анюта во всех начальственных кабинетах перво-наперво грохалась на колени и, рыдая в голос, просила дозволить, бога ради, повидаться с братцем. Ее поднимали, отпаивали водой из канцелярских графинов и отвечали, что в числе арестованных ее братца нет. Удивлялись: «Нечаев? А кто такой Нечаев? Сергей Геннадиевич... Любопытно...»

— Вот, Верочка, и ответ на ваш вопрос,— сказала Елизавета Христиановна, печально поправляя русые свои волосы,— теперь вам ясно, чем занимался Сергей Геннадиевич? Арестовать человека на улице! И не только не давать сведения, но даже отрицать сам факт ареста! Как же это можно допустить?

— Такое только у нас на Руси,— вздыхал полковник Томилов.— Дожили! И чтоб вы там ни говорили, солнышки вы мои, цветики, при покойном Николае Павловиче хоть и много строже было, но был порядок! Николай, отец родной, он порядок любил! И чтоб дворянина...

— Прекратил бы! Ничего ты не понимаешь,— рассердилась Елизавета Христиановна.— Он не дворянин!

— И ладно. И пусть не дворянин, а все одно, такого не было...

Тем временем Нечаев благополучно прибыл в Москву и, назвавшись Иваном Петровичем Павловым, начал заводить знакомства среди московских радикалов. У него были кое-какие адреса, и в Москве незамедлительно нашлись свои Аметистовы, так что о таинственном приезжем вскоре заговорили в московских пределах: «О, это человек дела!

Вы еще о нем услышите! Запомните это имя — Иван Петрович Павлов...»

Какой гримасой смотрится все это через сто лет! Иван Петрович Павлов... Другой человек с этим именем вошел в историю страны. Человек большого таланта, большого дела, на которое Нечаев наверняка смотрел бы со злобной снисходительностью: ведь такие события назревали, а тот медициной занимался, физиологией, собак резал... Только недовольство надо было выражать! Только протестовать, только разрушать, а что затем? Такого вопроса не было.

Писать реферат о Нечаеве и нечаевщине было трудно. Вера Ивановна не могла препарировать прошлое с академическим спокойствием серьезного кабинетного ученого. Да и не была она никогда кабинетным ученым, во-первых, а во-вторых, так или иначе она оказалась участницей тех событий, и трагедия, разыгравшаяся в Москве по воле Сергея Геннадиевича, потрясла всю ее жизнь. Она много раз возвращалась к Нечаеву и нечаевщине, одним рефератом и статьей дело не кончилось, она не просто пыталась восстановить ход событий, описать характер и образ Сергея Геннадиевича, это было всякий раз возвращением к спору о путях и судьбах русского революционного движения, о его целях, задачах, методах борьбы. И она, знаменитая революционерка, прошедшая горнило хождения в народ, бунтарство, мирное пропагаторство, ставшая убежденнейшей противницей террора, она исследовала время своей юности, чтобы понять прошлое и объяснить.

В Москве жили сестры Катя и Саша. Саша закончила тот же дорогомиловский пансион мадам Риль и вышла замуж за Петра Гавриловича Успенского, красивого молодого человека с темно-русой бородой.

Молодые Успенские поселились сначала в номерах Романова на углу Тверской и Садовой, потом наняли квартиру в 1-й Мещанской, купив на Сухаревке кое-что из мебели. У них были три маленькие комнатки внизу и две сов-

сем крошечные наверху, в мезонине. В одной из этих комнат и поселился Сергей Геннадиевич. Кажется, там после убийства студента Иванова сжигали окровавленную рубашку Нечаева, там обсуждались планы, а во время обыска в мезонине же за обоями были найдены печать организации «Народная расправа» с изображением топора и маленькая книжечка «Катехизис революционера», свод кровавых правил, жутких и нелепых одновременно.

В первый свой приезд Нечаев пробыл в Москве недолго. Он обворожил Петра Гавриловича решительностью взглядов и удивительной работоспособностью. Допоздна, бывало, горел в его окне свет. Нечаев работал, а Петр Гаврилович восхищался: «Саша, он удивительный человек!» — и, лежа в жаркой постели, долго прислушивался к шагам наверху, намереваясь с завтрашнего же дня или в крайнем случае с понедельника сесть за дела. Была у него мечта написать книгу, в коей хотел соединить оптимизм Спенсера и безграничную веру Бокля, веру в силу разума и общественного прогресса. Надо было перенести все это на русскую почву и развить.

Из Москвы Нечаев с чужим паспортом отбыл в Одессу, а позднее в Швейцарию, и вскоре из Женевы пришло от него письмо в Петербург. Нечаев писал, что благодаря счастливой случайности ему удалось бежать из промерзлых стен Петропавловки, он надел на себя шинель какого-то генерала и прошел мимо зазевавшейся стражи. Затем с трудом пробрался в Одессу, там снова был арестован, но опять бежал и наконец перешел границу.

Елизавета Христиановна вздохнула с облегчением: «Ну, слава тебе, господи!», и вновь среди петербургского студенчества начались разговоры о Нечаеве. На этот раз о его дерзкой смелости. А как иначе? «Сын народа» и должен был быть смелым.

В Женеве русские эмигранты приняли Сергея Геннадиевича за шпиона. И не мудрено! Он выдавал себя за де-

легата петербургских студентов, представлялся под разными фамилиями, рассказывал о побеге из Петропавловской крепости. Ему не верили. Было известно, что бежать из Петропавловки невозможно. Да и тогда, когда он открыл настоящую свою фамилию, уверяя, что был руководителем студенческих волнений (руководителем! начальником, а не просто участником! хотя неясно, кто, где и когда его в этот ранг возвел) и за это преследовался, сомнения не рассеялись. В русских газетах указывались имена исключенных студентов. Нечаева среди них не было. Да и то понятно: он ведь студентом не был. Был вольнослушателем. Однако при всем при том Сергей Геннадиевич и в Женеве пришелся кстати: оторванные от России эмигранты ждали революции! Ждали крупных социальных потрясений.

Нечаев добился встречи с Бакуниным и произвел на него хорошее впечатление. Михаилу Александровичу Бакунину виделись четкие исторические параллели. Он сравнивал время царя Алексея Михайловича, отца Петра Великого, семнадцатый век с девятнадцатым. Тогда во главе народа стал грозный атаман Степан Тимофеевич Разин, указавший путь к волюшке. В русском порядке вещей Бакунин усматривал ту же революционную ситуацию, но считал, что на этот раз Стеньку Разина «заменит легион бессословной молодежи, живущей уже теперь народной жизнью...». «Стенька Разин на этот раз не одинокий, а коллективный,— писал Бакунин,— и тем самым непобедимый герой...»

Для Бакунина — ему этого очень хотелось! — Нечаев явился одним из руководителей могущественного тайного общества. Будто бы есть такая организация со многими отделениями в Петербурге, Москве и Киеве.

Бакунин, который сам сидел в Петропавловской крепости в Алексеевском равелине, ни в чем не усомнился! Про шинель генеральскую поверил! А Огарев Николай Плато-

нович, расчувствовавшись, посвятил молодому другу Нечаеву стихотворение «Студент», изобразив Сергея Геннадиевича «неутомимым борцом с детских лет», рассказав, какие муки вынесены им ради «живого труда науки» и как с молодых ногтей росла в Нечаеве преданность народу. Как, гонимый «местью царской» и «боязнию боярской», он начал свои странствия по Руси, чтобы кликнуть во весь голос по всем крестьянам от востока до заката клич, зовущий собираться дружным станом и подниматься смело.

В Женеве Нечаева представили Александру Ивановичу Герцену. Он и Герцену рассказывал о побеге из Петропавловки, об аресте в Одессе и вдруг, отвергая любовь, как чувство, чуждое настоящему революционеру, ибо оно отвлекает от борьбы, влюбился в Наташу Герцен, пылко признался, плакал, стоял на коленях, звал Наташу в Россию в стан погибающих. И тут, оказывается, прав был мудрый Негрескул! Сергей Геннадиевич знал, в кого влюбляться.

Работая над рефератом, а потом над статьей для журнала, Вера Ивановна хотела до конца разобраться в этом человеке, понять истоки, породившие дерзкий характер того, кто нарисовал, по выражению Маркса, «образчик казарменного коммунизма».

В Женеве Нечаев развил бурную деятельность, и самое страшное заключалось в том, что он начал писать огромное количество писем. Писать даже случайным знакомым, по всем известным ему адресам. Он слал прокламации, листовки противуправительственного содержания, обращения неведомого революционного центра. Письма были полны прозрачных намеков о будто бы уже готовящемся деле. При этом Нечаев отлично знал, что вся корреспонденция из Женевы перлюстрируется Третьим отделением. Жандармское ведомство, как и следовало ожидать, пришло в движение, у Цепного моста заволновались. Начались аресты.

В Женеву сообщили: «Ради бога, передайте Бакунину, чтобы он, если для него есть хоть что-либо святое в революции, перестал рассылать свои сумасбродные прокламации, которые приводят к обыскам во многих городах и к арестам и которые парализуют всякую серьезную работу».

Бакунин возмутился, считая, что все это происки идейных врагов. Вздор и провокации! Он заявил, что Нечаева в Женеве нет, Нечаев отбыл в Америку, далеко-далеко за океан.

Между тем робкий киевский студент, некто Маврицкий, получил из Женевы письмо. Там же в конверте была прокламация с уставом бакунинского международного альянса на французском языке, а сверху рукой Михаила Александровича было написано по-русски: «Привет новым товарищам!» Маврицкий передал все по начальству. «Спешу сообщить... произошла ошибка... ваше превосходительство... как порядочный человек, как патриот...» Ну и так далее.

Незамедлительно в Женеву к государственному преступнику Бакунину, заочно приговоренному Сенатом к лишению всех прав и ссылке на каторгу, а позже бежавшему по недосмотру в Японию, а оттуда — в Америку, далее в Европу, был послан энергичный господин. Приезжий назвался «делегатом от юга России». Смотрите, как выдерживается стиль! Что у Нечаева, что у жандармов. Интересная идет игра.

Бакунин торжествовал: поднимается Русь! Встает матушка толстопятая! Нечаев скромно гордился. Они встретили делегата с начальственной серьезностью, будто все это было для них делом обыденным: встречать делегатов, снабдили приезжего прокламациями и адресами молодых людей в обеих столицах и губернских городах, и делегат поспешил домой.

В Третьем отделении, получив адреса, поначалу не поверили в удачу. Вот ведь привалило!

И тут совершенно неожиданно на почтамте перехватывают письмо Нечаева к Елизавете Христиановне Томиловой. «Что же вы там теперь руки-то опустили?— пишет Сергей Геннадиевич из Женевы.— Дело горячее: его, как железо, надо бить, пока горячо!.. Присылайте скорее (сейчас по получении письма) человека надежного, т. е. не только честного, но и умного и ловкого вдобавок... Дело, о котором придется толковать, касается не одной нашей торговли, но и общеевропейской!.. Здесь дело кипит! Варится такой суп, что всей Европе не расхлебать! Торопитесь же, други! Торопитесь, не откладывайте до завтра, что можно сделать сию минуту!»

Да, сказали в Третьем отделении, любопытно, и утром к Томиловой на Поварскую явились жандармы во главе с офицером, предъявившим ордер на обыск.

— Господа, с какой стати?— возмутилась Елизавета Христиановна. Она не знала за собой никакой вины, но предчувствовала впечатление, которое произведет в обществе известие об обыске у нее дома, и вела себя подчеркнуто достойно.

Растерялся полковник Томилов. Вышел в старом сюртуке, в ермолке, с «Фрегатом «Палладой»» под мышкой. Увидев жандармов, охнул:

— Однако по какому такому праву, господин штаб-ротмистр?

— Пардон, пардон, сейчас разберемся,— отвечал штаб-ротмистр, пряча усмешку в пушистые подусники, совершенно такие же, как у императора.— Есть приказ, а я солдат...

— Выполняйте свой долг,— разрешила Елизавета Христиановна.

В это время в прихожей раздался звонок. Пришел почтальон в форменной фуражке и, шмыгая носом по поводу весенней простуды, сообщил, что госпоже Томиловой письмо-с. «Извольте расписаться». Это было письмо Нечаева.

Прочитала его Елизавета Христиановна только в тюрьме, куда ее и доставили после обыска.

Жандармы перерыли все вещи, pooткрывали все ящики, простучали стены. Нашли записочку, которой Томилова не придавала особого значения и держала на виду. «Все друзья по делу!— было там написано.— Вы, которым знакомы имена Нечаева, Ралли, Аметистова и пр., доверьтесь во всем Томиловой и на кого укажет она...»

Вместе с Томиловой арестовали ее мужа, сестру Нечаева Анюту, Марусю Антонову, тоненькую девушку с тяжелой косой вокруг головы, приехавшую из Москвы повидаться со своим женихом Феликсом Волховским, взяли Евлампия Аметистова, а заодно и его брата Ивана, потому что неясно было, кого из них должны знать «друзья по делу». Всех повезли в Литовский замок.

Ее тоже арестовали и тоже продержали в Литовском замке целый год без суда и следствия. Еще была Петропавловка, ссылка в Тверь и Солигалич, гласный надзор полиции...

Она писала свой реферат уже после выстрела в Трепова, после того, как следователь Кабат закончил следствие, так и не выяснив для себя и для суда, кем был для нее Сергей Геннадиевич.

В конце августа Нечаев возвратился из-за границы, приехал в разомлевшую от летней жары Москву. На извозчике подкатил он к дому с мезонином на 1-й Мещанской к заждавшемуся Петру Гавриловичу и предъявил документ, в котором значилось: «Податель сего является одним из доверенных представителей русского отделения Всемирного революционного альянса.— № 2771

Михаил Бакунин».

Ниже была приложена печать.

Петр Гаврилович смотрел широко распахнутыми глазами. Он давно чувствовал в себе огромные творческие силы. Судьба была несправедлива и жестока к нему. Он

в расцвете своих помыслов стоял в стороне от столбовой дороги общественной мысли, он, Петр Успенский, прозябал в полной неизвестности у себя на Мещанской. Вот они, парадоксы и гримасы русской жизни!

Саша поставила самовар. Сели чаевничать.

— Как чувствует себя Михаил Александрович?

— А что с ним будет? Отлично себя старик чувствует. Приказал кланяться.

Успенский скромно потупился: тот факт, что Нечаев рассказал о нем самому Бакунину, был приятен.

— Туго у вас в Москве. Все из рук вон,— продолжал Сергей Геннадиевич, загораясь.— Вся Расеюшка ходуном ходит, а в Белокаменной тишь да гладь... Услаждаетесь, чаи гоняете. Традиционный московский консерватизм пора рушить. Давно пора. Необходимо придать делу большую энергию. Такая вот задача выставляется в основу угла.

— Надо бы,— согласился Петр Гаврилович.

— Ясно, надо! Озлобление народное растет не по дням, по часам. Мужичок, он уже точит топор. Точит. Бунт следует ожидать в феврале.

Успенский засомневался: почему именно в феврале? Как можно прогнозировать революцию?.. С одной стороны, Бокль... Но в то же время — Спенсер...

— Да поймите вы, голова садовая,— возмутился Нечаев,— раскиньте мозгами! По положению от 19 февраля установлен девятилетний срок, в течение которого мужики обязаны удерживать мирскую землю в своем пользовании. Не так ли? И это без права отказа, за установленные повинности в пользу помещиков. Срок, он истекает. Отсчитайте-ка девять лет, а? Какой ныне год у нас?

— 1869-й... Все так...

Успенский еще сомневался, но голос Нечаева звучал уверенно, да и то нельзя забывать, что для громадных дел готовил себя Петр Гаврилович, ведь не зря же говорил он о национальных задачах, социальных проблемах и миро-

вом уровне, веря, что рано или поздно поднимет его судьба, не мог он, Петр Гаврилович Успенский, сидеть у себя на Мещанской в книжном магазине! Не мог, имея ум, совесть и честь... Да, да, господа, честь! И пусть это непонятно тем, кто тосковал, потому что не украл миллиона! Он слишком долго ждал своего часа. Сколько можно было еще прозябать в дыре, когда Россия стояла накануне великих свершений, не слишком ли это расточительно с точки зрения эволюции?

Потом, описывая Нечаева, многие начинали с того, что и выглядел Нечаев щеголеватым мещанином, вкладывая в понятие «мещанин» не социальный, а морально-этический смысл, и ногти-то он нервно грыз, что свидетельствует о злом характере, и глаза-то его блестели воровато, и вообще бывали минуты, когда, беседуя о разных философских тонкостях, чересчур напоминал он недоучившегося студента, но почему же Петр Гаврилович доверился этому лукавому искусителю? Все не так просто, но и не слишком сложно, если взглянуть непредвзято. Вера Ивановна пишет, что был пароль — человек из народа, сын народа. Слишком долго шла борьба за народную свободу. Простой народ был воплощением всех самых лучших черт. И подозревать его, оскорблять неверием, предполагать, что «его сын» ведет нечестную игру, русский интеллигент позволить себе не мог! Куда больше, если Достоевский не посмел сделать своего Нечаева сыном маляра, выросшим в фабричной слободке, как было на самом деле. Он сделал его Верховенским и дворянином! Так что же взять с Петра Гавриловича, милого молодого человека, по праву мечтающего о больших делах? Ни он, ни те, кого он считал друзьями, не знали своего народа, были бесконечно далеки от него и в спорах, оперируя народным именем, становились жертвами своего же незнания.

Вот и поверил Успенский Нечаеву. Поверил авторитету Бакунина, ведь имел же Сергей Геннадиевич с ним

беседы в Женеве, и документ Всемирного революционного альянса, и печать, и уверенная напористость Сергея Геннадиевича роль сыграли.

Петр Гаврилович согласился помогать и свел Нечаева с друзьями из Петровской академии. У него было много друзей среди студентов, и, прежде чем перейти к тому страшному убийству, возмутившему все русское общество, следует разобраться, что же представляло собой тогдашнее московское студенчество, каков был студенческий быт, где проходила граница, очерчивающая круг студенческих интересов.

Был ли какой-нибудь характерный тип московского студента, чтоб его какими-то особенностями объяснить что-то? Это очень соблазнительно — сразу же построить модель и оперировать с моделью. Нет, характерного типа не было! Встречались среди студентов и белоподкладочники, сыны богатых родителей, молодые люди, имеющие собственный выезд, были дети купцов, мелких, средних, крупных чиновников... Одни жили впроголодь, другие прерывали занятия, чтоб махнуть на семестр в Париж или в Оксфорд, послушать тамошних университетских знаменитостей. Верхнего предела не было, а нижний, согласно документам, хранящимся в архивах Московского государственного университета, равнялся 25 рублям. Это была та минимальная ежемесячная сумма, на которую мог существовать московский студент. В Питере жизнь была несколько дороже, в Харькове и Одессе — соответственно дешевле. Никаких ежемесячных регулярных вспомоществований со стороны правительства студенчеству не предоставлялось, стипендий в современном понимании не было, и само собой складывается впечатление, что правительство вообще мало интересовало, кто будет лечить его граждан, кто будет строить дома, заседать в судах, плавить металл, проектировать хитроумные машины, ускоряющие технический прогресс и сообщающие материаль-

ную славу отечеству. Русская империя была военно-полицейским государством, верховная власть интересовалась военными учебными заведениями. Аристократы в инженеры не шли. И в доктора тоже. В лейб-уланы, кавалергарды, конногвардейцы... Вот путь блестящего молодого человека. Завидная карьера виделась в расшитом мундире. Гремели полковые оркестры, и девочки в кружевных юбках вытанцовывали в «Эрмитаже» перед приличной публикой: «Как я люблю военных, обы-кновенных...»

Хорошо, если те 25 рублей присылали родители. Но ведь для какого-нибудь тверского, пензенского, екатеринбургского чиновника из благородных, с запросами и с мечтою открыть детям прекрасные горизонты эта сумма составляла собственный оклад жалованья. На всю семью. Маменька, закинув голову, чтоб не свалилось пенсне, играла на фортепьяно, папенька читал гостям стихи: «Милый друг! Я умираю, потому что был я честен...» Но 25 рублей взять было неоткуда! И хоть мало было таких чиновников на Руси, кто жил на одно жалованье, не всякий родитель мог обеспечить своего студента, уехавшего в столицу, чтоб там кончить курс.

Действительный студент считался чиновником четырнадцатого класса, молодым барином, вашим благородием, но московская прислуга, какая-нибудь кухарка с Тверской или горничная с Никитской, жила лучше студента, на всем готовом, получая от хозяев 10 рублей в месяц, как минимум. Вот тебе и ваше благородие!

Ленивому расейскому обывателю, любившему порассуждать о разных тонких предметах, студент казался человеком смешным, нелепым, похотливым и никчемным. Именно тогда, в те годы, и сложилось у городского мещанина это неистребимое представление о русском студенте как о существе, вечно голодном, ленивом,— потому что разве это дело — книжки читать! — посиневшем от холода,

но с претензиями и разными антимониями при пустом-то брюхе. В армию их, лентяев, фрунту учить! И, кажется, страна Россия не любила свою молодежь. Каким восторгом, какими липкими слюнями обливались верноподданные газеты, когда охотнорядские мясники били студентов. И сто лет прошло, а читать больно! Как понимающе усмехались чиновные господа, когда полиция с бодрой решительностью разгоняла студенческие демонстрации! В великой стране, забитой, замордованной, безграмотной, не воспитывали общественное мнение в понимании того факта, что приобретение знаний — труд! Труд тяжкий и уважаемый.

Доброжелательность, снисходительность, терпимость... Просто заинтересованность в судьбе молодого человека... Пустые слова! «Ваше превосходительство, желали бы вы снова быть молодым?» — «Никак нет. Я тогда прапорщиком был». Вот анекдот тех лет. Но какой точный анекдот! Сколько ж унижений нужно было пройти на том пути от прапорщика до генерала, чтоб потом так чваниться и надуваться от важности. Кто сходил с дистанции, те не в счет, их имена потеряны. А кто выбивался, кто был на виду, какой брезгливостью расплачивался за свои унижения. Каким тусклым взглядом встречало русское начальство всех, кто меньше чином, как снисходительно опускало губу, глядя из-под тяжелых век на молодых людей, которых оно презирало.

Легких времен нет. Но Россия действительно переживала сложное время. Железные рельсы ложились на поля, по которым еще вчера гуляла псовая охота с крепостными егерями, псарями, стременными...

Уже рубились вишневые сады. Или вот-вот должны были рубиться. Но топор-то был уже занесен, это точно! И каково приходилось современникам, если и через сто лет звук этого топора за сценой заставляет сердце сжиматься.

Русские юноши шли в эту жизнь, клыкастую, зубастую. Шли романтиками и поэтами. И как же встречали их старшие, держащие власть?

Жестоко встречали, пренебрежительно. А раз так, то нечего удивляться, что молодежь искала друзей, которые учили, как свободу любить, и могли выстрелить за твою боль. Нет ничего выше той любви. И нет прощения тому эгоизму, и жадности, и загребущим лапам, тянущим все к себе, к себе, в свой поганый рот, и не желающим поделиться с младшим братом.

Был в Москве свой «Латинский квартал», студенческое поселение между двумя Бронными — Большой и Малой. «Есть в столице Москве один шумный квартал — он Козихой большой прозывается. От зари до зари, лишь зажгут фонари, вереницей студенты шатаются...»

Московские студенты, вечные скитальцы, «цыгане квартир», как они себя называли, жили не просто бедно, а бедствовали. Комнатушку снимали на троих, на четверых. Ели полуситник или «вчерашний» хлеб, он дешевле. Чай пили цейлонский — раз в день. Сахар вприкуску. Баня — раз в два месяца, все-таки дорогое это удовольствие. Письмо домой — раз в месяц: почтовая марка стоила денег. Это все факты архивные!

Случалось, что жильцы одной комнаты имели на всех троих одно пальто или одну пару обуви, и поэтому на лекции ходили по очереди. Идеи создания артельных мастерских и всех тех кузниц, переплетных и брошюровочных заведений потому-то и были так симпатичны студенчеству, что возникала иллюзия материального вспомоществования. Нет, кончить курс в Москве было ох как не просто! Это надо было постоять в очередях в студенческих кухмистерских, побегать по урокам, натаскивая великовозрастных оболтусов в арифметике и тригонометрии, и к ростовщику спуститься по сбитым каменным ступенькам в вонючий подвал, закладывая серебряные часы, родитель-

ский подарок на совершеннолетие: «Дражайшему Ивану от отца и матери...»

Тогда еще широкой благотворительности не было, разве что устраивались концерты, вся выручка с которых шла в пользу необеспеченных студентов, да существовали две-три так называемые комитетские столовые, где давались студентам бесплатные обеды, но, опять же, не всем, а только тем, кого комитет признавал необеспеченным.

Петровская земледельческая академия, расположенная вдали от университетского центра, находилась в несколько ином, пожалуй, лучшем положении. Добиваться права сходок, которого добивались петербуржцы и московские университетские студенты, здесь ровным счетом не имело никакого смысла: половина земледельцев проживала на казенных квартирах в одном здании, остальные размещались в слободке в двух шагах друг от друга. К их услугам был великолепный парк, где можно было проводить сходки хоть круглые сутки. Была общая кухмистерская, общая библиотека, была касса, считавшаяся почему-то «тайной», но спокойно существовавшая многие годы.

Сергей Геннадиевич с места в карьер развил бурную деятельность. Начал вербовать студентов в организацию, шельмовал, таинственно намекая, что существует-де революционный центр, показывал свою бумажку за подписью Бакунина и, между прочим, давал читать стихи «Студент». Все, что угодно, но клокочущей, гипертрофированной энергии у него не отнимешь! «Нечаев предстал пред этим кружком, облеченный ореолом таинственности,— читаем в «Воспоминаниях» Веры Ивановны.— Успенский рекомендовал его под именем Павлова, но сообщил при этом, что он скрывается, что ему грозит опасность. В то время такой человек был необычайным явлением: никто не скрывался, даже предвидя арест, его ожидали на собственной квартире,— нелегальность изобретена еще не была. Пошли догадки: кто бы это мог быть?— и сразу пали на про-

гремевшего прошлой зимой Нечаева. Спрашивать, однако, не решались и оставались при одних догадках. В разговорах незнакомец сообщал о вопиющих страданиях и революционном настроении народа и давал понять, что он только что исходил пешком всю Россию. Он много рассказывал о Нечаеве,— какая это была крупная личность и как преждевременно погиб, распространял даже печатный рассказ о том, как его везли в Сибирь и дорогой удушили, давал читать стихи, сочиненные в честь Нечаева Огаревым...» Вскоре население Петровской академии было разбито на пятерки, каждый член организации имел свой номер и всем вменялось в обязанность при первом подозрении писать друг на друга доносы.

— Да скажите же, какие средства, какие цели этого общества?— спрашивали у Нечаева.

— Это тайна,— отвечал он, и лицо его принимало выражение обиженного сына народа. Нравилось ему играть эту роль! Все понимал...

— Вы баре,— говаривал он со вздохом,— вы привыкли сидеть, рассуждать да советовать и генеральствовать, а не угодно ли вам стать в ряд простых солдат и, соблюдая тайну высших лиц, делать то, что вам будет приказано. Потом, когда вы сподобитесь более высокой степени, вам скажут. Ежели вы не барин, а настоящий демократ, то должны покориться этому.

Пожалуй, это запрещенный прием — обвинять молодого человека в том, что он желает генеральствовать. Молодой человек желает проявить себя, достигнуть многого, быть в обществе заметной персоной, в двадцать-то лет тянет ко всему яркому, броскому, тогда еще трудно понять, что счастье не от должности зависит, не от профессии, а скорей от квалификации.

Воспитанные в духе безмерной любви к простому народу, студенты Петровской академии были добросердечными рыцарями, не знавшими законов той нечаевской

свободы, где нет ни слова, ни веры, ни доброты без задней мысли, когда все выдирается зубами, ножом в спину, чтоб хоть на мгновение быть первым, быть главным! И нашелся только один человек, студент Иван Иванович Иванов, который не постеснялся вслух заподозрить Нечаева в том, что он ведет нечестную игру и не намерен раскрыться.

Столкнулись два человека — Нечаев и Иванов, две личности. Иванова в академии уважали, он пользовался авторитетом, и к мнению его прислушивались. А поводом к последней ссоре послужил вопрос о прокламациях. Нечаев настаивал, чтобы их вывесили в студенческой кухмистерской. Пора было протестовать!

— Кухмистерскую закроют, и коллегам есть нечего будет,— заключил Иванов.

— Это революционный акт!— настаивал Нечаев.

— Сумасбродство это.

— Вы еще ответите перед организацией! Комитет не позволит.

— Пожалуйста. И отвечу. Комитет всегда принимает решения, вам угодные. Уж не вы ли один представляете этот комитет?

Так вот и нашла коса на камень. Сергей Геннадиевич требовал слепой веры, а верить слепо Иванов не мог. Он готов был подчиниться идее, но не Нечаеву. С какой стати Нечаеву?

Вера Ивановна сидела в Литовском замке, в первой своей тюрьме, когда в Москве в пруду Петровской академии был обнаружен труп студента, задушенного и с простреленной головой. При нем нашли бумажник с деньгами, записную книжку и серебряные часы, подарок родителей. Было очевидно, что зверское убийство совершено не с целью ограбления. Именно так по «Катехизису» следовало поступать с каждым отступником от народного дела, но это выяснилось только на суде.

В размокшей записной книжке сумели прочитать кое-какие адреса и вышли на след.

Сегодня, читая статью Веры Ивановны о Нечаеве, удивляешься мудрости ее выводов и пониманию истоков трагедии.

«Самоучке, сыну ремесленника,— пишет она,— пришлось, конечно, преодолеть массу препятствий, прежде чем удалось выбиться на простор, и эта-то борьба, вероятно, и озлобила и закалила его. Во всяком случае, ясно одно: Нечаев не был продуктом нашей интеллигентной среды. Он был в ней чужим. Не взгляды, вынесенные им из соприкосновения с этой средой, были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть, и не против правительства только, не против учреждений, не против одних эксплуататоров народа, а против всего общества, всех образованных слоев, всех этих баричей, богатых и бедных, консервативных, либеральных и радикальных. Даже к завлеченной им молодежи он если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости. Дети того же ненавистного общества, связанные с ним бесчисленными нитями, «революционеры, праздноглаголящие в кружках и на бумаге», при этом гораздо более склонные любить, чем ненавидеть, они могли быть для него «средством или орудием», но ни в каком случае ни товарищами, ни даже последователями».

Петра Гавриловича судили как одного из участников убийства. Приговорили к 15 годам каторги, сослали в Сибирь. А Сергей Геннадиевич успел скрыться! Спокойненько уехал за границу, выпустил там второй номер «Народной расправы» со статьей под скромным названием «Главные основы будущего общественного строя», но был выдан русскому правительству как уголовный преступник, и, когда Вера Ивановна стреляла в Трепова и следователь Кабат допытывался, кем же приходится ей участник

казанской демонстрации студент Архип Боголюбов, Сергей Геннадиевич сидел в Петропавловской крепости, в Алексеевском равелине, приговоренный к заключению «навсегда».

10

Следователь Кабат положил дело на край стола, потер виски, сказал тихим, надтреснутым голосом:

— Ну вот... Ну вот теперь следствие закончено. Вы предстаете перед окружным судом, и дай вам бог, чтобы все обошлось. Но у меня к вам один вопрос, Вера Ивановна. Поймите, это не праздное любопытство и не уловка хитрого следователя. Знать нужно мне лично. Для следствия это уже не имеет ни малейшего значения, даю вам слово. Я должен знать. Иначе... Я даже слов не найду... Иначе я не прощу себе, что не спросил вас. Скажите, вы стреляли по указанию вашей организации или по личному побуждению? Вам приказали, вы вытянули билет или так сложились обстоятельства, что нельзя было отказаться, я понимаю...

— Так сложились обстоятельства.

— Нет, не торопитесь, прошу. Вы не доверяете мне, Вера Ивановна, а я отказываюсь понимать, как это вы, с вашим воспитанием, с вашим умом, могли пойти на такой шаг? Выстрелить в человека... Если б вы его убили, вся ваша жизнь превратилась бы для вас в самоистязание. Вы такая тонкая, в вас, как в прозрачном сосуде... Я право... Но ведь убийство есть величайший грех!

— Вас когда-нибудь пороли?

Он смутился, опустил голову. Голова у него была лысая, а темя, усыпанное гречкой и поросшее редкими волосиками, напоминало щенячье пузо.

— Нет, почему же,— ответил он, не поднимая глаз,—

меня тоже пороли. И, представьте себе, совсем недавно выпороли. Да, да... При всем честном народе, извините, сняли штаны. Но разве это значит, что я должен стрелять. И других я не прошу делать это за меня, потому что я абсолютно точно знаю, чем это может кончиться. Морями крови, гибелью русской интеллигенции. Вы мечтаете о мужицком бунте, не понимая, что для мужика вы все чужие. Такие же баре, как те, на борьбу с которыми вы его зовете. Вижу русский бунт, бессмысленный и беспощадный! Это гений Пушкина взывает! Что может дать России мужицкая революция? Возвращение в средневековье? В мракобесие?

— Вы не с того начали... Наступает момент, когда дальше терпеть невозможно. Угнетать человека и попирать достоинство — величайший грех. Терпение кончается, и тогда находятся те, которые готовы умереть только за то, чтоб перед смертью плюнуть в поганое мурло, показать угнетателям, что они не намерены терпеть, они люди! Я так считаю.

— Плюнуть! Плюнуть, но не выстрелить!

— Вы не поняли, все много серьезней. Генерал ни за что ни про что, левая пятка у него зачесалась, приказывает выпороть арестанта. Но этот арестант — студент, интеллигентный молодой человек! Он любит музыку, стихи. У него была любовь. Я его не знаю, но, наверное, была. И вот по воле самодура, облеченного властью, его волокут, стягивают одежду. Находятся секуторы, держатели, помогатели... Так неужто судей не будет? Знаете, как его пороли? Один сел на ноги, другой на голову.

— Вера Ивановна! В начале нашего знакомства вы представлялись мне иначе. Преступницей, и только! Я вел вас к эшафоту, но мне казалось, что я выполняю свой профессиональный долг. Самосуд не метод. Но вы рассказываете, как пороли Боголюбова, и я восхищаюсь вами! Говорите! Если вы то же самое скажете на суде, вашему пове-

ренному нечего будет добавить! Вас поймут, мы все страдаем от произвола. Но стрельба... К чему приведет Россию ваш пример, вы об этом задумывались? У вас найдутся подражатели. Вы нашли удивительный момент. Ваш выстрел пришелся очень кстати. А те, кто пойдут за вами, те подражатели, вы подумали о них? У подлинной трагедии копий не бывает. Копия уже фарс! Истерики, фанатики, неудачники, мечтающие выйти в Наполеоны. Я судебный следователь, я знаю этот контингент. Я буду откровенным предельно. В начале дела вы представлялись мне иначе. Вы как личность. Но я не сомневался и не сомневаюсь, что при всем при том акт вашей мести — явление политическое. Отнюдь не личное. Развязали бы мне руки, я б нашел соучастников, смею вас уверить.

— Не позволили?

— Тоже произвол. Кому-то в верхах показалось, что так будет спокойней. Вы мне симпатичны, но ваш выстрел глубоко отвратителен. Я вижу последствия. Вы их не видите.

— Зло существует,— значит, со злом нужно бороться.

— Но почему выстрелами? Разве это наилучшее средство борьбы?

— Что значит наилучшее, наихудшее? Выбирать не приходится. Когда я узнала, как выпороли Боголюбова, я подумала: неужели и это преступление не будет отомщено? Ни один человек не заступится, ни один не вздрогнет! Но я ведь тоже человек. Неужели я его боль не могу почувствовать...

— Я беседовал с вашей матушкой, с родственниками, вы росли в религиозной среде, как же сочетается ваш шаг с учением Христа? Разве простительно...

— Вера без дела мертва есть! А смирение слишком выгодно для Федор Федоровичей. Они спят и видят, как им вторую щеку подставляют, чтоб они ударили. Им не только удовольствие от этого, их власть на этом держится!

На розгах, на зуботычинах, на оскорблении... Они желают править, а мы обязаны терпеть. Не хочу!

— А теперь откровенность за откровенность. На суде ни слова про месть! Запомните, вы не мстили, вы хотели обратить внимание общества. Знаете ли, у нас, у юристов, «месть» не слишком симпатичный термин, обстоятельство скорее отягчающее, нежели оправдывающее. Вы поняли меня? И я вам этого совета не давал.

Кабат поднялся.

— Не смею более задерживать. Следствие закончено. Разрешите пожать вашу руку.

Странный господин, думала она, возвращаясь к себе в камеру. Следователь Кабат заметно изменился. Человек меняется в течение жизни. Наполеон-консул не похож на императора Наполеона. Пушкин — скромный чиновник при генерале Инзове и Пушкин — камер-юнкер двора — разные люди. Но тут был удивительно четкий рубеж, хотя, конечно, не тот калибр.

Однажды утром следователь Кабат предстал перед ней в совершенно ином качестве. Она сразу же поняла — что-то произошло накануне. Он откинулся на спинку стула, тяжело вздохнул и заговорил вдруг вполне человеческим голосом: «Вас будут судить присяжные как уголовную преступницу. Это окончательно. Нонсенс!»

Он был в то утро явно не в себе. Не задавал никаких вопросов, ничего не записывал, ходил по комнате, размахивая длинными руками, и говорил, обращаясь то к ней, то к портрету государя в простенке между двумя окнами.

— Понимает ли он, что ваш выстрел — начало трагедии? Нет, не понимает, и посоветовать некому. В нашем дне будут искать корни дальнейшего, я предупреждаю... Я...

— Выпейте воды. Успокойтесь.

— Вы мне предлагаете воды? Вы мне...

— Вы чем-то очень расстроены. Сядьте.

— Вера Ивановна,— вскрикнул он, впервые обращаясь к ней не как к подследственной, а просто как к собеседнице,— Вера Ивановна, можете вы мне объяснить, что же происходит?

— Попытаюсь. Если вам угодно.

С того утра у них начались длинные разговоры о чем угодно, только не о Трепове. Боголюбова Кабат тоже не вспоминал. Поверил наконец, что она его ни разу не видела.

По окончании следствия в темной карете ее отвезли в Дом предварительного заключения на Шпалерную, в образцовую тюрьму, которую показывали приезжим иностранцам, светским филантропам и дамам из дамского тюремного комитета, существовавшего под председательством принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Рассказывали, что будто бы сам государь как-то осматривал новую тюрьму, зашел в одиночную камеру и приказал закрыть себя там на два часа.

Веру Ивановну принимал полковник Федоров, седой офицер с аккуратным пробором.

— Ах вот вы какая! — сказал, улыбаясь.— Очень рад-с познакомиться.

Полковник зашел к ней в камеру узнать, как она устроилась. Ей сказали, что это одна из лучших камер, светлая и теплая.

— Ах вот вы какая-с! — повторил, насупив густые брови.— Совсем юная-с. И не смотрите на меня волчонком. Я вашего папеньку знал. Иван Засулич, он ведь тоже конвойным офицером был...

Федоров достал из кармана большое румяное яблоко.

— Держите. Я счастлив... Счастлив, что в сумасброда временщика стреляла дочь русского офицера! Я счастлив-с...

Он резко повернулся налево кругом, вышел, а она осталась сидеть на койке с яблоком в руках, как принцесса из

сказки о мертвой царевне, совершенно растерянная, отказываясь понимать что-либо.

Некоторую ясность внес ее адвокат, присяжный поверенный Петр Акимович Александров.

— Да неужто вы не понимаете, Вера Ивановна, дорогая моя? Вы сейчас героиня. Весь Питер, да что Питер, вся Россия-матушка о вас говорит. Вас понимают, вам сочувствуют и стар и млад. Имя Трепова — давно уже синоним всей нашей сановной мерзости и продажности, а что касаемо Федорова, полковника, то они с Треповым заклятые дружки. Градоправитель его за красного держал, а вся боголюбовская трагедия отчасти из-за того только и разыгралась, что обязанности Федорова временно исполнял треповский человек, ваш знакомец майор Курнеев, коему было велено копать яму полковнику, пока тот в отпуске. Вот и вся арифметика!

Во время следствия она не верила, что ее будут судить присяжные, поэтому заранее не думала об адвокате. Она так и сказала Петру Акимовичу в первую встречу.

— Я, видимо, буду защищать себя сама.

— И напрасно! — не задумываясь, ответил он.— Защита в открытом процессе — ремесло. И смею настаивать, очень даже непростое. Защищать вас буду я.

— Но я еще не решила...

— Зато я решил.

Он засмеялся, взял ее руку в свою, кивнул.

Рука у него была сухая, горячая, а голос звучал спокойно, и весь он был чистый, выбритый, и пахло от него устроенным домом так, что захотелось вдруг опустить голову к нему на плечо и заплакать. Не навзрыд, не реветь, а похныкать, не вытирая слез, как в детстве. Она еле сдержалась.

Он понял ее состояние. Но выражение его лица не изменилось. Петр Акимович не напустил на себя грустной мины, приличествующей моменту. Напротив, он подмигнул

ей хитро, задиристо, совсем по-мальчишески, словно сказать хотел: «Не трусь, Верочка! Все хорошо!», но не сказал, потому что зачем говорить, если и так все понятно.

— Кое-что я узнал от вашей матушки. От ваших сестер. Просмотрел дела... Вы ведь не привлекались к суду по процессу Нечаева?

— Я проходила как свидетельница.

— Уже легче. Однако, если прокурор попадется умненький, он на «Катехизисе» поиграет. Там есть где развернуться, это я вам как бывший прокурор говорю. Я ведь в сословие присяжных поверенных вступил недавно, но бог помилует, свинья не сожрет, биография мне ваша известна, но тем не менее возьмите карандашик и на листочке напишите для меня, как вас арестовали и как вы попали в ссылку, можете не очень стараться, разрешаю. Я сам не каллиграф. И, между нами, не в ладах с орфографией. Культурный человек, классическое образование, а как в раж войду, коровушку через ять пишу. Зато на память пока не жалуюсь. Сейчас проверим. Из пансиона вы выдержали экзамен на домашнюю учительницу весной шестьдесят седьмого года?

— Да, в марте.

— Затем поступили на место писца к мировому судье в Серпухов? Осенью шестьдесят восьмого года приехали в Питер и здесь познакомились с Нечаевым?

— Вы все знаете.

— Не совсем. Вас арестовали на квартире Томиловой?

— Нет. У меня сделали обыск, но ничего ровно не нашли. Мама во время обыска плакала и все говорила жандармскому офицеру, что мы собираемся в Москву на дачу. До отъезда почти каждый день приходил к нам из участка городовой, справлялся, когда мы думаем уезжать. Выехали 30 апреля, а арестовали меня в Москве на вокзале 1 мая. Мы только из вагона вышли, ехали третьим классом, в дамском отделении. «Пожалуйте, барышня!» С матушкой

чуть удар не случился, она жандарма за носильщика вначале приняла, и неясно ей было, чего он меня за руки хватает...

— Милая деталь. А затем?

— Переночевали мы в участке. Нас унтер-офицер чаем поил. Свою кружку отдал и ложку из сапога вынул, чтоб мы горячего поели.

— Хоть и враги отечеству, а все ж таки...

— Православные.

— Я его понимаю.

— На другой день с двумя жандармами нас отправили прямо в Третье отделение. Матушку отпустили, а меня свезли в Литовский замок. В первую неделю зашел ко мне какой-то тюремный чин, спросил, что я имею сказать, я ответила, что не знаю, почему оказалась в тюрьме. «Любопытно...» — сказал чин. С тех пор целый год меня никуда не вызывали и ни о чем не допрашивали. Я решила даже, что обо мне совершенно забыли.

— Прекрасно! Великолепно! То есть, конечно, не дай бог такого. Но для меня это клад! Господа присяжные заседатели будут плакать, как малютки. Держать девчонку в тюрьме. За что? За просто так, это вы меня простите, и пень березовый прослезится! Ну да не слушайте меня. Все пишите! Что вспомните, то и пишите.

Время в тюрьме тянется медленно. В шестом часу подъем. Приносят кружку теплой воды, называется чаем, и кусок черного хлеба. Надзиратели зевают спросонья, клянут свою поганую службу. Из коридора несет холодом и карболкой. Первый раз в тюрьму она попала девятнадцати лет.

Ее выпустили через два года, в марте семьдесят первого, а вскоре опять арестовали, ночью, подняв с постели, и повезли в Пересыльную, сунули в камеру к уголовницам.

Там верховодила воровка Нюра, мужеподобная девица неопределенного возраста.

— Барышня, дай закурить, душа горит,— сказала Нюра и села рядом.

— Курите.

— Табачок самсон — закуришь на сон. Хочешь, барышня, целоваться научу?

— Ой и окаянная же ты! Окаянная,— хохотала Нюркина товарка Глаша, всегда бывшая при ней.— Меня тебе мало?! В девке мяса нет, кожа да кости одне.

— А я, может, благородных люблю. Эх, страсть-тоска,— по-мужицки крякала Нюра и лезла обниматься.— Не дрожи, я ласковая.

— Руку уберите.

— А если не уберу, что тоды? Не модничай. Бледная ты вся. После выкидыша, что ли?

Глаша, хихикая, предлагала водки.

Ночью Веру Ивановну перевели в другую камеру и через пять суток выпустили, но идти домой не разрешили, а с двумя жандармами отправили в ссылку.

Был сильный ветер, она совсем продрогла. Жандарм накрыл ее своей шинелью и всю дорогу сокрушался:

— Чё вам плохо, барышня? Живите себе, здравствуйте, науки вам давали, образованья в благородстве... Зачем против власти выступать? Хотите, чтобы у крестьянства земля была, так свою отдайте.

— У меня земли нет.

— Как так! — сердился жандарм.— У всех благородных землица есть. Наинепременнейше... Вот и подайте пример, а разговоры разные говорить без пользы.

В одном платье, с двумя рублями она оказалась в Крестцах. Тамошний исправник долго не мог понять, что с ней делать, чесал в затылке, чертыхался, натужно кашлял в кулак.

Сестра Катя и ее муж Лев Павлович Никифоров, который звал ее идти в медицину, были в то время в ссылке в Твери. Они дали поручительство, что берут ее на ижди-

вение, и она поехала в Тверь. Оттуда на казенный счет возили ее на знаменитый суд над нечаевцами как свидетельницу. Тогда она и узнала, что Елизавету Христиановну оправдали, а полковник Томилов умер во время следствия от сердечного удара: очень волновался за жену.

Летом следующего, 1872 года Льва Павловича по подозрению в пропаганде и распространении лассальянских идей среди тверских семинаристов перевели в Солигалич, а ее снова арестовали. Опять повезли. Как в той песне, что пели когда-то у Кати. По пыльной дороге, с двумя жандармами, скованы руки, как плети висят...

Хотелось пить. Жара стояла несусветная. Ее везли под охраной в Петербург и требовали показаний. Какие книги читал доктор Никифоров семинаристам, о чем беседовал с фабричными рабочими и не замышлял ли цареубийства?

— А я-то тут при чем? У них своя жизнь, у меня — своя,— объясняла она жандармскому полковнику.— Издергали вы меня! Надоело мне все! Надоело, понимаете...

Полковник не верил, щурил рыжий глаз: «Не притворяйтесь, сударыня. Одного поля ягоды. Мы знаем...» И распорядился отправить ее в Солигалич.

Так вот и прошла почти вся молодость: по тюрьмам, по ссылкам, под гласным надзором полиции, «без права выезда из означенных мест». А за что? Она сама толком не знала, за что. Ведь после первого ареста, когда ее освободили из Литовского замка, прокурор сказал, что она найдена ни в чем не виновною и может быть вполне свободна. Жандармы тоже не знали, по крайней мере, не могли объяснить, за что ей такая участь. Один попытался внести ясность. «У нас непременно так,— сказал, махнув рукой.— Попались в обойму, теперь уж не выпадете. Аз, буки, веди... земля... Засулич... Близко карточка стоит. Всегда на виду, так что лучше не рыпайтесь. Машина».

Она мечтала быть среди тех, кто готов погибнуть за справедливость,— среди революционеров, но она знала тогда одних нечаевцев, а «они не особенно мне нравились,— записала она как-то.— Они были затянуты, обмануты: жертвы. И надо отдать мне справедливость, дойдя до такой «философии отчаяния», я прекратила всякие попытки пропагандировать. Раньше в Твери, когда я еще искала ответов, пропагандисткой я была самой ярой и приставала к каждому, кто лишь сколько-нибудь нравился, и в Харькове было несколько приятельниц, что в рот лишь смотрели, и могла бы я с ними сделать все, что угодно, но я и их оставляла в покое». Приехав в Харьков, она не знала, существуют ли там революционные кружки или нет. Ходили смутные слухи об арестах, «но, судя по аналогии с нечаевщиной, коли начали арестовывать, то всех заберут, если уж не забрали. Фантазии составлять самой кружок у меня тем не менее не мелькало. Подумывала уже тогда о каком-нибудь деле в одиночку, но не представлялось случая, не выдумалось ничего привлекательного».

В Харьков ее отпустили для поступления на медицинские курсы. Там она познакомилась с южными бунтарями, но о бунтарях рассказывать своему адвокату она не собиралась. Это начинался другой этап ее жизни. Ей надоело терпеть и ждать.

— Рассказывайте мне лишь то, что считаете нужным. Лишь то, что можно,— сказал Петр Акимович во вторую встречу.

— Вы о чем?

— Кое-что я понимаю,— Петр Акимович потупился.— Есть дисциплина и этика в каждом сообществе...

— Я стреляла не от имени какого-либо сообщества! Я сама.

— Разумеется. Не надо спорить. Но и теребить душу не будем, да и времени у нас маловато. Одно я должен

знать, Верочка, непременно. Как вы решились стрелять и что было последней каплей?

Для себя она вопрос так не ставила.

Отряд южных бунтарей просуществовал недолго. Они учились ездить верхом, учились стрелять в цель. Ставили бутылку на пень. «Никакой пощады! — говорила Маша, решительно поднимая револьвер и щуря глаз.— Никакой пощады!»

Чайной с Фроленко у них так и не получилось. Надо было готовить разные закуски, печь куличи. Ничего не выходило: тесто не поднималось, мясо не жарилось. А тут еще поползли по округе слухи о шайке каких-то пришлых людей. В Цибулевку зачастил исправник.

Однажды собрался к ним в гости Женька. У него был паспорт на имя чиновника, ехал он спокойно, лихо сдвинув набекрень форменную фуражку с кокардой. Прутиком помахивал.

В Цибулевку въехал поздним вечером, когда рогатка уже была опущена и спокойствие сельчан охраняла варта — компания деревенских хлопцев. Увидев чужих людей, хлопцы окружили телегу, начали чинить допрос: «Кто такие? Куда? Зачем?»

В пути Женька успел войти в роль чиновника, вашего благородия. Полез в амбицию. Начал кричать, бил кулаком по колену. Но почему-то крикливый чиновник показался варте не очень-то страшным, они его под руки сняли с телеги, отвели в правление и там оставили до утра под караулом. Утром пришел пан писарь, паспорт оказался в порядке, но авторитет заезжего чиновника был сильно подмочен ночной историей. «Що ж вы, ваше благородие, с хлопцами-то справиться не могли. Цыкнули на ых»,— сокрушался писарь и смотрел подозрительно: с чего бы это столько новых людей зачастило в Цибулевку?

В общем, вскоре поселение распалось, и бунтари, распродав трех своих отрядных лошадей, разъехались кто

куда. Всех судьба разбросала. И вот представился случай, возникло «дело в одиночку», о котором она уже давно помышляла...

— Ничего нельзя обещать заранее, это истина неколебимая,— говорил Петр Акимович,— но если присяжные узнают, что вам безразлично было — убить Трепова, или ранить, или... вообще не попасть в него... Вам важен был выстрел сам по себе!

— Это как же? Что значит «не попасть в него»?

— Очень просто. Вы выстрелили, чтоб разбудить спящее общество, а не затем, чтобы причинить вред здоровью Федора Федоровича, или сделать ему больно, или даже лишить его драгоценной жизни.

— Нет. Я должна была попасть в него!

— Вспомните-ка хорошенько. Вы что-то путаете, да и зачем знать это присяжным? Вы были в таком состоянии, не правда ли? Вам надо было выстрелить.

Глаза Александрова смотрели весело, он уже видел заранее свой триумф, но такой ценой покупать свою свободу она не собиралась.

— Я революционерка, а не истеричка, Петр Акимович. Я стреляла в хама, облеченного властью, а не в пустое пространство.

— Хорошо, хорошо... Пусть будет по-вашему,— поспешно согласился Петр Акимович, поняв, что на такой план она не согласна.

Затем никаких трений у них уже не было, если не считать, что накануне суда он принес ей картонку с мантилькой и каким-то инфантильным платьицем в оборочках.

— Вы должны хорошо выглядеть. Знаете ли, это много значит! Как на театре. Каждая деталь вашего платья...

Тогда она его тоже не послушалась и на суд решила одеться так, как одевалась каждый день. Не хватало ей только мантилек кружевных, бантиков да рюшечек разных!



Ну а что было последней каплей, переполнившей ее терпение? Южные бунтари? Опять полиция? Опять бега? Все разъехались. Кто куда. Она уехала к родственникам в деревню. Там узнала, что арестовали Женьку. А потом? Что же было потом?

Она прочитала коротенькое сообщение в газете. Выпороли политического арестанта, не лишенного всех прав состояния. Его еще не заковали в кандалы, не обрили половину головы и не надели на него арестантского халата с двумя желтыми тузами. По закону его не имели права пороть. Но главный начальник, столичный градоправитель, был не в духе, а раз так, то какие могут быть законы на Руси? И не надо удивляться и плакать не надо, жалеючи Боголюбова.

В Петербурге она встретилась с друзьями. Как они все изменились, бывшие питерские нигилисты! Одни давным-давно позабыли свои юношеские мечтания, все прошло, как сон, как утренний туман... Да и само слово «нигилист», такое модное и емкое, забылось и как-то стерлось, приобретя вполне будничную, копеечную расхожесть. «Ах ты нигилист!» — ругались мелочные торговки на какого-нибудь слюнявого пьяницу. Нигилистом называли в обществе безвкусно одетого господина, а извозчики, те запросто честили нигилистами весь белый свет. Мало заплатил. Нихилист! Под лошадь лезет. Нихилист, поганец!

Гремели пушки под Плевной, а на Шипке все было спокойно. Бывшие устроительницы швейных ассоциаций уже не увлекались снами Веры Павловны, читали вслух сообщения с театра военных действий, устраивали госпитали для раненых героев и гуляли по Невскому в платьях сестер милосердия.

Она зашла к маме Феликса Волховского, доброй тете Кате.

Феликс был арестован за преступную пропаганду по жихаревскому делу. Ничего крупного за ним не числилось,

но его уже больше двух лет держали в Доме предварительного заключения, чтобы на процессе он был необходимым фоном для прокурора Желеховского.

— Верочка, милая Верочка,— плакала тетя Катя.— Что они с ним сделали! Он совсем оглох. Я не знаю, как быть. Я написала письмо госпоже Гернгросс, у нее связи... Почитайте, Верочка, так ли я изложила... Господи, бог ты мой, до каких дней мы дожили...

Строчки прыгали перед глазами. Старушка Волховская плакала, закрыв лицо платком.

«Простите великодушно смелость, что пишу, не имея чести знать вас лично, но только слыша об вас постоянно, как об человеке, во всякое время готовом прийти на помощь ближнему; смелость эту дало мне отчаяние, переполняющее мою скорбную душу» — так начинала тетя Катя Волховская письмо к влиятельной госпоже Гернгросс, заседавшей в дамском тюремном комитете.

«Вчера я имела свидание с сыном, находящимся в Доме предварительного заключения, и нашла его в ужасном положении как физически, так и нравственно. Его, человека, измученного трехлетним одиночным заключением, человека больного, с окончательно расстроенными нервами, страдавшего всю зиму невралгией, оглохшего совершенно, его били городовые! Били по голове, по лицу, били так, как только может бить здоровый, но бессмысленный, дикий человек в угоду и по приказу своего начальника,— человека, отданного их произволу, беззащитного и больного узника. Потом они втолкнули его в какой-то темный карцер, где он пролежал обеспамятевший до тех пор, пока кому-то из сострадания или страха, чтобы он там не умер, угодно было освободить его. Все эти побои производились городовыми в присутствии полицейского офицера, состоящего помощником начальника тюрьмы, и, когда мой сын обратился к нему с вопросом, за что и почему его так жестоко оскорбляют, и просил его обратить внимание на то, что он

никакого сопротивления не делает, что готов идти добровольно, куда желают, тот только махнул рукой, и они продолжали свое жестокое, бесчеловечное дело до тех пор, пока его не заперли в карцер. Каково его нравственное состояние, я не берусь, да и не сумею описать вам. Состояние же моей истерзанной души вы, как мать, как женщина с сердцем, вы поймете легко и простите, что я обращаюсь к вам, прошу вас, умоляю вас всем, что для вас свято и дорого, научите меня, куда и к кому мне прибегнуть, у кого искать защиты от такого насилия, насилия страшного, потому что оно совершается людьми, стоящими высоко...»

— Это по приказу генерала Трепова, Верочка... выпороли студента... Как это так можно, взрослого молодого человека в таком возрасте, когда обиды воспринимаются особенно остро...

— Я знаю, тетя Катя.

— Верочка, деточка моя, прежде все мы хотели верить, что вы, наши дети, окружены людьми, что начальство — люди развитые и образованные, так я и написала, но что выходит? Читайте, Верочка, читайте... Я не могу... Как же это возможно, Феликс в тюрьме, но ведь он бы никогда себе не позволил оскорбить достоинство человека. Читайте, Верочка...

И она читала: «Где же гарантия? Нам говорят, что осужденный не есть человек, он — ничто; но ведь мой сын еще не осужден, он еще может быть и оправдан. Но мне кажется, что для человека и осужденный все остается человеком, хоть он и лишен гражданских прав. А мы удивляемся туркам. Чем же мы счастливее тех несчастных, на помощь которым так охотно идет наш народ, идем мы все и во главе народа вся царская семья? И в то же время наших детей в отечественных тюрьмах замучивают пытками, вабивают посредством наемных людей, сажают в нетопленные карцеры без окон, без воздуха и дают глотками воду,

да и то изредка! Много бы еще сказала я вам, но сил душевных недостает вспомнить все эти ужасы. Скажите, такими ли способами успокаивают молодые, горячие головы? С истинным почтением и полным уважением к вам, ваше превосходительство, остаюсь Екатерина Волховская. 17 июля 1877 года».

Госпожа Гернгросс обещала помочь, прочитала письмо у себя в дамском тюремном комитете, и дамы возмутились. Они понимали, что государство должно бороться с пропагандой, со всеми этими паршивцами, даже обязано бороться и строго наказывать, но это ж не значит, что человека хорошего рождения, хорошей фамилии, столбового дворянина имеют право избивать грубые городовые. От них чесноком пахнет. O Dieu qui est si grand et si bon![1]

Александров письмо Волховской не читал, но знал о нем от сослуживца по прокуратуре.

— Верочка, мы вызовем вашего Волховского в суд! Как свидетеля. О, какая это будет картина. Господа присяжные заседатели, я вам устрою спектакль!

— Но ведь Волховской в крепости.

— И хорошо! То есть, разумеется, плохо. Горе это. Беда. Но по процессу Нечаева из Петропавловки доставлялся в суд ваш зять Успенский. Тут не тот случай. Нам откажут. Это несомненно. Но есть статья 576 о вызове свидетелей за счет обвиняемого, то есть за ваш счет. Я им это напомню. Анатолий Федорович Кони закопы знает. Лукавый человек! Он понимает, что, засудив вас, немедленно выходит в сенаторы, но теряет во мнении общества. Сенаторство от него не уйдет. А если попадет в одну компанию с Треповым, то всю жизнь будет дерьмо расхлебывать. Кони будет наш. Присяжные меня беспокоят...

— А вы не беспокойтесь. Меня из тюрьмы не выпустят.

---

[1] О боже, великий и милостивый! *(франц.)*.

— Глупенькая вы моя. Заладили — тюрьма да тюрьма. Я еще на вашей свадьбе гулять буду.

— Вы оптимист.

— Да, я оптимист. А суд назначен на 31 марта. У меня тетушка Агафья Павловна в этот день родилась. Удивительно счастливая женщина. На суд оденьтесь скромно, приведите себя в порядок и, ради бога, не грызите ногти.

— Это заусеница.

— Все равно. Наша публика полна предрассудков. Принято считать, что ногти грызут люди злые и нервные. Вы же должны быть доброй. И откровенной.

Петр Акимович улыбнулся. Он считал, что она откровенна с ним не до конца, но он и не требовал полной откровенности. Он полагал, что ее решение стрелять, несомненно, продиктовано революционной организацией, и тщательно обходил, как он выразился, «организационный момент», а она не пыталась его разубеждать. Он, наверное, и не поверил бы, что такого момента не было.

Встретился ей в Питере Фроленко. «Михайла,— спросила она,— как поживает генерал Трепов и как ваши дела?»

Сухое крестьянское лицо Фроленко сделалось непроницаемо многозначительным. Эта многозначительность всегда казалась ей смешной. «Дело находится в периоде слежки»,— сказал Михайло. Наверное, стрелять должен был он. Или Валериан. Они были ловкими ребятами и смелыми, несомненно, и свой план они, пожалуй, выполнили бы не хуже ее. А затем, свершив правый суд, обратились бы к обществу с прокламацией «Любезным российским крестьянам» или «Молодым друзьям студентам», грозя верховной власти. Угроз она не хотела. Она хотела выстрелить открыто и так, чтобы ее арестовали на месте. Но только надо было сразу же бросить револьвер на пол и успеть сказать, что это она за Боголюбова. А там как будет. Дальше она не загадывала.

11

Был понедельник, тяжелый день. Следовало ехать в Алексеевский равелин с инспекторским визитом. Проверять тюремных.

Иван Самсонович с вечера приказал готовить себе теплую шинель и пуховую фуфайку под сюртук, мучился и терзался.

Время приближалось к одиннадцати, давно пора было выезжать, кучер скучал у подъезда, и дежурные офицеры в накуренной приемной томились от праздности, но жутко как не хотелось, будто не было сил сдвинуться с места. Ведь говорил же государю: «Увольте, ваше императорское величество! Не выйдет из меня российского Лекока».

Государь тогда только усмехнулся: «Привыкнешь. Обомнешься...» Но нет, не привык!

Ивана Самсоновича вызвали в столицу с Кавказа. Он представлялся в Красном селе восьмого августа после большого красносельского парада. Ехал в душном вагоне с другими представлявшимися генералами. Те шли начальниками дивизий, он ждал для себя того же. А вышло совсем иначе.

Государь сильно изменился. Иван Самсонович помнил его цесаревичем, когда он исполнял должность начальника гвардейской пехоты. В те поры это был молодой человек в цвете лет, здоровья и сил, полный, стройный, румяный, лицом похожий на мать, императрицу Александру Федоровну, а взглядом больших голубых глаз — на отца, императора Николая Павловича.

В гвардии любили цесаревича. Он взыскивал редко, неохотно, часто ходатайствовал за провинившихся перед государем-родителем и перед своим августейшим дядей великим князем Михаилом Павловичем, командующим гвардейским и гренадерским корпусами. Гвардия тогда в об-

щем порядке управления объединялась с гренадерским корпусом.

Отказаться от новой должности было невозможно. Государь научился повелевать. Больше того, сделался упрям и раздражителен по мелочам. «Обомнешься...» И что тут ответишь? «Рад стараться, ваше императорское величество!» Или, кажется, он сказал: «Слушаюсь» — и сделал налево кругом, только шпоры звякнули.

На следующий же день Семену велено было собрать все мундиры, вицмундиры, сюртуки, панталоны — короче, весь гардероб — и тащить все к портному, чтоб перешивал, дурак, по жандармскому ведомству.

Дверь тихо скрипнула, приоткрылась, бочком вошел полковник Герц с плоским портфелем у бедра.

— Какие новости, Иван Францевич? Что с засуличевским делом?

Чтоб подчеркнуть важность момента, Герц позволил себе кашлянуть в кулак и только после этого вытянулся, показывая хорошую фронтовую выправку.

— Предварительное следствие приведено к окончанию и препровождено в окружной суд для дальнейшего направления. Обществу сообщается, что дело следует по общему порядку, установленному судебными уставами...

— Эксцессы имеются?

— Никаких, ваше превосходительство. Пока никаких. Наблюдается повышенный интерес. В общественном мнении ее уже возвели на пьедестал героини.

— Любят у нас это. Ой любят...

— Выстрел рассматривается не иначе как месть грубой власти за поруганное достоинство личности.

— Ладно. Это все слова...

— Не только.— Герц расстегнул портфель, положил на край стола перед Иваном Самсоновичем страницу плотной синей бумаги: — Полюбуйтесь. Расходится в списках по всему городу.

— Вы только подумайте, быстрота-то какая! Господи, делать людям нечего...

Герц печально опустил глаза. Когда дело доходило до эмоциональных оценок, он отказывался понимать происходящее.

Иван Самсонович не спеша вынул из кожаного футляра очки для чтения, поинтересовался с кислой улыбкой:

— А я после этого стрелять не начну? Читать чего-то боязно. Страсть как боюсь прокламаций.

— Это стихи,— пояснил Герц серьезно.

— Любопытственно... Стихи? Однако... Однако читайте, полковник, вслух, если вас не затруднит.

Герц откашлялся, начал вполне индифферентно:

Что мне она! — не жена, не любовница
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!
Спать не дает, оттого что мне грезится
Молодость в душной тюрьме,
Вижу я — своды... окно за решеткою,
Койку в сырой полутьме...
С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос.
Не шевелятся ни губы, ни бледные
Руки на бледной груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди...
Что мне она! — не жена, не любовница
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь!

— Это все?

— Так точно!

— Да... Интересно вполне. Кто автор?

— Господин Полонский.

— Литератору внушить. Выводов никаких.

Иван Самсонович поднялся, зевнул: «А по ночам, между прочим, бабасенькать надо. Спать. Сделайте ему такой деликатный намек...»

К Петропавловке подъехали в двенадцатом часу. На солнце ярко горел золотой соборный шпиль. Капало с крыш, снег вдоль стен, на куртинах и бастионах давно подтаял, часовые грелись на припеке, смотрели осоловело. Щурились. Совсем весна. Навстречу, прихрамывая, вышел заждавшийся комендант барон Егор Иванович Майдель, герой Кавказа и восточной войны, раненный в ногу при штурме аула Дахни-Йзкау и получивший второго Георгия за штурм Карса.

— Милости просим, Иван Самсонович.

— Рад видеть в добром здравии.

Вошли в жарко натопленную канцелярию, где уже была подготовлена вся документация: отчетные книги, алфавиты, рапорты. Все начальствующие крепостные чины поднялись со своих мест, одергивая мундиры.

Огромным усилием Иван Самсонович заставил себя собраться, ибо нет на свете занятия для солдата более скучного, чем инспектировать каторжную тюрьму, тем более Петропавловку с ее Алексеевским равелином, век бы его не видеть, промозглое место, чахоточное гнездо!

Давно обсуждалось, что в просвещенной монархии негоже иметь главный застенок в самом центре столицы, чуть ли не перед дворцовыми окнами. Приводили в резон и то, что в крепости, где покоятся почившие императоры и члены императорской фамилии, много чести острогу, но все напрасно! Последовало августейшее разъяснение, что тюрьма есть учреждение государственное и такое соседство нисколько не оскорбляет праха покойных государей, живым же и царствующим даже удобно, что крепость рядом, всегда под рукой и всегда перед глазами.

Тем не менее был создан комитет для обсуждения тюремных преобразований. Предлагалось устроить наисовре-

меннейшую тюрьму на Ладожском озере и пригласить для консультаций бельгийского тюрьмоведа Стевенса и шведского специалиста капитана Барга.

— Угодно ознакомиться с делами? — спросил Майдель. — Рапорты на всех вечников и долгосрочников подготовлены.

— Этим займется полковник Герц. Мне покажите пустяшных.

— Пустяшных не держим.

— И то отлично. Не обучен в арестантской рухляди копаться, Егор Иванович. Господь не сподобил. Предупредите смотрителя Алексеевского равелина.

— Предупрежден с утра.

— Тогда с богом. Лишних не надо.

Комендант понимающе кивнул. Поднялись и вдвоем, без провожатых, пошли к Алексеевскому равелину, серому треугольному зданию у самой реки.

Комендант страдал одышкой, шел медленно, часто останавливался, снимал свою генеральскую фуражку и вытирал лоб белым платком.

Всего в Алексеевском равелине было двадцать одиночных камер. Из них восемнадцать пустовало, зато в двух — в 15-м и в 5-м нумере, помещались особо важные преступники, за которых комендант отвечал головой.

Первый был заключен в равелин 29 августа 1861 года и, значит, ко дню инспекторского визита Ивана Самсоновича находился там семнадцать лет.

Его звали Михаил Бейдеман. Сын бессарабского помещика, по окончании военного заведения он тайно уехал за границу. При возвращении Бейдеман был арестован в Финляндии, и при обыске у него нашли клочки манифеста, составленного им от имени несуществующего императора Константина I, сына великого князя Константина Павловича. Этим манифестом Николай I и его сын Александр объявлялись преступно захватившими престол и

грабителями народа. Автор призывал крестьянство подняться на «весь окаянный род» царя и на допросе сознался, что вернулся на родину для мести за «мерзкое рабство, в которое погрязли и несчастный русский народ, и русское общество... за пролитую и проливаемую кровь бедных крестьян, кругом ограбленных и обворованных гнуснейшим правительственным произволом... за то возмущающее душу равнодушие и презрение к народу, и к его нуждам, и к его стремлениям, которые царят всюду, начиная с закоулков Зимнего дворца и кончая теми притонами грабежа и разврата, которые называются правительственными установлениями».

Возникло предположение, что бедный Бейдеман не в себе, о чем и было донесено государю в очередном всеподданнейшем докладе по Третьему отделению, но никаких распоряжений не последовало. Предполагавшийся суд был отсрочен, а Бейдеман оставлен в равелине впредь до особого распоряжения.

В камеру приносили бумагу и чернила, и Бейдеман писал на имя государя, называя реформу шестьдесят первого года актом «подлым ниже всякой подлости, скверным ниже всякой скверности, мерзким ниже всякой мерзости, нелепым ниже всякой нелепости и гадким ниже всякой гадости».

Уже за первые три года одиночного заключения Бейдеман превратился в лысого, беззубого старца. Носился по своему каземату, бился головой о стены, поросшие черной плесенью, рвал решетки, рыдал и кричал страшным голосом, чем несколько скрашивал однообразие караульной службы.

Жандармы открывали глазок, заглядывали к нему, посмеивались:

— Э, ты? Бабу хотишь?

— Хочу,— отвечал Бейдеман.

— Ой, насмешил,— веселились жандармы, и прыскали

в кулак, и приседали у его дверей.— С тобой на ярманку...

Бейдеман Ивана Самсоновича не интересовал. Рядом находился другой преступник.

Другого доставили в Алексеевский равелин в полночь 28 января 1873 года. В равелин всегда доставляли ночью. Был такой порядок.

По строжайшей инструкции собственное платье заключенного в ту же ночь полагалось сжечь, а деньги, часы и нательный крест запечатать в конверт и нарочным отправить в Третье отделение дежурному офицеру под расписку.

Что касается часов, Иван Самсонович не помнил, а вот креста на вновь доставленном не было, это точно! У окна его камеры снаружи немедленно был поставлен ружейный часовой. Раньше такого не делали. Иван Самсонович считал подобные меры излишними, но приказ есть приказ, часового поставили.

— Ты у меня,— выговаривал Иван Самсонович обалдевшему смотрителю,— за него всеми потрохами отвечаешь! И если что, мать твою, сгною к матери...

— Так уж...— лепетал смотритель,— не сомневайтесь. Как всегда...

Легкий ветер шевелил его мягкие седые волосы. Смотритель был стар, и раздражало, что надо кричать на старого солдата, но, когда с самого начала взят такой тон, никуда не повернешь, считалось, что в равелин помещается важная птица.

— Будет исполнено, ваше превосходительство!

— Строже! В оба гляди. Ночи спать не будешь, но чтоб каждый его шаг, каждое слово мне сообщать! На каждый вывод на прогулку ли, в баню ли разрешение коменданта! И сам из крепости выходить будешь, только уведомив своего генерала. Понял?

— Слушаюсь!

— Ну и дует здесь у тебя!

— Сквозняки кругом... Чаю не угодно?

Чаю не хотелось, но, чтоб показать старому смотрителю, что зла он на него не держит и кричит не от души, а по службе, кивнул.

— Чаю господину генералу,— распорядился смотритель.

Рядовой жандарм принес чаю в белом фарфоровом чайнике, стакан и колотый сахар. Поставил все на стол и, вытянувшись, выжидательно глядел на смотрителя. «Видно, хочет спросить, тащить ли ром»,— решил Иван Самсонович и поэтому плеснул ладонью, чтоб рядовой вышел.

— Не угодно? — спросил смотритель, опять же намекая на ром и добавляя для убедительности: — Сырость у нас здесь, ваше превосходительство, выше всяких людских возможностей, яко в болотах вавилонских. В хлябях...

— Чтоб злодеям неповадно...

— То злодеям,— опять же как надо повернул бывалый смотритель, и Иван Самсонович не выдержал.

— Тащи! Намучился я с вашим новым...

Тогда же в равелине исключительно из-за нового арестанта были установлены четыре должности присяжных унтер-офицеров. Присяжным приказывалось находиться в его камере всякий раз, когда туда входили лица, имеющие на то разрешение, и наблюдать за часовыми, чтоб было полное исполнение всех правил. Но только сразу же вспомнилось, что у семи нянек дите всегда без глаза! Зачем лишние хлопоты? Кому надо?

Этот был выдан швейцарским правительством, судим в Москве судом присяжных как уголовный преступник и приговорен к 20 годам каторжных работ за убийство. Но государь на официальном донесении об исполнении торговой казни собственноручно наложил резолюцию: «После этого мы имели полное право передать его вновь уголовному суду как политического преступника, но полагаю, что пользы от этого было бы мало и возбудило бы только стра-

сти, и потому осторожнее заключить его *навсегда* в крепость». Слово «навсегда» государь подчеркнул.

При выполнении публичной гражданской, или, как ее чаще называли, торговой, казни, когда осужденного по правилам устава уголовного судопроизводства надлежало выставить у позорного столба на Конной площади, он вел себя с таким же нахальством, как и на суде, где принимал разные небрежные позы, подбоченивался, крутил усы, пощипывал свою каштановую бородку, всячески стараясь выказывать наглость и презрение.

Его доставили из Серпуховского полицейского участка на позорной колеснице. Палач привязывал его руки ремнями, а он кричал, глядя на Ивана Самсоновича: «Когда вас, генерал, повезут на гильотину, то и вас будут привязывать ремнями. Я иду в Сибирь и твердо уверен, что миллионы людей сочувствуют мне! Долой царя! Долой деспотизм!»

Иван Самсонович махнул перчаткой. Три гвардейских барабанщика разом ударили на штурм бодро. «Теперь кричи, милый, сколько тебе влезет»,— сказал Иван Самсонович, садясь в санки. Ну и возни было с этим господином!

Сообщение о торговой казни сделали в день ее совершения. Боялись излишней публичности и возможных беспорядков. Но все прошло благополучно. На Конную площадь стянули войска, в соседние переулки — усиленные наряды полиции.

Случайные прохожие останавливались на приличном расстоянии, рассматривали осужденного, а он вытягивал худую шею, кричал: «Да здравствует свобода! Да здравствует вольный русский народ!»

Барабанщики играли зорю и отбой.

Еще он кричал: «Да здравствует земский собор!», и две старушки в темных шушунах крестились, глядя на него. Какой-то приказчик мотал головой, дожевывая булку. Под ногами вертелись мальчишки. Бородатый купчина, стоя в

дверях своего лабаза, ухмылялся, чесал в бороде. Иных зрителей Иван Самсонович не запомнил.

Затем в четырехместной карете осужденного отвезли на вокзал, посадили в арестантский вагон, поезд тронулся на восток, но на первой же станции вагон отцепили и курьерской скоростью направили в Царское Село, откуда преступник, приговоренный «навсегда», и был доставлен в Алексеевский равелин.

О каждом заключенном в Петропавловской крепости комендант докладывал каждый месяц шефу жандармов. Но об этом, числившемся под нумером пять, с самого начала велено было докладывать еженедельно во всех подробностях. Как спал, что говорил.

Три года ему разрешали писать, доставляли требуемые книги, а все написанное аккуратно подшивали и копии отвозили в Зимний на просмотр лично государю. «Крамолу нужно изучать из первых рук»,— будто бы сказал государь князю Долгорукову, но так или иначе в Третьем отделении именно этими словами объясняли августейший интерес к творчеству пятого нумера.

— Напрасная затея,— говорил Иван Самсонович шагавшему рядом коменданту.— Умишка в нем ни на грош, одна злоба клокочет, а взгляда нет.

— Так ить пе пишет уже. Высочайше запрещено.

— Поняли наконец. Государь к нему интерес потерял, как первый испуг прошел.

— Ужас,— вежливо поправил Майдель.

— Таким бы волюшку, он бы кровищи пролил страсть! Натуральный разбойпик. Только сдается мне, что абсурдность его писаний принимается за основное направление недовольства. А спе не так! «Революционер — человек обреченный...» «Мы за мужицкую, кровавую революцию...» Это все для прокурорской речи. На публику впечатление производит. Но широких выводов делать не следует. В радикальных кругах с некоторых пор его самого

за авантюриста да за неуча почитают, так что затея через его сочинения узнать их образ мыслей оказалась несостоятельной.

Комендант кивнул. Пятый нумер писал три года. Писал на имя государя, подписываясь довольно-таки пышным титулом — «узник, в силу беззакония и вопиющего произвола швейцарских олигархов томящийся в келье Петропавловской крепости. Эмигрант, учитель...». Очень ему нравился такой стиль. Но помимо жалоб и требований сочинял он еще и беллетристику — роман «На водах», хронику из насквозь прогнившей великосветской жизни, и роман «Жоржетта», историю небогатой, но милой француженки, которая, несмотря на воспитание в монастыре, стала республиканкой. «На этой канве,— отмечали рецензенты Третьего отделения,— узорами выступают довольно многочисленные эротические сцены, на которых автор останавливается с особенной любовью, имеющей, кажется, физиологический источник в его летах и одиночном заключении».

Пятый нумер вел себя во всех отношениях странно. Его дерзость вызывала недоумение, а высочайший и начальственный интерес, несомненно, оказывал некое послабление его режиму.

Охранная команда равелина во главе со смотрителем видела в нем значительную персону и, понимая, что не все постоянно наверху, кто его знает, как повернется завтра, старалась с ним не ссориться. Видимо, потому пятый нумер и распоясался окончательно, так полагал Иван Самсонович.

Как-то в будний день — а может, даже и пост был — эмигранту и учителю принесли постные щи. Он с грубой бранью выплеснул миску на пол и предъявил претензии, беспрецедентные в практике государевой тюрьмы!

— Я не исповедую никакой религии! — кричал.— А вы меня тут хотите поститься научить! Я не намерен!

Караульные жандармы смотрели на все это растерянно. Инструкции, как вести себя в таком случае, не было. Побежали за смотрителем.

Майор Игнатий Пруссак, который поил Ивана Самсоновича ромом, к тому времени умер, а новый смотритель просто-таки опешил.

— Я революционер и атеист! — кричал заключенный и сверкал глазами.

Доложили коменданту.

Барон Егор Иванович Майдель был, несомненно, самым добрым комендантом за всю историю Петропавловки. Этот русский генерал с немецкой фамилией носил в себе неоплаченный долг перед своим народом. Он любил русского солдата, крестьянина в серой шинели, берег его жизнь в боях и сражениях, в которых пришлось ему командовать, заботился об амуниции, чтоб все было пригнано, чтоб все с запасцем, сам снимал пробу солдатского харча, уж это непременно, и на узников вверенной ему на старости лет Петропавловской крепости смотрел почти так же, как на своих солдатиков. Провинившихся перед высшим начальством, внесем такую поправку, но — своих! А тут еще пятый нумер был человеком простого происхождения, из народа, но, говорили, своим трудом и способностями достиг учености и был писателем.

Ничего, кроме полевого устава, Егор Иванович последние двадцать лет не читал, но к людям пишущим, тем более к писателям, относился с сердечным замиранием, как тот крестьянин — к теленку, родившемуся о двух головах.

Он выслушал претензии пятого нумера, нервно покрутил свой длинный ус, походил по кабинету, прихрамывая на раненую ногу.

— Очень недоволен?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Кричит?

— Последними словами!

— Обиделся,— вслух решил Егор Иванович и велел дать узнику кусочек мяса.

— В самом деле, у него сейчас напряженная работа, в пище ему не отказывайте. Может, он там какие ньютонства открывает, знаете ли, всякое случается... У нас простой народ большие таланты имеет.

Смотритель поспешил выполнить распоряжение коменданта. А сам комендант долго еще ходил по кабинету и думал о превратностях судьбы, неожиданностях политики и переменах фортуны.

В то время Егор Иванович еще не имел возможности вплотную ознакомиться с творчеством таинственного арестанта и испытывал к нему интерес.

В первых числах февраля 1876 года пятый нумер был лишен возможности писать по личному распоряжению Александра.

Ночью, после того как у него отобрали бумагу, узник разразился криками и бранью, выбил из окна своей камеры стекло. На него надели смирительную рубашку, привязали к кровати, а затем заковали в ножные и ручные кандалы. Первые сняли через три месяца, вторые — только через два года, может, еще и потому, что пятый сподобился влепить пощечину тогдашнему шефу жандармов генералу Александру Львовичу Потапову, явившемуся в равелин с инспекторским визитом.

— Как он ныне? — сухо поинтересовался Иван Самсонович.

— Кандалы сняли. Вчерашнего дня вызывали доктора. Полагаю, весенняя простуда. Сегодня самочувствие вне опасений.

Смотритель Филимонов встретил двух генералов на крыльце, чисто выбритый, в новом мундире. Отдал рапорт, вскинув два трясущихся пальца к козырьку. Был он уже в больших летах и, имея в семье одиннадцать детей, всегда выглядел озабоченным.

Прошли малым коридором мимо цейхгауза. Караульные жандармы вытягивались во фрунт, хрустели ремнями.

С потолка капало. Пахло стылым камнем. Печи в равелине топили в помещении команды, в кухне и в кабинете смотрителя. В обеих занятых камерах тоже топили, но скромно, не весь день, а лишь с утра и на ночь понемногу. Было зябко. Шаги четко отдавались под мокрыми сводами. Смотритель, гремя ключами, отворил тяжелую кованую дверь пятой камеры.

— Встаньте!

Узник лежал на узкой деревянной кровати, накрывшись байковым одеялом. Зарешеченное окно под потолком было закрашено белой краской, и оттого в камере стоял дымный полумрак, тускло поблескивали на столе оловянная кружка и миска.

Иван Самсонович сделал смотрителю знак, чтобы отпустил частного унтер-офицера, и, едва тот вышел, сказал, усаживаясь на табурет:

— Повернитесь, Нечаев, когда генерал делает вам честь разговаривать с вами.

— А, Иван Самсонович...— оживился узник и сел на кровати, опустив на пол ноги.— Как чувствуете себя, генерал? Не снится ли вам по ночам гильотина?

— Благодарствуйте. Не снится. Пока.

— Очень рад. Очень. Разумный вы мужик, Иван Самсонович. Люблю с вами побеседовать.

— Вы мне льстите, Сергей Геннадиевич. Однако смею предупредить, что вести себя следует в рамках. Я ведь не Потапов, я в кандалы не закую, а если что, в ухо суну. И крепко.

— Ваша власть.

— Это точно. Какие ко мне жалобы? Нахожусь при исполнении обязанностей, буду о вас докладывать, так что потрудитесь сформулировать претензии.

— Бумаги не дают!

— Не велено.

— Вот так! — воскликнул Нечаев.— Когда вас, вас всех повезут в тюрьмы, вы вспомните... Отольются вам народные слезки. И вы и ваш тиран... Аристократов на фонарь!

— Хватит, Сергей Геннадиевич, слыхали.

— Нет, нет, еще услышите! Поднимется Русь к топору, и все вы захлебнетесь своей кровью! Встанут мужички уезд к уезду, волость к волости, и будет бунт.

Егор Иванович Майдель, герой Кавказа, посчитал, что обязан вмешаться:

— Если будет бунт,— сказал он хмуро,— то всех ваших сообщников убьют.

— Солдаты не станут стрелять!

При этих словах не выдержал уже Иван Самсонович. Смолчать бы надо, но ведь задним умом силен человек. Он возмутился:

— Это как же не станут? Ежели приказ стрелять, так и будут стрелять! Есть такой институт, созданный человечеством в течение веков, называется армией. Призвание и долг солдата — стрелять. Может ли доктор не лечить? Доктор знает, что вы подлец, но тем не менее полдня вчера возился с вами. Как же это доктору не лечить, солдату не стрелять?.. Опомнитесь, Нечаев...

Нечаев молчал, смотрел затравленно. Шесть лет Алексеевского равелина сделали свое дело, но не сломили его. Он поседел, сгорбился, только глаза остались прежними да голос, пожалуй.

— Хватит декларировать ваши вздорные идеи,— продолжал Иван Самсонович.— Писать вам незачем. Да и не в моей это компетенции — разрешить. Бумаги не будет. Читать? Библию и Евангелие. Распорядитесь, господин майор, чтоб доставили незамедлительно. Пусть заключенный утверждается в правилах христианского долга. Про-

гулки по полчаса каждодневно. В баню — раз на две недели. Пока болен, если доктор настаивает,— полбутылки молока.

— Я очень признателен вам,— растягивая слова, отвечал Нечаев и при этом попытался сделать манерный поклон, откинув в сторону руку и оттопырив мизинец.

В то же мгновение Иван Самсонович случайно поймал взгляд караульного жандарма, стоящего у дверей. Жандарм, детина — косая сажень, с пшеничными усами на круглом деревенском лице, смотрел на Нечаева с восторгом, как смотрят молоденькие солдатики на старого унтера, позволяющего себе шутить под пулями. Потом Иван Самсонович часто вспоминал этот взгляд, а тогда в общем-то не придал ему значения. Он поднялся.

— Итак, ваш режим не меняется. Все претензии и желания будете передавать господину смотрителю в устной форме. Прощайте.

— До свидания, генерал.— Нечаев усмехнулся.— Когда я приду к вам с инспекторским визитом в вашу тюрьму, то я принесу с собой гостинец. Консоме с профитролями желаете?

Жандарм у двери глядел широко распахнутыми глазами. Узник явно говорил дерзости, а грозный генерал молчал. Пожалуй, надо было ответить, но любой ответ Иван Самсонович посчитал бы ниже своего достоинства. Он не ответил. Смотритель поспешно отворил дверь.

На той же неделе Иван Самсонович имел беседу с Мезенцевым. Формальным поводом их встречи был визит в Алексеевский равелин, но, видимо, Николая Владимировича гораздо больше занимали другие вопросы.

Он сидел в расстегнутом сюртуке и строгим голосом выговаривал дежурному офицеру:

— Мон шер колонель. Же ву при де конфере авек сон экселянс лё сенатёр... А, Иван Самсонович, просим... Не неглиже рьен, сейчас, сейчас, проходите, пур декуврир э

пур апроле л'ом дезире пар ну... [1] Черт возьми, но можно предполагать, что они готовы превратить все в турнир интеллектуальностей. Суд не место для подобных экзерсисов. И повод не тот. Да, и будьте добры, дешифруйте утреннюю почту.

Полковник кивнул. Утренняя почта шефа жандармов и главного начальника Третьего отделения лежала на ломберном столике в углу кабинета у окна. Почта была большая и шифров много — военный, жандармский, дипломатический...

— Будет исполнено!

— Приступайте, и желательно немедленно.

Полковник сел и, скромно кашлянув в кулак, принялся за дело.

Иван Самсонович приоткрыл тяжелую дверь:

— Разрешите?

— Всегда рады...— Мезенцев встал из-за стола и, выходя навстречу, застегнул две пуговицы.

Он взял Ивана Самсоновича под руку, повел в комнату, примыкающую к кабинету, усадил рядом с собой па кожаную кушетку.

— Какие новости, шер ами? [2] Желаете сигару?

— Мерси. В равелин ездил на днях. Прохватило. Да и наслушался всякого.

— Опять небось подопечный звал Русь к топору?

— Не без этого.

— Водку? Коньяк?

— Увольте. С утра не пью.

— А для сугрева нутра по преображенскому обычаю?

— Ну если по преображенскому...

Адъютант принес две рюмки водки и копченый язык.

[1] Любезный полковник. Прошу вас переговорить с его превосходительством сенатором... Не пренебрегайте ничем, чтобы отыскать и пригласить лицо, нами желаемое... *(франц.)*.

[2] Дорогой друг *(франц.)*.

— Только что пришло сообщение, что Андреевский, отказавшись быть обвинителем на процессе Засулич, написал объяснение. Это уже второй! Что они там, прокурора найти не могут? Первый Жуковский, этот мефистофель петербургской прокуратуры, теперь пасует Андреевский... Видимо, Лопухина не устраивает новая должность.

— Сложное положение, Николай Владимирович. Защитник Засулич наверняка будет вспоминать беспорядки, имевшие место в Доме предварительного заключения после того, как выпороли Боголюбова, а прокурору указывается, что задевать этот факт ни в коем случае не следует. И никаких оценок для действий должностных лиц...

— Много чести этой девке!

— Не в ней дело. Вы первый настаиваете, что Трепов при всем при том поступил верно.

— Я так понимаю. В тот раз — верно.

— Но присяжные-то не поймут! Дайте прокурору возможность хоть вскользь осудить действия Трепова, и у защиты выбиты все козыри. А иначе на чем развернуться?

— Нет, я это так не оставлю! Когда Жуковский, напившись пьяным, как будочник, на людях обзывает жандармского штаб-офицера шпионом и сукиным сыном, мы выводов не делаем, прощаем: был в угаре. А этот номер ему не сойдет! И Андреевский со своими золотушными детками пусть помотает слезки на кулак. Чтоб другим неповадно было! Хватит! Я не намерен...

— Ой нет, Николай Владимирович. Не тот подход, смею вас уверить. Простите великодушно, не во фронте мы, тут гибкость нужна, таким манером все это не кончится. Помните, после жихаревского процесса вы изволили настаивать на административной ссылке для оправданных.

— Административная высылка — мера презервативная, а не карательная. И оставьте, мон шер Иван Самсонович, о какой гибкости вы толкуете! Россия — огромный

корабль, не приспособленный к плаванию в шхерах. В океанских просторах его путь, учитывайте силу разбега державного корабля, резкие повороты то в одну, то в другую сторону для нас невозможны.

— Ну уж коль скоро речь зашла о корабле, то позвольте сделать аналогию. С вашего разрешения как из корабельного котла, так же из голов горячих пар надобно выпускать. Иначе взорвемся. И они и мы. Все! Время подошло, Николай Владимирович, повороты нужны. Понимаю, для службы оно тяжелей, когда с поворотами, но зато для государства, о коем мы думать должны и призваны, такой курс много логичней.

— Предлагаете конституцию? Земский собор или парламент на манер английского?

— Пустое, Николай Владимирович...

— А раз так, то как можно допустить выпад против верховной власти? Сегодня Трепов, завтра они, глядишь, в действиях монарха найдут нарушение закона. Как можно в России идти против верховной власти? Да вам за такое последний мужичонка в физиономию плюнет. Единая и неделимая! И только так! Мы крамолой и татарским нашествием с молоком матери напуганы. Спокойствие в силе, а не в шатаниях, кои вы изволите именовать поворотами.

— Николай Владимирович, дозвольте на правах старого сослуживца? Помните полкового нашего командира Жеркова?

— Александра Васильевича? Как же! Славный был генерал.— Мезенцев засмеялся.— «Господа, прошу ногу держать! Унтер-офицерам — смотреть на господ... А люди... внима-ни-е! Поручик Мезенцев, перемените ногу... вы во фронте ходите, а не по Невскому шляетесь!» Похоже?

— Все точно. Помните, говаривал он, командир наш, что учить надо до первого пота, пока солдат свежий. А как взмок, выводи его из манежа, учение не в толк, дай пере-

дохнуть, чтоб усвоил. Так и у нас. Все до первой крови. В начале было слово... А мы за слово к Цепному: вольнодумство. Леший с ним, с вольным духом, прошлое это. Ан нет! Начинают они разговоры в компаниях говорить. О чем — сами толком не знают. А мы знаем, а мы тут как тут... Мы крамолу ищем. В Петропавловку! Они — за прокламации, мы пороть. Их ход — они стрелять! Засулич 24 января в градоначальника, а через месяц в Киеве в прокурора Котляревского выстрел. Вот он и пошел, кровавый аукцион. Кто больше? Кто больше, но слышится мне не стук молотка! То стук топора по плахе!

— И вы предлагаете?

— Николай Владимирович, они не уступят. Уступить должен сильнейший. Сила не только в руке карающей, но в духе милосердия и сдержанной мудрости власть держащего...

— Ценю смелость ваших мыслей. И искренность ваша мне глубоко приятна. Но все эти обдрипанные интеллигентики, прикрываясь мужицким именем, не кость свою к себе тянут, а Россию на куски рвут! Шавки! Вижу их морды ощерившиеся... Твари очкастые! Произвол! — кричат. Им власть отдай. Великодушие к ним, к революционерам, немыслимо. Действовать надо круто. Поменьше разных ученых, побольше людей, воспитанных настолько, чтобы не быть ни пьяницами, ни ворами, а хотя бы и простыми ремесленниками, но с избытком зарабатывающими свой хлеб. Вся ж эта пропаганда — хождение в народ, бунтарство и стрельба, все это — произрастание отнюдь не отечественной почвы. Оно чуждо русскому уму и сердцу. Зарубежные штучки! Из французских да немецких авторов, у коих на уме Россию ослабить в пользу своих держав, а наши-то недоучки принимают все за чистую монету, душа нараспашку, как подгулявшие купчики в компании шулеров...

— Николай Владимирович, пусть так, но какие меры

следует предпринимать для успокоения общества? Надо ж в конце концов выработать порядок...

— На первый раз пороть! Тут Трепов прав. Замеченному в тех же действиях вторично — ссылка. Пусть поживет среди народа, интересы которого так им, видите ли, близки. А затем, если паршивец неисправим, каторга. Или, между прочим, расстреляние. Для острастки другим. Пусть знают, что церемониться мы не намерены!

— И вы полагаете...

— И я полагаю, что все затихнет через полгода. Это крайний срок. Сотни три выпороть, такое же количество сослать и десятка полтора стрельнуть, широко оповестив об этом. Уверяю вас, тут же наступит полная тишина. Развязали б мне руки! Ох, развязали бы... А государь прислушивается, что там, на Западе, о наших делах судачат...

— Николай Владимирович, помните писаря Шабунина?

— Шабунин? Кто таков... А, вы о том же... Иван Самсонович, вы неисправимы! Мой генерал, если б я не видел вас в деле в Севастополе на Черной речке, я бы отнес вас к разряду наших судейских говорунов.

Конечно, Мезенцев помнил шабунинскую историю, наделавшую в свое время много шума.

Писарь Московского пехотного полка Шабунин был расстрелян в августе 1866 года за оскорбление действием своего ротного командира. Случай печальный и поучительный потому, что за несколько дней до совершения своего преступления Шабунин собственноручно несколько раз переписывал в канцелярии приказ по корпусу о расстрелянии рядового за поднятие руки против офицера.

— Как же после этого говорить о необходимости смертной казни ради ее устрашающего значения?

— Иван Самсонович, держитесь в своих рамках. Вы солдат, и я тоже солдат. Мы оба с вами солдаты, а не ученые правоведы!

— Виноват, ваше превосходительство!..— гаркнул Иван Самсонович, щелкнув каблуками.

— Ну вот вы всегда так,— обиделся Мезенцев.— Вам слова не скажи, вы начинаете официальничать. Я с вами сан фасон [1], а вы...

Николай Владимирович имел свое мнение, поколебать которое не представлялось возможным. Молодцеватый, вальяжный, в сюртуке от Маврикия Афанасьевича, он прошелся по комнате, взглянул на себя в зеркало над камином и легким жестом поправил волосы на висках.

— Вернемся к нашим баранам. Кончим широкие обобщения. Я не философ, я солдат. Сложные времена, но поговорим о другом. Обвинителем Засулич назначен товарищ прокурора окружного суда Кессель. Хоть один нашелся. Кто таков?

— Служивый человек. Звезд с неба не хватал, но, говорят, старательный. Аккуратный немчик.

— Возможны ли демонстрации и что судачат в Европе? Хотя мне на них решительно наплевать, я вам честно говорю.

Иван Самсонович пожал плечами и тоже взглянул на себя в зеркало.

Перед зеркалом стояла жардиньерка с цветущими азалиями; воздух был свежий, пахло мокрыми листьями, табаком и легким одеколоном. Пол, застланный ковром цвета «блёжандарм», и такая же обивка мебели как бы подчеркивали служебную принадлежность хозяина, а серые стены и алые шторы на окнах сообщали комнате светский вид. Все, как у государя.

— В посольствах отмечается повышенный интерес к предстоящему процессу. Ожидается прибытие иностранных корреспондентов, и публику оповестили, что будет предпринято издание отчета по этому делу отдельной бро-

[1] Запросто *(франц.)*.

шюрой. Все идет своим чередом, неясно только, как поведут себя присяжные...

Иван Самсонович вздохнул. По этому поводу у него собственного мнения не определилось, хотя он и беседовал днями с председателем суда Анатолием Федоровичем Кони, маленьким и очень важным человеком. В воскресенье в Зимнем государь принял Кони, и этот прием следовало расценивать как высочайшее пожелание строгих мер. Кони нервничал, что-то волновало его. «Видите ли,— говорил он,— наши присяжные являются чрезвычайно чувствительным отголоском общественного настроения. В этом их достоинство, но в этом же их великий недостаток, ибо вся нетвердость, поспешность и переменчивость общественного настроения отражается и на присяжных. Искренность, генерал, не есть еще правда, и приговоры русских присяжных, всегда почтенные по своей искренности, увы, далеко не всегда удовлетворяют чувству строгой правды».— «Вы считаете, присяжные могут оправдать ее?» — заволновался Иван Самсонович. Кони ушел от прямого ответа. «Я считаю,— сказал он,— что приговоры наших присяжных всегда можно объяснить, но с ними подчас бывает трудно согласиться». На этом разговор закончился, но ясности не прибавилось, а Мезенцев требовал, чтоб все было ясно. По-солдатски.

— Иван Самсонович, давайте распишем на висты, что мы имеем в европейском мнении «за» и что «против».

— Николай Владимирович, курс падает. За 100 рублей ныне дают чуть более 200 марок. Жизнь делается дороже. Относительно прочего же на ваше имя нами подготовлена записка.

— Отлично. Я ознакомлюсь с ней, и сегодня же. А Трепов прав! Стократ. Возьмем Нечаева. Его б энергию в другое русло направить! Но нет. Вот и выходит, что, ежели наших не пороть, ежели их на место не ставить, они черт те что из себя возомнят, и не спорьте! Самоуправство не-

совершеннолетних... Крепко Федька сформулировал! Он таких выражений большой аматор [1].

— Как прикажете, Николай Владимирович. Я вам только высказал мнение. По мере сил попытался обрисовать картину, чтоб определить хотя бы координаты происходящего.

— И все это, по-вашему, повлияет на решение суда? Недовольство Федором Федоровичем, дорожание жизни, разуверенность в результатах закончившейся войны?

— Несомненно.

— Кони ее засудит, как пить дать! Иначе он погиб. И вспомните, Нечаева на двадцать лет каторги послали его присяжные! Присяжные!

— Здесь иной случай.

— Поживем — увидим. Вы будете на процессе?

— Непременно. И билет уже получил. Завтра в двенадцатом часу...

— Потом расскажете в подробностях,— Мезенцев положил руку на плечо своего сослуживца по гренадерской роте,— и поверьте мне на будущее, когда речь идет о таких вот девках, делать столь широкие обобщения на государственном уровне, шер ами, как сегодня, не следует. Это лишнее и всех нас как-то принижает.

— Разрешите считать себя свободным?

— Сделайте милость. Но позвольте попросить об одной услуге, Иван Самсонович. В Алексеевский равелин отвезете ее вы. Лично вы.

— Будет исполнено!

— Благодарю. До встречи, мон шер. Полковник,— Мезенцев обернулся к дежурному офицеру,— покажите мне записку из министерства двора, что там у них. До свидания, Иван Самсонович. До свидания...

---

[1] Любитель *(франц.)*.

12

Голос председателя Санкт-Петербургского окружного суда звучит глухо и торжественно:

— Подсудимая, вы обвиняетесь в том, что, имея заранее обдуманное намерение убить генерал-адъютанта Трепова, пришли к нему в дом 24 января с заранее принесенным вами револьвером...

А ведь это нелепо: разве можно прийти куда-то с чем-то «заранее принесенным»? Ну да, видимо, так принято в судах, у юристов своя терминология.

— Признаете вы себя виновной?

Она перевела дыхание. Сделалось нестерпимо тихо, и старичок сенатор в креслах за судьями подался вперед, так ему надо было услышать, что же она скажет.

— Признаете вы себя виновной?

— Я признаю, что я... произвела выстрел.

И сразу сделалось жарко и душно. Судьи переглянулись. По залу прошел шорох, как в классе, когда все ученики открывают книги на заданной странице.

— Угодно вам рассказать, вследствие чего вы сделали это? — дождавшись абсолютной тишины, спросил председатель.

Петр Акимович взглянул на нее и опустил веки. Они ожидали такого вопроса, ответ был заготовлен заранее: «Я прошу господина председателя...»

— Я прошу господина председателя позволить мне объяснить мотивы после допроса свидетелей.

На улице совсем весна. В высоких сводчатых окнах небо синее-синее. Зал полон. Пахнет дорогими духами, мокрым мехом, морской солью, сытостью — всем тем, чем пахнет высшее общество Российской империи, свежестью и чуть-чуть пороком.

В первых рядах сидят дамы и господа с Морской, Миллионной, Гороховой. За судьями в креслах золотое шитье

сенаторских мундиров, эполеты, муаровые ленты, голубые, алые. Суда ждали, наряды в зале продуманы заранее. Преобладают темные тона — черный, фиолетовый, малиновый; из мехов — соболя и, неожиданно модная в тот сезон, голубая баргузинская белка; из камней — только бриллианты. Все военные — в парадных мундирах, все гражданские — во фраках с белыми галстуками.

Среди публики был писатель Достоевский, лысоватый господин с нездоровым цветом лица, и государственный секретарь Сольский, тогда еще не возведенный в графское достоинство, но уже весь вельможный донельзя; знаменитый дипломат князь Александр Михайлович Горчаков, лицейский однокашник Пушкина, с юных лет отличавшийся спокойным здравомыслием и потому, очевидно, переживший великого поэта почти на полвека. Горчаков оторвался от государственных дел, желая лично присутствовать при позоре Федора Федоровича.

В креслах за судьями сидели граф Баранцов, кавказский наместник и товарищ генерал-фельдцейхмейстера; граф Строганов, толстый, седой старик, большой гастроном, бывший новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. Посмотреть на то, что будет, и посочувствовать бедной девице, у которой терпение лопнуло от проделок старого вора, приехал председатель департамента экономии, будущий министр финансов Абаза; в его много повидавших глазах блестели слезы. Александр Аггеевич Абаза был чувствительным человеком, что, однако, не помешало ему в свое время воспользоваться служебной информацией и так сыграть на бирже, что банкир Рафалович, крупнейший миллионщик, пошел по миру. Трепову и не снилось такого! Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку, большому кораблю — большое плавание, воровать следует по чину. Абаза брал свое, его простили, а Трепов — полицейская рожа! — брал чужое, и его следовало примерно наказать. О, русский либерализм, див-

ное произрастание самодержавной почвы! кудрявый ананас, заграничный плод, окрепший вдруг под сельский благовест, под серый дождичек осенний, в тени здравого смысла, какие слова найти для тебя, чтоб описать?

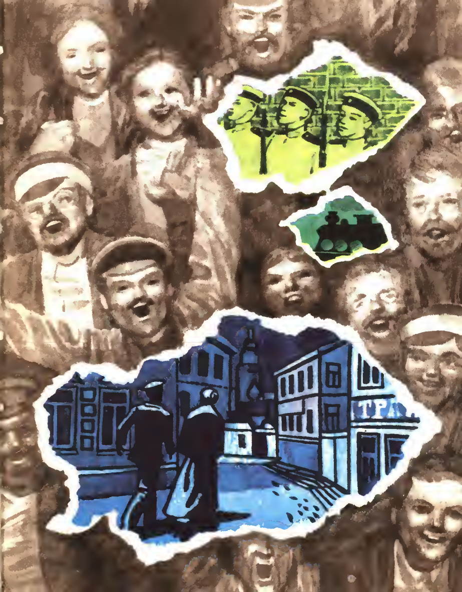
«Мы хотели решить дело либерально»,— смущенно скажет министру юстиции графу Палену член суда старик Сербинович. Пален выронит сигару и будет топать на старика ногами, но это произойдет через несколько дней после суда.

Русские либералы, враги крепостничества и мракобесия, западники и славянофилы, левые, правые, двуликий Янус, двуглавый орел — две головы, два крыла, но сердце одно! Были среди них сторонники просвещенной монархии, конституции и постепенных реформ, предупреждали: куда спешить, зачем? Были русские манчестерцы, представители экономического либерализма, ратовали за повсеместное распространение парового двигателя и ирригацию земель в южных губерниях, были судейские либералы, такие, как Анатолий Федорович Кони, каждый предлагал свой рецепт, а все прочие категорически отвергал.

— Господа,— начал Кони, обращаясь к присяжным,— я должен сделать вам напоминание о ваших обязанностях, но так как вы исполняете их не первый раз, то я ограничусь только напоминанием данной вами присяги...

Он говорил неторопливо, подкрепляя свои слова сдержанными жестами, а публика жаждала действа, страсти накалились, глаза горели, и только один Кони, похожий на актера, исполняющего роли благородных отцов, не спешил, сдерживая нетерпение продуманным ритмом своей речи.

— Господа, вы помните, что в этой присяге сказано, что вы приложите всю силу вашего разумения, отнесетесь с полнейшим вниманием к делу, не упуская ни малейших подробностей, по-видимому несущественных, мимолетных,



но которые по совокупности в значительной степени рисуют дело и разъясняют его действительное значение.

— Браво! — тихо, но внятно произнес старичок сенатор. На него зашикали. Он не смутился, но растерялся. Заморгал, как младенец.

— Я должен сказать, что на вас может подействовать обстановка настоящего дела,— Кони кивнул в зал и сделал жест, изображающий волну,— это большое количество слушателей и некоторая торжественность заседания, несвойственная обыкновенным заседаниям, на это вы не должны обращать внимания — для вас, как членов суда, кроме суда, подсудимой, сторон и свидетелей, ничего не должно существовать; вы должны помнить, что к каждому делу, интересному и неинтересному, вы должны относиться с полным вниманием, для вас не может быть дел важных и неважных, вы должны относиться ко всякому делу одинаково, в том и в другом случае у вас в руках находится судьба человека, в том и в другом случае вы должны произнести приговор, отрешаясь от той обстановки, которая вас окружает, и помнить, что на вас лежит серьезная обязанность...

Дамы в зале обмахивались веерами, мужчины, сохраняя на лицах строгое выражение, промокали лбы белыми платками. Сменялись солдаты караула. Караулом командовал маленький жандармский офицерик, который зашел когда-то в ее камеру, а над чинами полиции, вызванными для поддержания порядка в публике, начальствовал полковник Дворжицкий, тот самый, который счислял удары при сечении Боголюбова.

Дворжицкий — мужчина запоминающийся, восемь пудов розового мяса и золотые полковничьи эполеты,— стоял грудь колесом, руки за спину, улыбался зловеще, и в факте его командирования на суд по личному распоряжению Трепова, который еще официально не оправился от ранения и к исполнению обязанностей градоправителя

не приступил, усматривалось, что Федор Федорович никакой вины за собой не чувствует, каяться не намерен, полон прежней решительности и с большим удовольствием дает это понять расшалившимся либералам.

Первым свидетелем вызвали майора Курнеева.

— Вы служите при канцелярии градоначальника? — спросил Кони.

— Так точно! — гаркнул майор, выкатывая глаза и делая руки по швам.— То есть да! Совершенно верно...

— Какую должность занимали тогда, когда было совершено это преступление?

— Должность чиновника особых поручений!

— В чем заключаются ваши настоящие обязанности?

— Я обязан дежурить. Быть, одним словом, при особе градоначальника.

— Покушение на жизнь генерал-адъютанта Трепова произошло на вашем дежурстве?

— Так точно! Совершенно верно, на моем и произошло.

— Расскажите, что вам известно.

Курнеев мрачно вздохнул.

— Подсудимая Засулич была введена мною в числе прочих просителей и поставлена была мною первою. Она подавала прошение о выдаче свидетельства для поступления в домашние учительницы...

Все слушали затаив дыхание, и, одобренный общим вниманием, Курнеев продолжал смелее:

— Ну, когда вошел градоначальник, он принял от нее прошение и, значит, повернул вправо, от так,— Курнеев показал как,— и подошел к следующей просительнице, и, когда начал говорить с нею, я подсудимой Засулич сделал знак глазами, чтоб вышла... Когда, значит, я сделал знак глазами, чтоб она вышла, она сделала движение, ну вот как будто бы хотела выходить,— Курнеев показал, как она хотела выходить,— ну и в это время последовал выстрел...

— В каком расстоянии она стояла?
— В полшага.
— Вы слышали сами звук выстрела?
— Совершенно верно, слышал. Как же не слышать?..
— Что вы сделали в это время?

Майор заволновался. От жары и от умственного напряжения он взмок. Пот крупными градинами катился по его лицу.

— В это время, как господин градоначальник крикнул, я так был поражен этим, что уж не помню, что и было... Помню только, что схватил ее вот, то есть подсудимую, и, значит, спросил ее, где револьвер, ну и она мне ответила, что бросила.

— Боролась с вами подсудимая?
— Никак нет!
— Делала она движение, чтобы выстрелить второй раз?
— Никак нет!

Курнееву дали передохнуть. Он вытер пот со лба, повернулся к прокурору.

Для начала Кессель ободрил свидетеля улыбкой и захотел выяснить, как была одета подсудимая в момент выстрела.

Курнеев отвечал, что на ней была шляпа, поверх шляпы платок, еще на ней была надета широкая тальма или пальто без рукавов.

— Широкая тальма?
— Да,— не понимая, какое это имеет значение, подтвердил Курнеев настороженно,— вполне широкая.

Ожидали, что Кессель задаст следующий вопрос, но Кессель молча опустился и орлом посмотрел вокруг себя.

Был ли он глуп? Кто его знает. Неумен был, так это точно. Впрочем, в его положении трудно было показаться умным. Бедный Кессель представлял интересы власти в зале, где многие из присутствующих были много старше его чином, несравненно богаче, знатней. Рядом с ними, ук-

рашенными высшими орденами, он выглядел жалко с красным Владимирским крестиком на шее, в суконном форменном сюртуке, пошитом кое-как. Это сразу же вызывало в светской публике определенную снисходительность к прокурору. Всегда смешно и грустно видеть, как кто-то очень старается угодить. К тому же говорил прокурор нудным голосом, был многословен и то, что называется в гвардейской легкой кавалерии — рыл землю копытом на пустом месте.

Кессель не понравился решительно, зато Петр Акимович был краток, сдержан, как будто даже застенчив, что всегда импонирует, особенно тем, кто носит большой чин: это как бы еще подчеркивает их служебную значимость, вельможа всегда склонен воспитанность объяснить субординацией, так ему приятней.

Первый свой вопрос Петр Акимович предложил Курнееву почти добродушно:

— Вы сказали, что показывали подсудимой глазами, чтобы она вышла?

— Совершенно верно.

— Таким образом, вы ее из глаз не выпускали?

Что мог ответить Курнеев?

— Нет, не выпускал.

— Вы не видели, чтобы она делала движение, целилась в градоначальника, чтоб у нее рука высовывалась из-под тальмы?

— Я так стоял,— пояснил Курнеев,— что подсудимая была видна мне по пояс.

— Вы не видели, когда она бросила револьвер?

— Никак нет, не видел.

— Когда вы подошли к ней, револьвер был уже брошен?

— Так точно. Брошен.

— И никто, кроме вас, к ней не прикасался, вы первый подошли и схватили ее за горло?

Зал ахнул! Как ловко заставил Александров сказать правду! Проговорился треповский холуй! И тут началось почти невообразимое.

— Я... Я не помню хорошенько,— хрипел Курнеев, расстегивая ворот.— Это была такая минута... поймите...— И пытался что-то объяснить, будто бежал за Петром Акимовичем, стараясь поймать за рукав.

— Вы сами освободили ее или вас кто-нибудь оторвал от нее?

— Я... Такая минута... Я передал ее дежурному офицеру... Я...

Все свидетели обвинения подтвердили, что она произвела выстрел, бросила револьвер на пол и никакого сопротивления не оказала.

Вызвали помощника пристава Охтинского участка Цурикова, дежурившего 24 января в доме градоначальника.

— Генерал подошел к ней первой, принял прошение, спросил, о чем оно, сделал пометку и повернулся ко второй просительнице. В это время последовал выстрел...— говорил Цуриков, робко оглядываясь по сторонам.

Вызвали придворного конюха Соловьева. В то утро конюх подавал прошение, и все произошло на его глазах.

Соловьев оказался мрачным, обстоятельным мужчиной. Перекрестившись, начал выкладывать, как на духу:

— Вошел енерал Трепов... изял у ней прошение... Затем енерал подошел ко второй бабусе, баушка там стояла, старушка, одним словом, спросил, о чем у ей прошение, старая-то отвечать не могла, в ето время грохнул выстрел. Вот так-те! Я сейчас взад! Прошение выпало из рук. Грохот! Ну я поддержал енерала Федор Федоровича, принесли подушку, а нам домой велено было идтить...

Соловьев хотел поговорить еще, рассказать важным господам, так внимательно его слушавшим, что-нибудь неизвестное, но его перебили:

— Когда она выстрелила, револьвер упал у нее?

— Да, упал на пол,— подтвердил конюх и для пущей убедительности перекрестился еще раз, не предполагая, очевидно, в какое неловкое положение через минуту попадет из-за его искренности их высокопревосходительство генерал Федор Федорович, которого он поддержал и очень гордился, что к месту оказался.

Отныне жизнь конюха Соловьева приобретала особый смысл. Во всей той огромной машине, именуемой государственным устройством, он получал свое место, ныне, присно и во веки веков становясь тем, кто поддержал Трепова, большого генерала, когда в него выстрелили враги. Отныне в роду Соловьевых до седьмого колена дóлжно было передавать трепетно, что отец, дед, прадед при таком историческом моменте оказался и старание показал.

Осип Комиссаров тоже почувствовал свое место, когда с перепугу отстранил руку Каракозова, стрелявшего в государя. Получил Оська дворянство, стал именоваться Комиссаровым-Костромским, ибо сразу же определилось, что родом он из сусанинских святых мест. Но только, став дворянином,— шутка ли из мастеровых да на такие высоты! — зачастил наш герой по знакомым, по гостям, вокруг него свои адъютанты завертелись. Первую рюмаху, не моргнув, опрокидывал за здравие императора и всей августейшей фамилии, перед детками выступал в мещанских училищах. В приютах для вдов армейского и флотского духовенства рассказывал он, как кинулся на того злодея лохматого, тилигента-суку, покусившегося на священную особу государя! Детки слушали, открыв рты, новые приятели верили и подносили. Огурчиком закусывать предлагали и севрюжинкой со свекольным хренком. Но самое интересное в том состояло, что взлет из мастеровых в дворяне очень скоро самому Оське случайным уже не казался. Ходил Оська важный, синий до сизости, но вскоре, оставив дворянский титул наследникам, помер от белой горячки. Только-только жизни настоящей вкусил.

Вера Ивановна смотрела на конюха Соловьева, а думала о Комиссарове. Федор Федорович в суд не явился, сослался на состояние здоровья, представив справочку, подтверждавшую, что вызывать раненого в судебное разбирательство по делу дочери капитана Веры Засулич ни в коем случае не следует, а подвергать допросу на дому нежелательно ввиду явного вреда для здоровья.

Решено было зачитать показания потерпевшего, записанные с его слов судебным следователем Кабатом сразу после того, как 24 января из него попытались извлечь пулю.

Знай Федор Федорович, какой восторг охватит его врагов при чтении этого документа, как будут сиять их поганые либеральные рожи, как они будут хихикать, он бы не позволил читать. Он бы сам явился! С одра бы встал со смертного и здоровье бы нашлось и силы, но не подумал. Сплоховал. Эх, Федя, Федя, опять невпопад вышло... Известно же, что верховные должности в Российской империи как высокие скалистые вершины, до коих добираются только орлы да ползучие гады. Но откуда орлов-то взять, мало их в равнинной местности...

«Сегодня 1878 года января 24 дня в 10-м часу утра, во время приема просителей,— читал судебный секретарь,— в приемной комнате находилось несколько просителей. Приняв первую просительницу, фамилии ее не упомню, я приступил ко второй, которая на вопрос мой: что ей угодно? — стала просить выдать ей свидетельство с удостоверением о ее поведении. Она была очень закутана и теплее одета, чем другие лица, так что я не мог рассмотреть ее. Когда я приступил к третьей просительнице, которая стояла рядом со второй, и повернулся к ней лицом, раздался выстрел, которого, однако, я не слышал, и я упал, раненный в левый бок. Майор Курнеев бросился на стрелявшую женщину, и между ними завязалась борьба, причем женщина не отдавала упорно револьвера и желала произвести

второй выстрел. Женщины я этой до сих пор не знал и не знаю, что за причина побудила ее покуситься на мою жизнь».

Отныне карьера Федора Федоровича была кончена. Все! Он имел право ошибаться, тем более раненый, страдая от боли, но либералам приятней было считать, что он врет. А врать в суде мог какой-нибудь щелкопер, мелкий чиновник, станционный смотритель. Конюх какой-нибудь. Но мелкий чиновник Цуриков говорил правду, и конюх Соловьев не врал! Врал во всеуслышание генерал-адъютант, имеющий честь состоять при священной особе государя императора! Дожили до светлого дня, господа, но это еще не все!.. Еще не стихло негодование, выяснилось, как вел себя столичный градоправитель в Доме предварительного заключения, как топал ногами на Архипа Боголюбова, как кричал: «Разве я к тебе обращаюсь? К тебе?!..» Генерал, с кем связался? С мальчишкой. Ну выпорол его, и лады, и хватит, если тихо, но зачем же зубами скрипеть, зачем размахом руки сбивать с арестанта шапку? Позор! Самым решительным образом позор... Вельможные в креслах за судьями тихо негодовали, пожимая плечами, их бескровные губы кривились презрительно. Наверное, кто-то из них в тот же день донес обо всем государю, и судьба Трепова решилась окончательно. Под благовидным предлогом ему предложили выйти в отставку.

Вере Ивановне рассказывали, что Трепов покинул казенный дом на Гороховой и как частное лицо поселился на Садовой, в одном парадном с писателем Салтыковым-Щедриным. Что же касается пули, то ее так и не извлекли, поэтому новый сосед часто посмеивался над отставным градоправителем, говорил, что боится встречаться с ним на лестнице: «Вдруг он возьмет да и выстрелит в меня». А грозный когда-то Федор Федорович все искал знакомства с Михаилом Евграфовичем, улыбался ему при встрече добродушно.

Вот еще интересная задачка для решения на досуге! Почему отставные генералы, такие грозные, нетерпеливые, рыкающие в службе, уйдя на покой, становятся мягкими, спокойными и подчас мысли их посещают крамольные? И снисходительность в них, и терпимость...

Суд длился долго. Допросили свидетелей обвинения, потом свидетелей защиты, тех, кто находился в Доме предварительного заключения, когда Трепов приказал выпороть Боголюбова. Разумеется, комендант Петропавловской крепости арестанта Феликса Волховского на суд не доставил, отказался, но и без Феликса нашлось кому рассказать о побоище, произошедшем в страшный день 13 июня.

Бедный Кессель, ничтожный товарищ прокурора, имени которого до того времени никто слыхом не слыхал, как выразился государственный секретарь Перетц, построил свое обвинение в общем-то на простом и бесспорном тезисе: одно лицо не может быть триедино, сочетая в себе судью, прокурора и защитника. Нельзя допустить, чтобы любой обыватель, обвиняя власть, вершил суд и защищал себя или близких себе людей всеми возможными средствами. Это что ж будет, если все начнут стрелять? Но Кессель пошел дальше. Он попытался изобразить дело так, что дочь капитана девица Засулич, желая помочь торжеству справедливости, в действительности задержала правый суд. Она предпочла сама вынести приговор и привести его в исполнение, в то время как Трепову будто бы грозили очень большие неприятности и велось следствие и ожидался суд для выяснения причин беспорядков в Доме предварительного заключения. Губит нас вечная наша расейская суета, наше нетерпение и наивный максимализм! В подтверждение Кессель потребовал вдруг майора Курнеева для вторичного допроса и, когда тот снова вытянулся перед зеленым судейским столом, спросил:

— Вы были опрошены судебным следователем по делу о беспорядках в Доме предварительного заключения?

— Так точно!

— В качестве кого?

— На меня была жалоба.

— В качестве обвиняемого,— подсказал Кессель, на что Курнеев незамедлительно согласился.

— Так точно! В качестве обвиняемого. На меня была жалоба.

Вера Ивановна этой хитрой прокурорской уловки не поняла, но позже ей объяснили, что это был самый крупный козырь обвинения: получилось, что она стреляла в Трепова, задержав суд над ним!

«Все бывшие здесь налицо, как один человек, съежились и опустили головы, все стали ниже ростом,— записал в своих воспоминаниях некий доктор Герценштейн, присутствовавший на суде.— Я почувствовал,— да, вероятно, и все другие,— что потолок опустился и как тяжелый пресс завинчен и придавил нас. Все чувствовали, что исход процесса ясен и участь Засулич решена».

Стенографические отчеты судебного заседания в газетах. В «Северном вестнике», в «С.-Петербургских ведомостях»... Так шумно обещанную публике брошюру с полным отчетом издали уже после девятьсот пятого года! И вот об этой брошюрке автор хочет рассказать подробней.

В Исторической библиотеке в тихом Старосадском переулке он взял тоненькую голубую книжечку, переплетенную в картонную обложку. «Процесс Веры Засулич. Суд и после суда...» Однажды этой книжечки на месте не оказалось, и автору выдали другой экземпляр из хранилища.

Экземпляр оказался ветхим, все страницы к тому же были испещрены карандашными пометками, и это раздражало автора, пока он не заметил, что пометки сделаны много лет назад, старой орфографией. Кто-то неизвестный присутствовал на процессе Засулич, а когда через тридцать лет вышла книжка, на полях оставил свои воспоми-

нания: «Это имело место...», «Все было иначе...» О Кесселе неизвестный написал: «Выглядел жалко».

На суде Вера Ивановна знала, что ее должны повесить и наверняка повесят, как только кончится вся эта комедия. Под охраной отвезут в Петропавловку, там найдутся мастера-вешатели, и надо сделать так, чтоб не было больно, это уже зависело от нее. Она себе внушала, что надо расслабиться, когда на шею накинут петлю, расслабить руки, ноги, замереть на мгновение, и все должно исчезнуть само собой.

— Я просил бы предложить майору Курнееву вопрос,— сказал Петр Акимович: — в чем он обвиняется и за что привлечен к этому делу?

— По жалобе политических подсудимых, что будто бы по моему распоряжению их били.

— Когда это было?

— Да после того, как их сажали за бунт в карцер.

— Так что это обвинение не имеет никакого отношения к наказанию Боголюбова?

— Нет, никакого,— сразу же согласился майор, и тут «не фигурально, а в буквальном смысле один общий вздох облегчения, разом, ритмически вырвался у всех из груди»,— прочитал автор у доктора Герценштейна, а в той библиотечной брошюре в этом месте на полях заметил восклицательный знак и карандашный росчерк: «Незабываемо».

Защитник у нее был выдающийся. И если речь прокурора Кесселя была признана посредственной и плохонькой, то речь Александрова единодушно называлась блестящей. Александров был великолепен, в один голос соглашались дамы из тюремного комитета, вельможи в креслах за судьями, университетские профессора и просто чиновники. «Молодцом,— сказал граф Баранцов,— молодцом!» «Способный молодой человек»,— подняв бровь, подтвердил старый князь Горчаков. «Отменный слог! Отмен-

ный...» — говорил будущий министр финансов Александр Аггеевич Абаза и утирал мокрые глаза. Либералы умели ценить настоящее искусство, настоящие таланты, коими Россия наша, увы, так бедна...

— Господа присяжные заседатели! Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора...— кажется, так начинал Александров.

Да, именно так. «...Благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но тем не менее задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной...»

Александров рассказал присяжным ее биографию. Как вышла она из пансиона, как познакомилась с Нечаевым, как попала в тюрьму ни за что ни про что по воле грубой необузданной силы.

— Для девицы годы юности представляют пору расцвета, полного развития; перестав быть дитятею, свободная еще от обязанностей жены и матери, девица живет полною радостью, полным сердцем,— говорил Александров, и зал слушал затаив дыхание.

Он защищал не ее, не Веру Засулич, а Лизу из «Дворянского гнезда», некую задумчивую, русую барышню, которая вбежала вдруг из тенистого сада в гостиную в белом холстинковом платье и выстрелила «из заранее принесенного револьвера». Он рисовал другой образ, к которому подгонял факты ее биографии. Но, может быть, именно так и нужно было, думает автор. Дамы с Морской рыдали навзрыд, старичок сенатор голосом сиплым от слез кричал «браво», и его уже не останавливали. Когда член суда Ден спросил ее: «Раньше вы пробовали стрелять из револьвера?» — она ответила: «Нет, незаряженный пробовала».

Как же так! Это она-то, южная бунтарка, ждавшая народного бунта, чтобы примкнуть к нему, не пробовала стрелять? Вместе с Машей Коленкиной они потребовали, что-

бы их тоже приняли в конный отряд. И училась стрелять. Никакой пощады! Пробовала она стрелять, и много раз пробовала, но ведь о южных бунтарях и о пропаганде ни слова не надо было говорить на суде! Судили не ее, судили генерал-адъютанта Трепова, всю прогнившую насквозь, проржавевшую государственную машину империи. Представился случай осудить верховную власть, и дело не в том, что студента выпороли, выпороли, и ладно, если потихому да за дело, считали многие в зале. Судили градоправителя, что не по чину взял, не могли простить личные доклады государю и весь этот головокружительный взлет из грязи, судили произвол: сегодня Боголюбова выпороли, а завтра меня, если Трепов пожелает! Государь должен был понять, что пришло время просвещенного царствования, надобно привлечь к себе новых людей. Не треповых, иных! Вот почему с таким одобрением отнеслись в зале к намерению Александрова сделать в своей речи экскурс в историю русской розги. Его могли остановить, но не остановили. Русая барышня Лиза и березовая розга — это ли не наглядный диапазон несовместимости и российского ужаса в либеральном миропонимании!

Долой треповых! Не на розгах Россия стоит! Великая, неделимая, православная может без хамства! Давно пора...

Зал был накален, и, выждав момент, Петр Акимович подбросил картину экзекуции, рассказал, как пороли бедного студента по воле большого генерала.

— Вот он, приведенный на место экзекуции и пораженный известием о том позоре, который ему готовится; вот он, полный негодования и думающий, что эта сила негодования даст ему силы Самсона, чтоб устоять в борьбе с массой ликторов, исполнителей наказания; вот он, падающий под массою пудов человеческих тел, насевших ему на плечи, распростертый на полу, позорно обнаженный, несколькими парами рук, как железом, прикованный, лишенный всякой возможности сопротивляться, и над ней,

этой картиной, мерный свист березовых прутьев да также мерное счисление ударов благородным распорядителем экзекуции.

Почувствовал ли Дворжицкий, что это к нему относится, что он назван благородным распорядителем и суд идет и над ним? Ничего он не почувствовал, стоял, изящно прогнув поясницу, и слушал. А голос Александрова, набирая высоту и силу, гремел над залом:

— Все замерло в тревожном ожидании стона; этот стон раздался, то не был стон физической боли — не на нее рассчитывали,— то был мучительный стон удушенного, униженного, поруганного, раздавленного человека. Священнодействие свершилось, позорная жертва была принесена!..

И тут тишина в зале разорвалась аплодисментами. Наверное, так рвется первая шрапнель перед наступающим противником. «Браво!» — кричали дамы с Морской. «Браво!» — мотая лысой головой, во весь голос гудел старичок в сенаторском мундире. «Браво, Александров!» «Хватит розог! Хватит...»

Кони встрепенулся, зазвонил в медный колокольчик:

— Господа! Господа, поведение публики должно выражаться в уважении к суду. Суд не театр...

Публика кое-как успокоилась, а Вера Ивановна подумала вдруг, что ее могут и не повесить. Могут просто сослать на каторгу. Это нарушало все планы. Она уже давно распрощалась с жизнью. Где-то в глубине души, правда, жила надежда, теплилась копеечной свечкой, но нереальная, слабенькая, и она говорила себе — пусть будет эта надежда, это естественно: я молода, моему организму хочется жить, но умом-то своим я понимаю, что все это скоро кончится...

— Господа присяжные заседатели! Не в первый раз на этой скамье преступлений и тяжелых душевных страданий является перед судом общественной совести жен-

щина по обвинению в кровавом преступлении,— говорил Петр Акимович, заканчивая свою речь. И вспомнил женщин, которые мстили своим коварным соблазнителям и изменившим любимым, мстили более счастливым ликующим соперницам! Те женщины выходили из суда оправданными, потому что правый суд — отклик суда божественного, взирающего не па внешнюю только сторону деяний, но и на внутренний их смысл! В первый раз перед русским судом предстала женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести. Она стреляла во имя идеи, и этот мотив надо учитывать на весах общественной правды. И если для торжества закона нужно призвать законную кару, тогда да свершится ваше карающее правосудие! Не задумывайтесь!

Но... напоследок Александров еще раз выжал в зале слезы умиления и сострадания, нарисовав то смирепие, с каким примет она приговор, ну а последняя фраза была просто прекрасна:

— Да, она может выйти отсюда осужденной, но опа не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, чтобы не повторились причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников.

Присяжные удалились для вынесения приговора...

13

День 31 марта начался для полковника Федорова чуть свет с тревожного предчувствия весьма крупных неприятностей.

По предписанию, получепному накануне, он обязан был доставить подсудимую в здание суда к 12 часам, сдать под расписку дежурному приставу; тем же предписанием вменялось ему присутствовать на суде лично до вынесения приговора и лично же сопровождать подсудимую на-

зад в ДПЗ, поскольку об оправдании речи быть не могло. Приговорят по всей строгости — и назад, это он так подумал утром, примеряя парадный мундир.

Когда присяжные медленно проследовали в комнату для совещаний и был объявлен перерыв, Федоров оказался рядом с полковником Герцем.

— Ума не приложу, с какой стати дело отдано присяжным? — удивлялся Герц.— С какой стати... Вечно у нас все через... Наоборот!

— Желательно показать, что в обществе осуждаются шаги самоуправства,— буркнул Федоров.

— Вы о стрельбе?

— Разумеется.

— И тем не менее такой суд подрывает уважение к административным решениям.

Они вышли из душного зала, где служители уже открывали окна, чтобы проветрить помещение. Прошли по гудящему коридору на каменную лестничную площадку, где курили и обсуждали возможное решение присяжных и всю эту историю с выстрелом. До Федорова долетали отдельные фразы, обрывки фраз, слова. Он шел, уперев подбородок в грудь и заложив руки за спину, на душе у него было тревожно и муторно, будто он заранее знал о том, что должно было произойти. «Ей двадцать восемь лет. Для женщины возраст...» «Мерси...» «Ну знаете ли, винить государственное устройство в том, что ей мужа не дадено...» «А был бы муж, были б дети, не стреляла б, это непременнейший факт!» «Она похожа на религиозную фанатичку». «Кликуша?» «Великомученица!» «Оставьте, настоящее шофруа из перепелов делается, друг мой любезный, только у Дюссо!» «Нет, нет, я не сторонник экстремальных решений, но у женщин, ваше превосходительство, все иначе, чем у нас, а стрельба сегодня еще будет, вспомните мое слово... Взгляните на толпу у здания суда... они эмоциональней...» «Пардон, мадам!»

На площадке над белой мраморной лестницей, привалившись к перилам, литератор Достоевский говорил литератору Градовскому, известному столичному фельетонисту, любимцу либеральной публики:

— Наказание ее неуместно... излишне... следовало бы сказать ей — иди, ты свободна, но не делай этого другой раз...

— Пожалуй,— вяло выговаривал фельетонист, чувствуя на себе любопытные взгляды. Очень был знаменит! Большого калибра газетный талант.

— Иди, ты свободна,— продолжал Достоевский.— И все. И больше ничего не надо! Но ведь у нас, кажется, нет такой юридической формулы. Чего доброго, возведут ее теперь в героини, и начнется...

Разумно рассуждает, решил Федоров. Вполне разумно. Только чего возводить, возвели уже. Ко времени-то как выстрел пришелся! Крякнул. Полез в брючный карман, вынул плоский портсигар.

— Позвольте, господа, огня, если вас не затруднит.

— Курите на здоровье.

— Здравствуйте, господин Градовский.

— Добрый день, полковник.

— Уж не знаю, добрый ли,— не смог сдержаться.

Тем временем наверху в судейской комнате перед кабинетом председателя окружного суда толпились большие и очень большие чины. Там в голубом и сизом, нежно щекочущем ноздри сигарном дыму мерцали звезды высших орденов, было празднично от лазоревых, от пурпурных, андреевских, анненских, георгиевских лент, от аксельбантов, от эполетного золотого и серебряного шитья, от позванивания шпор и шеврового сапожного хруста. Говорили о позоре Федора Федоровича.

А в кабинете, открыв форточку и вдыхая мокрый весенний воздух, председатель суда Анатолий Федорович Кони,

сенатор Михаил Евграфович Ковалевский и профессор по кафедре государственного права Борис Николаевич Чичерин обсуждали тонкости процесса.

— Ну что, мой строгий судья? — спросил Кони, обращаясь к сенатору.

— Обвинят, несомненно! — Сенатор расстегнул тугой ворот мундира, покрутил затекшей шеей.— Не сомневаюсь!

— Нет, я не о том, это само собой. Как шло дело?

— Хорошо. Какие тут могут быть сомнения?

— А если откровенно?

— Если откровенно, то очень хорошо. Вам удалось, любезный Анатолий Федорович, провести дело в строгом порядке с предоставлением самых широких прав обеим сторонам. Даже желая вас по дружбе раскритиковать, я затрудняюсь к чему-либо придраться.

— Михаил Евграфович прав,— сказал Чичерин, усмехаясь,— формально никаких претензий. Но если совсем откровенно, вы, Анатолий Федорович, находились в печальном положении порядочного человека, который, стоя между произволом и самоуправством, обречен на бессилие, потому что нигде не обретает опоры.

— Что выбирать, если третьего не дано...

— И тем не менее, господа, разумно ли подвергать присяжных таким испытаниям? Произвол или самосуд? Вот ведь задачка!

Стараясь предугадать приговор, который решался в комнате присяжных за закрытой дверью, обтянутой тугой кожей, ученые-юристы сходились во мнении, что разум должен подсказать присяжным решение о виновности только в нанесении раны. Только раны! Пусть даже относящейся к разряду тяжелых, но «без намерения убийства», и это важно, что «без намерения».

— В таком признании вины будет возможность вынести сравнительно легкое наказание. Да, да.

— К тому же произвол Трепова и биография подсудимой,— рассуждал сенатор,— дадут повод для ходатайства о помиловании.

— Желательно, чтобы наказание Засулич никого не возмутило своей жестокостью и было бы дважды смягчено!

И они понимали, три ученых-юриста — сенатор, профессор и несменяемый судья, что это было бы очень гуманно и юридически грамотно, если бы наказание было дважды смягчено, но не очень-то верили, что так будет.

— Обвинительный приговор, порицая самосуд, в то же время явно должен показывать, что ничего не останется неотомщенным, все тайное станет явным,— произнес Кони торжественно, и в этот момент как раз раздался звонок присяжных, извещающий, что решение принято.

Шумное движение в кулуарах суда приняло строгую направленность. Публика потянулась в зал. Солидные генералы, парами прогуливавшиеся по коридору, двинулись к открывшимся дверям. Бесплотными тенями туда же заскользили мелкие судебные чиновники, карасики и плотвички служивого моря, публика из верхних рядов, скромно перешептываясь, потянулась вдоль стен.

— Господин Федоров! С вами желал бы тут побеседовать один германский корреспондент.

— О чем? — удивился Федоров, разглядывая подскочившего к нему маленького человека в касторовой поддевке. Он видел его впервые.

— Немцу, вассалу моему, любопытственно, да и мне весьма.

— Извините, не имею чести...

— Карамурин,— представился маленький человек.— Негоциант и издатель. Слепое орудие в руках прогресса и развития отечественной мысли. Торговля минеральными маслами, и вот... заинтересован также в издании отчета по данному делу.

— А немец откуда?

Карамурин усмехнулся:

— Да я немцу право перевода на корню продал. Кормимся... Будет наварец, господин полковник... Интерес обеспечен...

Карамурин кивнул в окно, и Федоров вновь увидел толпу на Шпалерной.

Теперь толпа увеличилась и совершенно заполнила собой Шпалерную от Литейного до здания суда. Чувствовалось, что страсти накалились и вот-вот может последовать взрыв.

В толпе преобладали люди молодые, одетые совершенно по своей нигилистической моде: высокие сапоги, широкополые шляпы, пледы и студенческие заношенные фуражки с переломанными козырьками и выцветшими околышами. Что за манера, право, оскорблять своим наружным видом общественный вкус! Или это тоже оттенок протеста, подумал он и отошел от Карамурина.

— Извините-с, у меня дела.

— Господин полковник, а наварец как, а? — заволновался негоциант, дыша чесночным духом.— Наверняка наварец будет! Господин полковник... Как же так...

Толпа гудела, медленно меняясь в очертаниях, но центр ее был плотный, как ядро в клетке, а все остальное — протоплазма. Надо было безотлагательно принимать самые решительные меры, потому что с вынесением приговора могли начаться беспорядки и крупные неприятности и стрельба, которую обещал полковник Герц.

Легкий на помине, Герц возник рядом и, чуть наклонившись, донес шепотом, что послано за жандармами.

— Ждем с нетерпением.

— Улита едет, когда-то будет...

— Надо бы энергичней, вы правы. У меня внизу казенный экипаж, испрошу разрешения у своего генерала, он здесь, и лично ускорю.

— В добрый час.
— А то недоглядим, вы правы.
Герц кинулся вниз.
Присяжные медленно входили в зал.
Они двигались гуськом на свои места — четыре чиновника, два купца, один с медалью, другой без, помощник смотрителя Александро-Невского духовного училища, дворянин без чина и звания Шульц-Торно, яхтсмен и любитель рысистых испытаний, один действительный студент, робкий молодой человек с пухлым ртом, и коллежский регистратор, маленький чиновник, станционный смотритель Джамусов во фраке, взятом напрокат.
Подсудимая сидела за барьером, отделяющим ее от публики, и равнодушно смотрела в потолок. Ее продолговатое лицо с широким лбом казалось совершенно безучастным, будто она ждала не решения своей судьбы, а отбывала бесконечное наказание — сидеть вот так на виду у всей этой нарядной, надушенной публики, украшенной бриллиантами и орденами.
Старшина подал председателю лист с решением присяжных.
Кони просмотрел первую страницу, перевернул, просмотрел вторую и возвратил старшине. Тот набрал в легкие воздух, побагровел, обернулся к залу и произнес внятно: «Нет... Не вин...» Как же так? — мелькнуло у Федорова. А дальше уже ничего не было слышно. Тишина разорвалась рукоплесканиями и криками: «Браво! Браво! Молодцы! Браво!»
Сенатор Деспот-Зенович в креслах за судьями кричал «ура», канцлер Горчаков аплодировал, не потеряв, однако, дипломатической своей сдержанности, зато граф Баранцов, проголодавшийся, но счастливый, пунцовый от напряжения, что есть сил бил в ладоши, и его толстые щеки тряслись. В верхнем отделении, где находилась публи-

ка поплоше, обнимались, и молодая высокая девушка с детским, восторженным лицом, свесившись через барьер, размахивала беличьей муфтой и кричала: «Вера, Верочка... Солнышко мое... ты ни в чем не виновата... Верочка!» И звенящий ее голос непонятно по каким законам акустики покрывал весь шум.

Начальник конвоя скомандовал: «Сабли в ножны!» — и снял караул. Кони сделал знак судебным приставам, бросившимся было наводить порядок, потянулся к колокольчику, но звонить не стал. И правильно, что не стал, всякая попытка сдержать страсти могла бы теперь иметь плачевный исход, он это понял.

Наконец шум кое-как начал стихать. «Вы оправданы,— сказал Кони, обращаясь к Засулич.— Отправляйтесь в Дом предварительного заключения и возьмите ваши вещи; приказ о вашем освобождении будет прислан немедленно. Заседание закрыто».

И это тоже, пожалуй, было верно, что он не сразу выпустил ее в возбужденную толпу, решил Федоров. При таком накале страстей возможны эксцессы, а надеяться на Дворжицкого с его приставами и на маленькую военную команду, находящуюся в первом этаже суда, было бы наивно.

Тем временем какие-то молодые люди, протиснувшись между рядами, плечами и локтями бесцеремонно оттеснив сенаторов и генералов, окружили Александрова. Начали ему аплодировать. Александров раскланивался. Затем его подхватили на руки и понесли.

Федоров проводил Засулич в ДПЗ, чтобы она могла собрать свои вещи.

— Я вас поздравляю,— сказал он.

— Спасибо.

— Вы как будто не рады? Нельзя-с так, сударыня, нельзя-с...

— Я не верю.

— Пора поверить. Все позади. Теперь вы свободны-с.

— Спасибо.

Она выглядела усталой, была рассеянна. Оставив ее в камере, он вернулся в суд и, поднимаясь по лестнице, случайно столкнулся с Лопухиным.

Прокурор спешил. Его гладкое, чистое лицо казалось озабоченным, движения были быстры и резки.

— Полковник! Полковник, где она?

— В данный момент пьет чай...

— Мой вам совет,— Лопухин поправил кашне, он уже был в пальто,— впредь до получения предписания ни в коем случае не выпускать ее! Ни в коем случае!

— Ваше превосходительство, о каком предписании речь? Она освобождена.

Но Лопухин спешил, ему некогда было объяснять.

— Не торопитесь, полковник... Я вас предупредил. Никакой спешки! — крикнул прокурор снизу и рукой сделал жест, который подчеркивал строгость его предупреждения.— Безумный день!

— Иван Поликарпович,— спросил Федоров помощника, которого вызвал к себе для совета,— что ж делать-то будем? С одной стороны, незаконное мною задержание Засулич, хотя и известное прокурору палаты, но тем не менее в таком серьезном деле... без письменного документа... противузаконно!

— Так-то это так, но...

— А с другой стороны, огромная возбужденная толпа, собравшаяся у наших ворот, горит нетерпением скорейшего свидания с Засулич... да-с... и вследствие задержки в выпуске может произойти беспорядок, который всецело отнесут ко мне. Орднунг ист орднунг [1].

— Так-то оно так, но ведь прокурор палаты не последнее лицо...

---

[1] Порядок есть порядок *(нем.)*.

Наконец явился участковый пристав с предписанием суда о немедленном освобождении Засулич и на словах передал личную просьбу Анатолия Федоровича Кони, настаивающего, чтобы Засулич была выпущена не на Шпалерную, а на Захарьевскую улицу во избежание могущей быть демонстрации.

Час от часу не легче! Теперь уже было совершенно очевидно, что крупные неприятности неизбежны!

— Да знает ли ваш Анатолий Федорович, правовед ученый, что никакого выхода на Захарьевскую улицу нет-с и никогда не было! — крикнул Федоров.

— И нельзя-с,— добавил Иван Поликарпович,— это будет маневр...

— Что они думают, толпа глядите какая собралась!

— Это будет маневр противузаконный. Освобождая эту Засулич секретным путем, невозможно убедить волнующуюся публику в ее освобождении.

— Возможен бунт!

— Не могу знать,— отвечал пристав.

— Передайте Анатолию Федоровичу, что я... я выпущу Засулич обыкновенным порядком! Через ворота на Шпалерную! И никак-с не иначе. Так и передайте!

Пристав кивнул и поспешил к председателю суда — донести об исполнении поручения. Федоров вышел во двор ДПЗ.

Закатное солнце горело в окнах всех шести тюремных этажей. Дежурные надзиратели, ожидая волнений, перекрыли проходы.

Во дворе возле полосатой, черной с белым караульной будки стояли часовые и, прислушиваясь к тому, что творится на улице, открывали «волчок» на воротах, глядели на Шпалерную, нервничали. Было слышно, как гудит толпа, и казалось, что вот-вот она должна двинуться на ворота, продавить, смять их, ворваться во двор, и надо было готовиться к этому штурму.

У ворот стояла лошадь с водовозной бочкой, и Федоров подумал, что сейчас, когда ворвется толпа, ее опрокинут. И лошадь, и бочку...

Наконец вышла Засулич, неся в руках узелок с вещами, и снова его удивило совершенно равнодушное ее лицо, не выражавшее ни радости, ни удивления.

— Прошу сюда! Сюда давайте... Ну счастливо вам, Вера Ивановна. Не поминайте лихом.

— Спасибо.

— Отворяй!

Загремело железо. Железная щеколда упала вниз, в образовавшийся проем он увидел толпу, возбужденные лица, дворника в холщовом фартуке и в толпе двух-трех пеших жандармов в шинелях внакидку. Успел Герц!

— Затворяй!

Толпа приняла Засулич и с шумным восторгом понесла к Литейной. «Ура! — кричали молодые голоса. — Ура!» И — «Слава! Слава!»

Сказав, что устал, Федоров пошел к себе на квартиру, помещавшуюся там же в Доме предварительного заключения, но этот день никак не хотел кончаться. Прибежал Иван Поликарпович, доложил, что на улице стрельба. «Стреляют, и есть убитые, ваше высокоблагородие. А на Выборгской-то, на Выборгской... фабрика горит! Подожгли. Дым валит, потрудитесь взглянуть, жутким манером...» Накинул шинель, вышел, взглянул на пожар за рекой. Огромное пунцовое зарево вставало над крышами Выборгской стороны, и черный дым относило ветром вниз по Неве. Затем, уже в одиннадцатом часу, явился нарочный чиновник с предписанием от прокурора палаты. Ему приказывалось дочь капитана Веру Засулич не выпускать, а содержать под стражей впредь до особого распоряжения.

— Так она уже выпущена!

— Не могу знать!

— Ведь прокурору же известно, как же так?

— Не могу знать!

Федоров был поражен этим предписанием до такой степени, что подумал о мистификации. Уже всему Петербургу было известно об освобождении, тем более прокурору палаты! Видимо, произошло что-то исключительное, может быть связанное со стрельбой на улице или с пожаром, решил он и, составив докладную о причинах невыполнения приказа, утром поехал на Гороховую к самому Трепову.

Федор Федорович к исполнению служебных обязанностей не приступал, считался в отпуске по ранению, и говорил, что больше думает о божественном, чем о служебном, но был в курсе всех дел.

В его комнате перед образом теплилась розовая лампадка, на кушетке была разостлана постель, чтобы раненый в любую минуту мог прилечь. Пахло лекарствами.

— Садись, садись, голубчик Федоров... Слава богу, что ее оправдали! Я не желал ей зла и не желаю и бога молить буду, вот те крест святой! Это его воля. Но присяжные хороши... Кто всегда о городе пекся, о его благоденствии, о его благоустройстве, о порядке? Кто, я тебя спрашиваю, полковник? Молчишь? Да, да, он, Трепов, старый грешник... И порядок был и все, а ныне что?

Трепов заметно похудел, осунулся, его подкрашенные хной баки обвисли, глаза погасли, но он еще надеялся на милость государя, и у него имелись основания надеяться.

— Ныне чехарда,— сам себе ответил Трепов и ткнул пальцем в потолок.— Но там уже поняли! Не во мне дело, но в государственных интересах! Ты секретное прибавление к приказу по градоначальству получил?

— Никак нет!

— Подойди к столу, открой верхний ящик. Вот, возьми и прочти.

Приказ был подписан генерал-майором Козловым, временно исполнявшим обязанности Федора Федоровича, но очевидно было, что имелось на то разрешение свыше.

«Господам участковым приставам,— читал Федоров,— надлежит немедленно принять самые энергичные меры к задержанию дочери капитана Засулич, освобожденной вчерашнего дня от содержания из-под ареста по приговору суда присяжных...»

По задержании приказывалось немедленно отправить Засулич в ДПЗ и «о следующем донести».

— Я ведь не как частное лицо,— печалился Трепов,— я ведь того дьячковского сына не из личной прихоти наказал! На мне был мундир и чин и знак военного ордена, и как же власть державная может не взять меня под защиту? Даже если промашка с моей стороны вышла... Вот ребус! А присяжные эти — стадо гусей! Полное незнание азов государственности!

Трепов закрыл лицо платком, он плакал, и эполеты на его плечах вздрагивали.

— Господи, господи, до чего дожили... Иди, голубчик... Иди... Ты не виноват, я все устрою. Либералы, они губят Россию, они...

И вроде в самом деле все устроилось, решил Федоров, но вдруг на неделе последовало распоряжение незамедлительно явиться в здание судебных установлений к прокурору палаты Лопухину.

— Полковник, давайте разберемся,— начал Лопухин без вступления.— Надобно освежить в вашей памяти обстоятельства освобождения этой, как ее... Засулич, да?..

В огромном кабинете в кожаном кресле у письменного стола сидел нарочный чиновник, который доставил предписание, и в углу на пуфике — лысый, растерянный человек, кажется судебный следователь. Фамилия его была Кабат.

— Закуривайте,— предложил Лопухин и подвинул к краю стола ларец с папиросами,— вы, вероятно, помните, полковник, что по окончании судебного заседания, встретившись с вами на лестнице, я предложил вам

не выпускать Засулич впредь до моего распоряжения? Не так ли?

— Совершенно верно-с. Но разрешите уточнить. Вы предложили не выпускать Засулич до получения бумаги-с от суда, что мною и выполнено. Я солдат. Пришла бумага, и я открыл ворота. Бефель ист бефель [1].

— Оставьте! Все не так! Припомните хорошенько.— При этих словах Лопухин посмотрел в сторону судебного следователя: — Это и к вам относится! Вы тоже должны вспомнить кое-что. Россия — страшная страна, где никто ничего не желает делать как следует и начальнику приходится делать все самому! Я понимаю, полковник, вы были в таком экзальтированном состоянии, что легко могли не дослышать или переслышать мои слова, но я-то очень хорошо помню...

— Нет, ваше превосходительство, я решительно не признаю себя виновным-с,— настаивал Федоров.— Если бы такая персона, как прокурор палаты, желал сделать серьезное распоряжение, то пригласил бы меня к себе в кабинет, поскольку встреча на лестнице носила случайный характер.

— Господи! До чего мы дожили! Все кричат о мужике. Мужика надо воспитывать, мужика надо учить, мужика... А кто может учить? Кто, скажите? — Лопухин развел руками.— Вот вам факт, весь суд над этой Засулич — красноречивейшее доказательство неподготовленности нашей интеллигенции к решению задач времени. Она рукоплещет безответственной болтовне Александрова, она не понимает сама, чего желает... Оставьте меня, это болото пустословия, я тону в нем... Стрелять в лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей, и быть оправданной? Совершеннейший кошмар... И за него расплачиваться придется!

---

[1] Приказ есть приказ *(нем.)*.

На этом и расстались. «Я буду жаловаться на вас, полковник»,— пообещал Лопухин, и Федорову было неясно, почему же большой барин и либерал прокурор Александр Алексеевич так стремится наказать его. Он отказывался понимать почему, пока исполняющий обязанности Трепова генерал-майор Козлов, спасибо ему, не открыл глаза.

Козлов увел в пустую комнату, посадил рядом с собой на кожаный диван.

— Вы много терпели последнее время и выслушивали разных неприятностей предостаточно. Теперь выслушайте, дорогой полковник, последнюю, а затем, надеюсь, пойдет все к лучшему. Лопухин пожаловался государю...

— Я за собой вины не знаю! — отрапортовал Федоров и осекся. Тут его в самый раз и осенило. Прикинул: как же так, ведь все радовались там в суде решению присяжных и позору Трепова, и все сановные, и Лопухин в сигарном дыму в совещательной комнате, он, помнится, хихикал, потирая руки... Но не учел, эх ты, солдафон старый, душа уставная, что тех-то сановных в лентах да в звездах дело это не касалось по службе, а вот Лопухина Александра Алексеевича ох как касалось... Какое жалованье у прокурора палаты? А еще квартирные, столовые, разъездные... Один принцип — либеральные речи просто так говорить и совсем другой — такое место терять. У тех карьера не рушилась, пошумели да разошлись, а у Лопухина рушилась. Попал, Федоров!

— Лопухин пожаловался,— продолжал Козлов,— и по высочайшему повелению вас следует наказать. Тем не менее мера наказания еще не выбрана, и, пока есть возможность, чтоб не было хуже, за несвоевременное освобождение Засулич я, как непосредственный ваш начальник, по совету Федора Федоровича, накладываю на вас семидневный арест на гауптвахте. Ну, а за одну провинность дважды не наказывают.

— Благодарю вас!

— Было бы, за что. Я попрошу, полковник, когда вы выберете гауптвахту и получите от нас бумагу, отправляйтесь под арест немедленно и никому не говорите, где будете находиться.

— Вас понял.

— Приказа об аресте вашем отдано не будет, а равно не будет он занесен и в ваш формуляр. Вы стали жертвой этих ничтожных наших либералов. Ну да мы им еще покажем! Лопухин себя выгораживает и всю вину на вас да на следователя судебного валит. Того уж совсем, поди, со света сжил. Пален в отставку идет, а Александр Алексеевич место желает за собой сохранить...

На следующий же день после беседы с Козловым началось отбывание на гауптвахте.

Была весна, яркое апрельское солнце, и два арестованных офицера, отбывавшие наказание рядом, сидели на подоконниках в расстегнутых сюртуках, смотрели во двор.

В каменном дворе молодые солдатики учились выкидывать ружейные приемы. «На пле-чо!» — командовал фельдфебель и носком огромного сапожища отбивал такт — раз, два... «К ноге! Как стоишь, Федоров, как стоишь, козлиное вымя?» Федоров — распространенная фамилия, мало ли на Руси Федоровых... Топал внизу солдатик Федоров. А полковник Федоров ходил по комнате, по солнечной дорожке от окна до двери, вспоминал тот день 31 марта и думал о судьбах отечества, уверенный, что худенькая девушка с матовым, бледным лицом, дочь капитана Ивана Засулича, с которым они где-то, дай бог памяти, пили портер, а познакомились в бильярдной не то в Смоленске, не то в Саратове, сделала что-то очень важное, что меняло судьбу и его, и его детей, и тех солдат, маршировавших во дворе... Он пытался разобраться и понять и не мог. «Федоров! Федоров! — кричал фельдфебель.— Ногу как держишь, каторжная морда... Ать, два... Ать, два... Федоров!»

14

Она никому об этом не рассказывала. Только самые близкие друзья знали ее тайну. Они знали, что тот суд людской, праведный, неправедный, скорый суд, кончился. В суд божий, который будет на небеси, в небесных канцеляриях, наполненных солнечным сквозняком и шуршанием ангельских крыл, она не верила и всю жизнь сама судила себя своим судом, потому что не представляла, да и не могла представить, как широко разнесется эхо ее выстрела.

Сколько лет прошло, сколько зим... Сколько долгих осенних дождей сеяло стеклянные пузыри по булыжным московским мостовым, по торцовым петербургским проспектам, по асфальтовым французским шоссе... Сколько было колючих ветров на ее дорогах, сколько встреч на забитых мешками и ревущими бабами стылых паровозных станциях, пропахших карболкой и тоской. Все прошло. Сколько серых рассветов вставало в ее окне над острыми крышами чужих городов...

Шли годы, шли, катились по рельсам, бежали телеграммами по железным проводам, ныряющим в вагонном окне, летели над весенней землей, вот уж и аэропланы появились, аппараты тяжелее воздуха, им большое будущее пророчили, а все, как и прежде, возникал в ее памяти простуженный голос маленького, узкоплечего, любующегося собой председателя Петербургского окружного суда, возникал совершенно неожиданно, беспричинно, вдруг. Двадцать лет отстучало и тридцать...

«Кому какое дело, что возникает передо мной? — думала пожилая женщина с усталым, изможденным лицом и негустыми седыми волосами, забранными в пучок на затылке.— Это принадлежит мне, и нечего сваливать свою ношу на чужие плечи».

Она была молчалива, сдержанна, терялась в многолюдных компаниях, старалась забиться в уголок, сидела как мышка, подперев сухим кулачком острый подбородок, помалкивала, внимательно глядя холодными серыми глазами, государственная преступница дочь капитана Вера Ивановна Засулич.

По ночам в Петербурге, в Москве, в Женеве, Берне, Париже, Берлине, Лондоне в ее жалкой комнатенке, засыпанной папиросным пеплом, в квартире друзей, в пароходной каюте под глухой рокот машины и шлепанье плиц, в купе почтового поезда под стук колес два жандарма с саблями наголо, стараясь идти в ногу, вели ее в зал судебных разбирательств. Все, как тогда! От жандармов пахло потом и сапожным дегтем. 12 часов утра. 31 марта 1878 года... Судебный пристав в тени у дверей, рядом жандармский офицер в пенсне, жадно затянувшись, гасит папиросу о каблук; полковник Дворжицкий — несчастный полковник, сколько еще служебных неприятностей — и каких! — выпадет на его долю — открывает дверь: «Прошу» — и усмехается брезгливо.

Дверь высокая, но она входит, пригнув голову. Входит и слепнет от яркого света.

Ее суд никогда не кончался. Радикалы, анархисты, потрясатели общественных устоев, знали бы вы, что это значит — выстрелить в живого человека, пусть даже этот человек Трепов. Страшно это. Страшно... И почему русские сановники похожи на пухлых младенцев?

— Подсудимая Засулич, свидетельские показания окончены, что вы можете теперь сказать?

— Я не нашла, не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие...— шепчут ее губы.— Я не видела другого способа... Страшно поднять руку на человека, но я думала, что должна это сделать...

— Когда вы отправлялись к Трепову, вы желали его убить или только...

— Убить или только ранить, мне было все равно. Я хотела только показать этим, что нельзя так безнаказанно издеваться над человеком.

Зная, что тот суд так никогда и не кончился, автор с самого начала хотел построить эту книгу как судебное разбирательство, протянутое через всю ее жизнь, с прениями сторон, с размышлениями прокурора, не вошедшими в его речь, со знаменитым напутствием присяжным, которое чуть не стоило Анатолию Федоровичу его карьеры. Но для этого надо было, чтоб главный участник, сама Вера Ивановна, оставила хоть какие-нибудь воспоминания об этом суде. Но таких воспоминаний нет, а домысливать автор не мог.

Она была удивительно скромным человеком. «Презрение к погоне» не просто слова. Она не хотела быть знаменитой, стеснялась своей славы. Она вообще не любила людей крикливых, обращающих на себя внимание. Человек должен сам оценивать свои поступки, а не ждать, как это понравится публике. Она мечтала выстрелить и погибнуть как безымянный герой и суд, сделавший ее в один день самой знаменитой женщиной России, называла комедией, злым спектаклем, разыгранным вопреки здравому смыслу, исключительно из соображений высшего государственного порядка, которые не подчиняются законам человеческой логики.

Вернувшись к себе в камеру, она быстро-быстро собрала все вещи, сунула в карман огрызок карандаша и свечной огарок. В той новой тюрьме, куда ее переводили, ни свечей, ни карандаша могло не оказаться.

Но странно, дверь за ней не закрыли, и надзиратель, вертлявый малый, улыбался и хихикал, заглядывая к ней из коридора:

— Ну, барышня, и подфартило вам... Бывает, конечно, фарт такой.

Надзиратель вывел ее во двор.

— Прошу сюда! — крикнул полковник Федоров, стоявший у ворот.— Сюда давайте... Ну, счастливо вам, Вера Ивановна. Не поминайте лихом...

— Спасибо.

— Отворяй!

Загремело железо. Толпа подхватила ее, и она, еще не поверив, что свободна, обомлела. Все начиналось сначала. Судьба, жизнь — все! Но радости не было. Совершенно не было, начисто, как же это так?..

Она уже рассчиталась с жизнью, уже не думала, что может очутиться где-то вне тюрьмы, без охраны, без надзирателей... «Ура!» — кричали кругом. Со всех сторон к ней тянулись, на нее смотрели восторженные глаза. Вот она, слава! Но почему нет радости? Почему сердце не замирает в груди? Поздно, что ли? А может, не потому? Может, перегорело все?

К ней протиснулась Маша, обхватила за плечи, прижала к себе: «Верочка, голубушка моя, родная...» Толпа понесла к Литейному. Тут она увидела Сашу Малиновскую. Саша плакала. «Эко, мать, тебя разобрало... Негоже нигилистке так вот слезы-то проливать... Крепись, голубушка Александра Николаевна! Крепись».

Какой-то молодой человек, малознакомый, но все-таки знакомый, где-то она его видела, пробился к ней, кивнул, и она кивнула, и толпа тотчас же расступилась перед ним, такая у нее была власть в тот момент.

— Вера Ивановна, вы, должно быть, теперь очень счастливы? — спросил он.

— Не очень,— сказала она и сразу же раскаялась в своей правдивости: молодой человек изменился в лице.

— Что вы говорите! — воскликнул и взмахнул руками, и столько отчаянного негодования, столько изумления было в его голосе, что она поспешила сказать, что еще не опомнилась.

Кто-то подкатил извозчичью карету, предупредитель-

ный жандарм, случившийся рядом, отворил дверцу, подсадил ее. В карете она услышала выстрел. Извозчик погнал. Сквозь пыльное оконце увидела, как толпа отпрянула в сторону, раздался еще выстрел, еще...

Потом она слышала от разных людей, что была страшная стрельба, убитые были и раненые, что жандармы, по обыкновению своему, устроили кровавое избиение. «Ах, Вера Ивановна, что там творилось!» — говорили ей, как будто вся эта стрельба и демонстрация подчеркивали значимость ее выстрела. Она сердилась: «Оставьте, ради бога! О жандармах можно такую правду порассказать, что хуже всякой лжи. У них тогда приказа не было стрелять, они ни при чем».

Стреляли не жандармы. Стрелял нигилист Гриша Содорацкий, приговоренный в прошлом году к шестинедельному заключению за пропаганду. Он, мятежный, жаждал борьбы, бури, счастья битвы, его молодая душа рвалась к революции, и в возбужденной той толпе его нервы не выдержали. Пару раз он шарахнул в воздух, а затем, не задумываясь, в себя самого, что и было подтверждено судебно-медицинским вскрытием.

Веру Ивановну привезли к знакомым, там началось шумное чествование. Песни начали петь. Чаю заварили. Но в самый разгар веселья нашелся кто-то осторожный, вспомнил, что, садясь в карету, она громко назвала кучеру адрес, куда ехать. Несомненно, жандармы услышали. Ну а если и не услышали, им донесут. У них ушей достаточно. Мнения разделились — донесут, не донесут, но в двенадцатом часу, береженого бог бережет, строгий Алешка Оболешев решительно взял ее под руку, в прихожей помог накинуть пальто и вывел через черный ход во двор.

Было совсем темно, только в нескольких окнах свет и далекий фонарь в соседнем переулке за деревянным забором, покачиваясь, освещал угол кирпичного дома. Из подвала пахло стираным бельем, пеленками.

— Вы не правы, Алексей, с какой стати им искать меня. Да и не сработают они так быстро, ежели приказ поступит... Где это видано, что так быстро на Руси что-нибудь делалось?

— Согласен, у нас работают медленно, но арестовывают быстро.

Шли какой-то тропкой, петляющей среди деревьев, мусорных ящиков и непонятных строений, белевших в темноте. Конечно, она угодила в лужу, промочила ноги.

— Ваша игра в конспирацию обойдется мне простудой! Что за детство!

Алешка не ответил. Поддержал ее, пока она, стоя на одной ноге, вытряхивала воду из башмака.

Вышли в узкий, разбитый переулок, во многих местах перекопанный. К ночи посвежело, но все равно грязь не прихватило, ноги разъезжались.

— Ей-богу, ни к чему это! — говорила она в сердцах.— Куда мы идем на ночь глядя... Ни к чему!

— К чему, к чему,— мягко отвечал Алешка.— Уверяю вас, что очень даже к чему.

Проходным двором вышли на Садовую, взяли извозчика, поехали на другую квартиру, а утром она узнала, что, как только дверь за ними захлопнулась, явились гости — полицейский офицер, обалдевший дворник и трое сумрачных городовых. Вертя шеями и топая сапогами, городовые прошли по комнатам, внимательно разглядывая лица всех бывших там женщин, заглянули во все углы, в чулан, где хранилась провизия. Кухарка шепотом спросила дворника: «Федул Романыч, кого шукають? Господи сохрани...» И дворник ответил, махнув рукой: «Да треповскую ту племянницу. Зимой мстила...»

— Алексей, вы ясновидец,— сказала Вера Ивановна Оболешеву.

Тонкое Алешино лицо залилось краской, он поднял на

нее большие светлые глаза, опушенные густыми ресницами, как у кисейной барышни, сказал, смущаясь:

— Мне кажется, что революционер должен доверять предчувствиям. Я предчувствовал, что за вами придут.

В тот же день стало ясно, что решение суда отменено, есть приказ о ее аресте. «Северный вестник» сообщил читателям, будто полиция ищет по всему городу, но пока розыски не привели ни к какому результату, кроме ареста нескольких лиц, которым, как подозревается, может быть известно ее местонахождение.

Странная это была газета — «Северный вестник». Издавал газету адвокат Корш, сын известного писателя, и печатал ее, ориентируясь на вкус столичной интеллигенции и студенчества. Дела шли из рук вон, подписчиков было мало, розницу тоже не брали. Коршу грозило разорение, кругом долги. Нужна была сенсация, на худой конец хороший скандал. Корш ждал и дождался.

— «Северный вестник», «Северный вестник!..» — кричали мальчишки-газетчики.— Публика отбивает у чинов полиции ту, которая стреляла в генерал-адъютанта Трепова! Убийство студента...

Корш шел ва-банк. В кондитерских на Невском «Северный вестник» рвали из рук. Типография работала днем и ночью, только жидкий дым валил из покосившейся кирпичной трубы. Первый номер шел на покрытие долгов, второй — на черный день, третий...

— «Северный вестник», «Северный вестник»! Женщина, стрелявшая в градоправителя, скрывается от властей! Шум в Париже, стрельба в Питере... «Северный вестник», «Северный вестник»...

Она рискнула, написала в «Северный вестник» письмо. Никто, кроме Корша, не стал бы его печатать, а Корш решился. Ему уже нечего было терять.

«...Я готова была беспрекословно подчиниться приговору суда,— писала она в редакцию,— но не решаюсь

снова подвергнуться бесконечным и неопределенным административным преследованиям и вынуждена скрываться, пока не уверюсь, что ошиблась и что мне не угрожает опасность ареста».

Как и следовало ожидать, за напечатание ее письма «Северный вестник», к удовольствию издателя, закрыли незамедлительно.

Ее разыскивали, и уже раза два западня захлопывалась, но она вовремя успевала поменять адрес. Ей везло. Она переезжала от знакомых к знакомым, с квартиры на квартиру, пока в конце апреля не оказалась в ортопедической клинике доктора Веймара, в полной безопасности, ибо там никому бы и в голову не пришло искать ее!

Орест Эдуардович Веймар, знаменитый петербургский доктор, участник турецкой войны, богач, встретил ее на пороге своего докторского кабинета, обставленного резной мебелью, любезно усадил на белый диванчик, застеленный крахмальной простынкой, угостил рахат-лукумом.

Она пришла с Алешкой Оболешевым. Алешка хорошо знал Ореста Эдуардовича и всецело ему доверял. При Алешкиной осторожности, любви к конспирации, к секретным шифрам и тайным поселениям в народе это казалось странным: доктор выглядел слишком светским. Молодой красавец, он носил темно-русую холеную бороду, на мир смотрел лукавыми голубыми глазами удачливого человека и вообще был похож на большого лохматого пса, умного и легкомысленного.

— Располагайтесь как дома. Нет счастья на земле, но есть покой и воля... Здесь вам никто мешать не станет,— сказал доктор, протягивая Алешке ключ.

Квартира, где ее поселили, находилась на втором этаже, как раз над клиникой, и считалась необитаемой, по крайней мере, так говорили дворнику и всем соседям. Доктор и раньше-то не часто бывал у себя дома, жил по другим адресам, все больше по заграницам да по гостиницам,

поскольку считался, как тогда выражались, закорепелым повесой.

Алешка отомкнул дверь, вошли в темную прихожую.

— Дмитрий! — позвал он негромко.— Дмитрий Александрович! А вот вам, чтобы вы не скучали, Вера Ивановна, интересный кавалер, да еще с заграничным штемпелем!

В коридоре, в темной глубине, возникло движение. К ним вышел молодой лобастый человек в темной косоворотке навыпуск, поклонился, пробурчав в ответ что-то невнятное. Это был Дмитрий Клеменц, известный пропагандист, автор нелегального журнала «Вперед!», где печатал свои статьи в разделе «Что делается на родине?» и, несомненно, имел шумный успех среди читателей.

Молва рисовала Клеменца человеком едкого ума, безжалостным остроумцем, склонным к ехидству. Она много про него слышала, а на той первой квартире, откуда так вовремя вывел ее Алешка Оболешев, ей говорили, что будто бы Клеменц утром проник в зал окружного суда и слушал весь ее процесс, а потом, переодевшись кучером, правил каретой, в которую ее посадили на Шпалерной.

Они с Клеменцом принадлежали к одному сообществу русских людей, сделавших борьбу за социальную справедливость целью своей жизни. Их было мало. Меньше, чем хотелось. Гораздо меньше. И они знали каждого из своих товарищей если и не в лицо, то по рассказам. В тюрьме, в Доме предварительного заключения, рассказывали, что как-то в поезде, в четвертом классе, подсел к Дмитрию Клеменцу, одетому в мужицкую сермягу, студент из петербургской техноложки. Студент принял Дмитрия Александровича за простого мужичка и начал пропаганду. Начал издали. Аккуратно и обстоятельно. Объяснил, отчего идет дождик, почему по весне гремит гром и какова природа атмосферного электричества. Такая методика беседы в те поры казалась самой эффективной: надо

было, чтоб мужичок понял сначала, что Ильи-пророка не существует, а бога тоже нет, чтоб затем, уже проехав Вологое, тихо начать поворот к тому, что власть царская да боярская не божественна. Бога-то нет! А раз так, то все несправедливости пора уничтожить.

Клеменц слушал, чесал в густой бороде. «Понятно?» — спрашивал технолог, оглядываясь по сторонам. «Забористо,— отвечал Клеменц,— очень даже... Факт!» А потом, уже совершенно распропагандированный, засомневался.

— Все это так, господин студент, все так...— вздохнул мрачно.— Вот про царя, про урядников — это все путем, а насчет атмосферного электричества позвольте с вами не согласиться. Профессор Бергенсон таперича имеет диаметрально противоположное мнение...

Студент совершенно растерялся. Но история на этом не кончается. Через некоторое время Клеменц будто бы слышал, как наивный тот юноша говорил в тамбуре шепотом своему другу: «Нет, Степа, не знаем мы своего народа...» — и с тех пор очень любил повторять: «Не знаем мы своего народа... Не знаем, Степа...»

Клеменц находился на нелегальном положении и в квартире над клиникой доктора Веймара поселился, вернувшись в Россию из-за границы.

Первые дни они почти не разговаривали. Разве что «доброе утро», «спасибо», «пожалуйста». Не складывалось у них задушевной беседы. И беседы вообще. Он лежал на кушетке, читал или расхаживал из угла в угол, она слышала его шаги. Он вел себя так, будто с ней ровным счетом ничего не случилось, никаких вопросов не задавал, не глядел с изумлением, и она была ему благодарна.

А на улице лил дождь. Алешка почему-то совсем не заглядывал. У Маши были дела. Еду из соседнего трактира приносил им брат доктора, студент Эдинька, каждое утро говоривший дворнику, что ходит в пустую квартиру гото-

виться к экзаменам, и дворник, пряча очередной гривенник под холщовый фартук, должен был думать, что все оно так и есть на самом деле.

У Клеменца была спиртовка. Однажды, вскипятив чай, он постучал к ней. «Прошу к столу, Вера Ивановна. Вы покрепче любите?» Слово за слово, не торопясь они разговорились, начали с воспоминаний.

Дмитрий Александрович учился в Казани, затем перевелся в Петербург, приехал туда в самый разгар нечаевского дела.

— Что касается меня,— сказал он для начала знакомства,— то я не сочувствую таким затеям, особенно в тех случаях, когда господа заговорщики, не стесняясь в средствах, прибегают к убийствам и, как оказывается, просто-напросто шпионят друг за другом... Однако в истории мы видим много примеров, когда освобождение народа началось с заговора... У нас на глазах свершилось освобождение Италии, и в этом громадном политическом перевороте немалую роль играли именно заговорщики.

— Все так, Дмитрий Александрович, но если бы в Италии не было Гарибальди,— возразила она,— то вряд ли вышло бы что-нибудь серьезное. Нечаев не Гарибальди. Да и там весь народ только ждал сигнала. А у нас? Что ждет мужик?

— Сие есть тайна, но тайна разгаданная. Мужик ждет земли и воли. Воли и земли!

— Мы знаем, что творится в далекой Италии, во Франции, в Америке, а что на соседней улице, в соседней деревне? Под каждой крышей свои мыши...

— Выходит, надо закопаться в гущу, как советуют ваши троглодиты, и годами проповедовать, наполнять бездонные бочки Данаид?

— Воспитание народа — дело многолетнее. Мужика держат за горло, деспотизм угнетает его, но скиньте деспотизм, уничтожьте самодержавие, и я не уверена, что

мужик окажется готовым принять решение. Он не умеет решать. Всегда за него решало начальство.

— Друзья подскажут.

— Но ведь недруги тоже.

— Что недруги?

— Подсказывать будут.

— Вера Ивановна, мужик наш миром силен, общиной. Народ сообща решит, не волнуйтесь, кто враг, кто друг...

Они были людьми одного поколения и легко понимали друг друга. В тихой квартире доктора Веймара он рассказывал ей про свою юность, она ему — про свою. Очень скоро они прониклись друг к другу полным уважением, и разговоры их приняли совершенно доверительный характер.

За пыльными, давно не мытыми окнами совершалась обычная петербургская жизнь, к ним доносились уличные звуки — шарканье метлы по утрам, обрывки слов, шаги, скрип проезжающих телег и пролет лихачей.

— Вот так всегда,— вздыхал Клеменц,— мы — здесь, жизнь — там. Эх, не знаем мы своего народа. Не знаем...

— С некоторых пор мне кажется, что мы слишком доверяем эмоциям. А слишком доверяя, мы можем сильно ошибиться.

— В чем ошибиться? Разве вы не видите, в какие условия поставлен русский образованный человек? Между ним и народом пропасть, крепостной ров, залитый ледяной водой. И правительство специально углубляет этот ров, шире его делает... Интеллигент — самый внутренний враг. Самый из всех! Пострашней Англии, пострашней Австрии...

— Но готова ли Россия к революции? Сегодня? Завтра? Сейчас? Вот в чем вопрос, Дмитрий Александрович.

— Вера Ивановна, может быть, мы и ошибаемся в мелочах. Сегодня, завтра — не знаю! Но в главном мы правы. Время требует перемен. Дальше так продолжаться не может.

Ей было тем более интересно разговаривать с Клеменцом, что перед ней собственной персоной сидел один из самых видных идеологов хождения в народ, движения, которое понять может только русский, ибо истоки его надо искать в радищевском отчаянном вопле: «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем...» Это надо возвращаться к декабристам, блестящим офицерам, молодым, благополучным, вышедшим на заснеженную площадь под барабаны и под шрапнель, чтобы лишиться всех своих дворянских привилегий, всех чинов и самой свободы! Как понять такое, если современник тех декабрьских событий многоопытный царедворец граф Федор Васильевич Ростопчин — и при Павле служивший, и при Александре,— сторонник партизанской войны, по мнению французов, главный виновник пожара Москвы, ничего не мог понять, говорил в недоумении: «У нас все делается наизнанку... В 1789 году французская чернь хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого,— это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегии,— тут смысла нет!»

Слишком много значил для русского молодого человека, мечтающего о настоящем деле, простой мужик. Мужик был страдалец, вечный труженик в стихах и термин в спорах. Экономических, социальных, политических, нравственных... Мужиком любовались, мужик нес на своих плечах всех и вся, ему признавались в самозабвенной любви и шли к нему, забитому и безграмотному, «за исцелением душевных мук», как писал Глеб Успенский.

Одни шли в народ, потому что считали грехом пользоваться благами жизни, когда мужик мучается в нищете. Другие шли посмотреть, как он выглядит, простой народ. Были и такие, которые верили, что можно создать из крестьян отряд и стать предводителем благородных разбойников, как Дубровский. Шли за приключениями. Шли, потому что обрыдла сытая жизнь в обмане, в лживых

условностях с нелюбимыми женщинами, с прижимистыми родителями, с дядюшками, с тетушками, не видящими задач сегодняшнего дня, шли, полюбив, бросив мужа, нудного учителя гимназии, как Маруся Ковалевская, подруга Мишки, бунтарского атамапа, шли, чтобы вырваться из законов прогнившего насквозь общества, встать над ним, над его буднями и масштабамп ценностей.

Были средп них люди серьезные, селились в деревне, работалп фельдшерами, волостными писарями, акушерами, учптелями... Были чудаки, были герои.

В Москве зашел как-то Клеменц к одпому знакомому радикалу, и тот начал жаловаться, что барышни-де одолели совершепно, всем доставай фальшивые паспорта, все они хотят идтп в парод! И только закончил приятель свою жалобу, как дверь отворяется и входит. Одна. На лице явно написано, что она несет в себе мысли против верховной власти, презирает и ненавидит. А сама тонюсенькая, ручки беленькие, из чего щи варятся, спроси — не скажет. «Вы уж не за паспортом ли?» — поинтересовался приятель Клеменца. «Да,— ответила барышня решительно, и на глазах ее навернулись слезы,— я готова! Но я не знаю, господа, какой взять. Наверное, мне нужен паспорт солдаткп...»

— Ту барышню мы отговорили брать чужой паспорт,— вспоминал Клеменц.— Посоветовали ей поехать в деревню к знакомым. Там и учитесь, милая. Ходите на работу с деревенскими девушками. Вас признают простой и доброй барышней. От крестьян вы узнаете, как онп живут, и потом, изведав свои силы на практике, сами решите, сможете ли вы нести тяготу деревенской страды... Барышня задумалась, поблагодарила и ушла.

— Это была умненькая барышня.

— Пожалуй. Другие обычно кричали на приятеля, бранили, называли реакционером. Любят у нас все доводить до абсурда.

Вера Ивановна смеялась, слушая Клеменца, но особенно запомнился ей случай с одним господином, служившим по инженерному ведомству и вдруг тоже решившему пойти в народ. Клеменц того господина знал преотлично и всю его историю исполнял, как актер.

«Сижу, пью чай» — так начиналась та история, и сразу же хотелось смеяться. Но от первого лица все это мог рассказывать только Клеменц!

Тот господин, служивший по инженерному ведомству, сидел утром у себя на Петербургской стороне, пил чай и размышлял о страданиях простого народа. Размышлял, размышлял, затем, не говоря ни слова своей кухарке, толстой девке Палашке, в прошлом году выписанной из псковской деревни и с некоторых пор имевшей большую власть над своим барином, взял саквояж, побежал на вокзал и там купил билет до Новгорода.

В вагонном окне проплывали любимые до боли, родные леса, перелески, на станционных платформах бабы торговали крутыми яйцами, молоком, отварным картофелем в деревянных мисках, прикрытых холстинками. По раскисшим проселкам тянулись обозы, милые коровы паслись на лугах, и все это выжимало у господина, служившего по инженерному ведомству, сыновнюю слезу умиления. Он сидел, хлюпал носом и прикидывал, на какой станции сойти. У него вообще давно была такая мечта — плюнуть на все, сесть в поезд и поехать, поехать куда глаза глядят, хоть в Америку, на край света, честное слово!

Наконец увидел он станцию, тихую и до слез печальную в закатном свете, взял свой саквояж и пошел в деревню, раскинувшуюся в полях за полосатым станционным шлагбаумом.

Заглянул в деревенский трактир. Сел в угол. Заказал чаю. Было воскресенье, и народу в трактире много. Самое подходящее время начать пропаганду, подумал господин, служивший по инженерному ведомству, и начал. Начал,

понятно, с атмосферного электричества. Тут один из посетителей попросил его написать прошение. Он написал, от вознаграждения отказался и за водку расплатился сам.

— Скажи, милый человек, кто ты такой, как тебя зовут, как величают? — спросил благодарный крестьянин.

— Зовите меня Владимиром,— отвечал инженер.

Из трактира он вышел на большую дорогу и, вдыхая целебный деревенский воздух, размышлял о социальных несправедливостях, и так это его разбередило, что повстречавшейся старушке, страдающей ревматизмом, дал три рубля и, когда старая, кланяясь, просила сказать, за кого же теперь ей молиться богу, опять скромно назвал себя Владимиром.

Ночевал он во второй деревне, обедал в третьей, там его и застала новость, что бродит по округе... великий князь Владимир Александрович! Путешественник толком ничего не выяснил, потому что в четвертой деревне его арестовали и за казенный счет незамедлительно доставили к Цепному мосту. Там, уже знакомый со всеми тяготами народной жизни, инженер совершенно распоясался и начал говорить вещи противуправительственные. Бил кулаком по краю стола, называл жандармов опричниками. Но странное дело, среди тех жандармов — некоторые были в военном, некоторые в штатском — было одно лицо, которое толкнуло инженера в бок и силой вывело в коридор. «Володька, ты с ума сошел!» — прошипело оно и приказало швейцару отвести его домой, и вроде бы было в нем что-то знакомое, но, что именно, инженер, находившийся в сильном возбуждении, не понял.

На следующий день, явившись в свое ведомство, сел он за стол, и вот чудеса, тот жандарм, который спас его, сидел напротив и как ни в чем не бывало теребил костяшки на счетах. Это был старый сослуживец. Захотелось его спросить, что он делал тогда в логове, в террариуме подлых гадов у Цепного моста, но сосед приложил палец к губам,

сделал тсс... И так делал каждый раз, когда казалось, что инженер хочет задать ему этот вопрос.

Много лет спустя она написала: «...к бедным сперва поневоле, с горькой обидой, потом чуть не с гордостью себя причисляла...» Но тогда, в тихой докторской квартире, они говорили, что в стране, раз и навсегда разделенной на бар и на простой люд, есть граница, переступить которую не имеет права никто. Не дано ее переступать, хоть семь пядей у тебя во лбу! Мы бедные, и мы гордимся, что мы бедные! Это свидетельство нашей честности и благородства.

Некий английский капитан, вернувшись из Петербурга в Лондон, рассказывал своему адмиралу, как кутили на Невском гвардейские русские офицеры. Шампанское текло рекой, в мороз подавали свежую клубнику и ананасы, но не это поразило капитана. Его потрясли песни, которые пели хором все эти, несомненно, воспитанные люди хорошего рождения. «Богатейшие и знатнейшие джентльмены, они пели разбойничьи песни! — удивлялся англичанин.— Они пели, сэр, о том, что все несправедливо устроено, надо отнять у богатых их богатство, и все это совершить темной ночью, в сложных погодных условиях, с отточенными ножами и заряженными револьверами. Но если б вы слышали, сэр, как это самозабвенно! Совершенно непонятная страна...»

«Ура!» — кричали в Москве и в Питере в феврале 1861 года. Наконец-то свершилось. Россия выходила на простор и уже не бешеной тройкой должна была нестись по столбовой дороге прогресса, а двигаться кораблем, но не рабской галерой с надсмотрщиками и потными гребцами, прикованными к веслам уральским железом. Отныне Русь как гордый пароход, в недрах которого гудит маши-

па, на мостике — просвещенный капитан, а матросы расторопны и сметливы, не рабы, но наперсники того верховного капитана, счастливы, потому что знают, куда плывут.

Реформа свершилась, мужик получил свободу, но что значила для мужика свобода при малоземелье, при высоких выплатных платежах. За все надо было платить! Помещику, царю, попу, исправнику... И опять там наверху жирели в тупой сытости и разврате, им было хорошо, а всем остальным плохо. Одно барство заменялось другим. «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» — вот второй проклятый вопрос, с которого тоже начинало ее поколение.

Приходил Алешка Оболешев, сообщал новости. Разговор постепенно принимал определенное направление.

— Переловят вас всех, как котят слепых,— кричал Алешка. Он был за строгую конспирацию.

— Почему нас должны переловить? Троглодиты вы эдакие! — сердился Клеменц.— Для вас главное спрятаться, создаете шифры разные, маскируетесь! Вопрос о народе, о поднятии инициативы среди него, вопрос о самодвижущейся партии — все это для вас трын-трава!

«А для вас? А для нас?» Она не выдерживала:

— Господа, стоит ли так горячиться?

— Ход вещей за нас, интересы масс за нас — вот основа нашей веры! Со старой кружковщиной пора покончить. Партия нужна, партия...— настаивал Клеменц, расхаживая по комнате.

— А кто доказал, что мужик за вас? — негодовал Алешка.— Ну, добьемся мы Учредительного собрания или Земского собора, кто сказал, что крестьяне наши пошлют от себя социалистов?

— Миленький ты мой, эдак можно черное белым назвать! Наш мужик — социалист по сути своей!

— Черное белым назвать нельзя, это объективно. Ты мне все-таки докажи, что мужик — социалист.

— Стыдись, Оболешев!

Они с Машей в этих спорах участия не принимали. Маша стояла на том, что задача не меняется, надо воспитывать народ на фактах вооруженной борьбы. И она сказала ей как-то шепотом:

— Маша, очень трудно стрелять... Ты даже не представляешь, что потом...

— Кто-то должен взять это на себя! Нельзя распускаться, мать. Подумаешь, плакал кто-то за стеной. Тебе это показалось. Да и не сын Трепова к тебе вошел тогда. Ну а если б и сын? Он такой же подлец, как и его родитель. Сын тюремщика не может быть благородным человеком. Яблоко от яблони...

— Маша, а что, если все начнут стрелять? Если стрельба станет модой, единственным средством, что будет? Ты подумай...

— Надо уничтожить этот строй, а что будет потом — не наше дело. Мы не должны об этом думать, это отвлекает от борьбы. Пусть следующее поколение, которое народится, думает. Надо уничтожить тюремщика и вешателя и доносчика жандармского. И сыну тюремщика тоже нет пощады. Это диалектика борьбы!

Иногда подмимался к ним наверх и сам доктор Веймар, садился в кресло, удивлялся:

— Вы, я вижу, устроились здесь, что Осман-паша в Плевне. А ежели полиция нагрянет?

— Я буду стрелять,— ответила Маша решительно.— Пусть они знают, что мы не слепые котята!

— Я тоже, пожалуй, стрельну парочку раз, только не припомню, кому я свой револьвер отдал,— усмехнулся доктор.— Право, Эдинька, ты не знаешь, где мой револьвер? Прелестный такой револьвер. Агромадный... Для медвежьей охоты.

— Где Варвар, там и револьвер,— тихим голосом отвечал Эдинька.

— Ох, Варвар, Варвар, вороной конь! Сейчас бы выехать верхом — да в степь. Эх, ненаглядные, пошли домой, к погосту ближе! — Алешка вскочил с места, кинул на пол мятую политехническую фуражку и, пройдя по комнате вприсядку, потребовал тишины, а это значило, что он хочет петь.

— Степь да степь кругом,— начал Алешка густым баритоном, и все подхватили слова песни про того ямщика, который замерзал далеко от дома, от человеческого жилья, в снегу, под свист пурги, как те, кто шел в народ, чтобы рассказать правду, научить любить свободу и поднять на борьбу. Те тоже замерзали.

Вера Ивановна не любила этой песни. Ей не нравились слова. Как же мог замерзать ямщик, когда рядом был товарищ? И почему товарищ не отдал ему свой тулуп, не отогрел, не разжег костер, а сидел и выслушивал в бездействии последнюю волю замерзающего.

— Молодцы! — радовался доктор.— Господа, какую бы вам услугу еще оказать?.. Хоть бы кто из вас, любезные вы мои гости, ногу поломал или какую другую конечность. Милости прошу к доктору Веймару. Бесплатное лечение и полный при этом комфорт!

— Мы если что и сломаем, то основание черепа или, попросту говоря, шею,— мрачно пошутил Алешка, и она запомнила эту его странную шутку, и, когда через полгода его арестовали, она все боялась — а что, если повесят? Но его не повесили, хотя и приговорили к смертной казни, а как Алешка попал в Петропавловку, это особая история из другой главы...

Вскоре пришло известие от злыдней. Злыднями они с Машей называли Дейча и Стефановича. Только они. Все друзья одного называли Львом, другого Яковом или кличками — Женька и Дмитро, но уж так пошло, они с Машей называли их хлопцами или — чаще — злыднями и на юге в бунтарстве, и в Питере, когда собирали тысячу рублей

для организации их побега. Злыдни сидели в киевской тюрьме, шло следствие или уже закончилось. И побег еще не состоялся, но вроде бы Маша узнала, что Михайло Фроленко сумел-таки проникнуть в тюрьму и устроился там в надзиратели...

У доктора Веймара жила она в ожидании приезда какого-то Зунделевича, или просто Зунда, уже известного революционера и своего парня, душа нараспашку, который должен был перевести ее через границу. У Зунда были свои тайные тропы, он и транспорты с литературой и людей переправлял беспрепятственно.

Проходили дни, за глухо зашторенными окнами привычно и скучно жил Петербург. Каждое утро Единька приносил в офицерских судках трактирную еду — перловый суп с грибами или щи, биточки с гречневой кашей, а событий все не было и не было, баррикад на улицах не строили, и не слышно было, чтобы где-то бунтовало возмущенное крестьянство.

Все так же, по своим законам, свершалась обрыдлая российская жизнь, серое утро вставало над Петербургом, а на Сахалин наплывала влажная ночь, каторжные укладывались на нары, гремели кандальные цепи, в плошке чадил фитиль... «Слу-шай! — кричали караульные солдаты. — Слу-шай!..» Байкальские рыбаки под ветром штопали на берегу сети; в уральских шахтах сияли в карбидном ослепительном свете изумруды и аметисты; пыльное солнце поднималось над Варшавой; в Гельсингфорсе пахло морем и каминным дымом; Сибирским великим трактом летела, неслась, заливаясь колокольчиком, государева почта, форейтор трубил в медный рожок: «Сторонись! Эх, залетные...»

Жизнь шла за окном. За стеной не было связи с этой настоящей жизнью, были только разговоры. Слова, слова...

Клеменц доказывал, что на некоторое время ей следует уехать. Во-первых, ее ищут и, не дай бог, найдут, а во-

вторых, после всего, что произошло с ней — выстрел, суд, оправдание, свобода,— ей просто необходимо отдохнуть, побывать в новых местах, посмотреть на новых людей.

Клеменцу нужно было ехать в Швейцарию по партийным и семейным делам. В Швейцарии его ждала жена. Кто-то рассказал по секрету, что жена Клеменца — Анка Эпштейн. Ее отец, Михаил Эпштейн, контрабандист, гроза границы и богач, умер, оставив дочери все связи, так необходимые в его деле, и многотысячное состояние, но брак скрывается от матери, поскольку верующая старушка поставила условием, что дочка ни в коем случае не выйдет за русского. То, что Клеменц наполовину был немцем, дела не меняло.

— Поедем вместе, а? Поедем, Вера Ивановна...— настаивал Клеменц.— Пошляемся по тамошним горам, по Альпам. Круто не круто, а лезь, мил человек... Вот приедет Зунд...

Зунделевич приехал вместе с Сергеем Кравчинским.

В одно прекрасное утро они предстали перед ней, бородатые, возбужденные, радостные, только что с вокзала.

Зунд был ровесником Оболешева, но выглядел много старше, солиднее. Черный, шумный, с круглыми карими глазами, он являл собой образ мелочного еврейского торговца и совершенно был не похож на контрабандиста, вступавшего в перестрелки с таможенной стражей и много раз рисковавшего жизнью. Внешне он годился только для малых, тихих дел. Стеклами для керосиновых ламп такому торговать или пуговицами. Но стоило побыть рядом с Зундом совсем немного, как вдруг само собой выяснялось, что энергии в нем на десятерых молодцов, и видел он в жизни многое и многое прочитал, и понимает он к тому же немало и готов к настоящему делу.

О Кравчинском она слышала, но видела первый раз. Высокого роста, широкий в плечах, курчавый, он смотрел на нее восторженно, и первое время ей было трудно с ним

именно из-за этой восторженности. Тоже, между прочим, радость, когда на тебя глядят, как мальчишка на пряник! Она этого терпеть не могла. К тому же сразу после ее выстрела Сергей написал панегирик в ее честь и опубликовал за полной своей подписью в «Общине».

«Героиня! Для тебя пишу я эти строки!.. Весь мир гремит славою твоего подвига...»

Вот так и рождается генеральство! Все с восторгов! И бороться надо начинать не с других, а с себя самого в первую голову.

«Отдаленное потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое, тебе воспоет свою хвалебную песнь, потому что в ряду тех подвигов, которыми куплено будет его счастье, твой — один из величайших...— писал Кравчинский.— Бессмертная в истории, ты будешь бессмертна и в поэзии, потому что не одного великого поэта вдохновит твой чудесный образ!»

Ну как? Каково читать про себя такое? Один раз, второй, третий... Господи, укрепи силы мои! И еще мысль у нее тогда мелькнула: неужто Сергей и сам стрелять собрался? И она почему-то очень застеснялась этой мысли...

— Ну, други, как живете, как можете? Как настроеньице? — спрашивал Сергей, расхаживая по комнате.

— Да ничего, живем, хлеб жуем.

— Ждать уж недолго осталось! Труба зовет!

— Пожарная...

— Остроумец! Мало нас, это верно, но от копеечной свечи Москва сгорела, а мы бросаем в сердце матушки-России целую головню!

Он разговаривал и смотрел в окно, потому что давно не видел Петербурга и соскучился, а, проходя мимо шкафа, потрогал угол, постучал по нему согнутым пальцем: интересно было ему, какой звук. Еще он украдкой посмотрел на нее, оценивая, совпадает ли созданный им образ с оригиналом. Он сразу делал несколько дел. Энергия в нем била через край!

Накануне она с Клеменцом съехала от доктора Веймара. Возникло ощущение, что за ними следят. Замаячили на углу какие-то подозрительные тени. Посоветовались с Алешкой. Он задумался, вроде как вслушиваясь в себя, помолчал, затем сказал — пора! Им предоставил кров некто Николай Алексеевич Грибоедов, однофамилец великого поэта и, кажется, даже какой-то его отдаленный родственник, что-то он им рассказывал об этом, когда распивали бутылочку за счастливое новоселье.

Но не в этом дело. Когда-то Грибоедов был «чайковцем», но давно отошел от движения, устроился служить на железную дорогу, нашел тихую должность и хоть над радикалами посмеивался, но при любой возможности старался им помогать и в квартиру к себе пускал сразу же по первой просьбе.

— Хозяин, а не слишком ли место у тебя открытое? — заглядывая в окно, спрашивал Сергей.

— Обойдешься.

— А ежели?

— Ежели обыск, то с утра дворник наш Пахом трезвый стоит на панели. Стоит и глаза таращит, что сова, это сразу и видать. А полиция, она к вечеру прибывает. Время есть, черный ход к вашим услугам, господа.

— Фастаешь, хозяин!

Это у них было такое словечко, у радикалов,— «фастаешь», свой сленг. Но самое интересное заключалось в том, что Грибоедов и не думал хвастать! У него часто бывали обыски, но все без результатов: гости успевали уйти заблаговременно, и ничего компрометирующего не находилось. А на столе между тем появлялись бутылка водочки и селедочка с вареной картошечкой, зеленый лучок из ноздрей торчал. Тихо все. Самовар посапывал. Чины полиции, крякнув, сокрушались: «Вот ежели бы да все, да с пониманием, как вы! О чем речь... А то иные как начнут, как поедут... Обзываются по-всякому, шумят, руками махают,

сердятся, точно мы по своей воле рыскаем ночами, креста на нас нет».

— Фастаешь,— хохотал Сергей, по-детски закидывая курчавую голову, радостно ему было, счастливо,— фастаешь, хозяин!

Он приехал домой делать революцию. Издалека последние события воспринимались как предвестие всенародного бунта, и друзья не могли удержать его в Швейцарии, да и не удерживали! В России назревало что-то огромное.

Жихаревский процесс, чигиринское дело, выстрел в Трепова, демонстрация у суда и решение присяжных оправдать ее, поднявшую оружие за друзей своих,— разве все это не было подтверждением наличия революционной ситуации? Сергей считал, что надо показать пример мужественной борьбы, который никогда не пропадет для порабощенной страны. Надо возвратить русским людям самоуважение, спасти честь русского имени, которое считается синонимом раба. Сергей Кравчинский ждал своего часа со времен хождения в народ. Четыре года прошло, и вот зашевелилась Русь! Началось, началось...

В народ он ходил на пару с верным другом Митькой Рогачевым, тоже отставным артиллерии поручиком, пропагатором и нигилистом. Ходили по селам и деревням оба в сермягах, месили грязь на проселках, пили чай в закоптелых деревенских трактирах, а заодно замечали все господствующие над местностью высоты: выбирали позиции для артиллерии, ибо нужно же было знать заранее, куда ставить батареи.

Они были здоровые ребята, их охотно принимали в плотницкие артели пильщиками. Сила есть, ума не надо, и они, молодые, широкогрудые, старались вовсю. Днем работали, а по вечерам, когда артель, поужинав, собиралась в кружок покурить да посудачить о том о сем, пускали пропаганду.

Кравчинский еще и писал пропагандистские книжки. Некоторые она читала. «Из огня да в полымя!..», была такая, в ней он доказывал, что российский мужик из огня крепостной зависимости, как кур во щи, попал в страшное полымя капиталистической кабалы. И еще запомнилась «Сказка о Мудрице Наумовне», в которой Сергей пытался донести до того же серого мужика основы экономического учения Карла Маркса, и чтоб мужик мог легко разобраться, о чем речь, Карл Маркс был представлен в образе старца Наума, первый том «Капитала» был его дочерью Мудрицей, отсюда и название всей сказки «Мудрица Наумовна».

Мужики охотно слушали крамольные речи двух трудолюбивых пильщиков, да еще поддакивали, да еще примеры приводили совершенной невозможности крестьянского житья. Одолели, ироды... Слезьми моемся, топору молимся: один кормилец! Оба друга радовались: вон оно как, дело-то народное, идет, продвигается, но вскоре об их беседах узнал господин исправник и приказал злоумышленников заарестовать и доставить в волостное правление.

Их арестовали сами же артельщики. Приказ исполнили не мешкая, оставили работу и повезли обоих к начальству под караулом. По пути пропагаторы взывали к мужицкой совести, так и эдак поворачивали: «Пахом, Михайла, да вы что, ребята?..», но все напрасно. Мужики, еще вчера так охотно слушавшие их речи и поддакивающие, чесали бороды: «Мы ентому не обученные, как есть ни разу неграмотные» — и караула не снимали. В тот же день в каком-то тихом селе, в заезжей тараканьей избе, решено было бежать.

Мужички улеглись на полу, караульщики — у порога, пропагаторы — на лавках. Путь прошли не короткий, ужин был сытный, да еще с водочкой. Усталые, все заснули, и оба друга, тихо выставив окно, дали деру.

Бежали всю ночь. Подвертывали ноги в колдобинах, и страшная выпь кричала им вслед, с хрустом ломала ветки, перелетая с дерева на дерево, а они бежали, задыхаясь, мимо выбранных ими артиллерийских позиций, мимо темных сел, угадываемых по собачьему лаю. Мокрым утром в серых рассветных сумерках друзья оказались в безопасности, благо места кругом были уже знакомы.

Первая неудача не сломила Сергея. Все это только добавило ему твердости, и, когда началось восстание в Герцеговине против турецких поработителей, он оказывается там! А еще через год он в Италии, у подножия туманных Матезских гор. Там вместе с новыми друзьями, сподвижниками Гарибальди, Кравчинский берется за оружие в защиту итальянских крестьян. Его арестовывают и помещают в тюрьму с шикарным названием — Санта Мария Капуа Ветере, и кончить бы Сергею молодую жизнь на эшафоте под жарким солнцем далекой Италии, но 9 января 1878 года умирает король Виктор-Эммануил, а наследник престола новый король Умберто объявляет амнистию. Ворота Санта Марии Капуа Ветере со скрипом открываются, и вот она — свобода! Свобода! Свобода!

В Питер Сергей приехал с паспортом на имя князя Владимира Ивановича Джандиерова. Не бог весть какая фамилия, но все-таки князь. Саша Малиновская талантливая была художница, а любитель конспирации Алешка Оболешев здорово разбирался во всех паспортных тонкостях, за что и называли его хозяином или начальником небесной канцелярии, так что Сергей мог не волноваться.

— Милый князь, вы прекрасно выглядите,— говорил Клеменц и смотрел на своего пылкого друга с нежностью.

— Да вы ничего не понимаете, честное слово! — сердился Кравчинский.— В трех соснах заблудились. А ну взгляните в корень явлений!

— Глядим.

— Очень стараемся, ну?

— Вся Европа шумит, что Россия накануне подлинной революции! Неужто непонятно, что оправдание Веры Ивановны — это всенародное осуждение самодержавия!

— Все так, но почему всенародное? — любопытствовал Грибоедов, хитро щуря глаз.— Ваша беда, что вы желаемое выдаете за действительное, а неугодные вам факты отбрасываете, будто их вовсе и нет!

— Умник.

— А что? Я про народ спросил.

— Чигиринский заговор вспомни! Народ готов!

— Чигиринский заговор!

— Тише, не надо так громко.

— Ребята, в самом деле, зачем столько сердца?

— Он не верит в народ, так что прикажете — ему объяснять?

— Верит он, верит, он про чигиринский заговор говорит.

— Точно! Сережа, друг милый, разгромлены чигиринцы. Никого не осталось. Ровным счетом никого, правде в глаза взгляни! Дейч в тюрьме, Стефанович в тюрьме...

— Каторга им обеспечена. А может, и того хуже.

— Глубже глядите! Да не проговорись тогда тот дружинник в пьяном-то состоянии, так, глядишь, в дружине набралось бы тысяч с десять, а это сила. Десять тысяч вооруженных людей, спаянных одной идеей...

Она молча сидела на кушетке, курила, слушала и пугалась. Господи, неужто я такой старой стала, сижу, как старшая сестра, как мудрая бабушка, вяжу чулок и слушаю, и люблю, и жалко до слез, и сказать ничего не могу, потому что сама не знаю, что говорить, а просто так на пустом месте спорить уже нет ни сил, ни желания.

Она уходила к себе в маленькую каморку, где раньше жила прислуга, с головой накрывалась одеялом. Из соседней комнаты до нее долетали слова, и она засыпала

не сразу, все курила в постели, стряхивала пепел в блюдце на полу и думала о том, что же будет дальше.

Как-то в один из этих дней она скажет Кравчинскому:

— Если бы я была осуждена, то по силе вещей не могла бы ничего делать и была бы спокойна, потому что сознание, что я сделала для дела все, что только могла, было бы мне удовлетворением. Но теперь, раз я свободна, нужно снова искать, а найти так трудно.

Перед самым отъездом — уже и срок был назначен, и документы Саша принесла, и билеты на поезд купили — она проснулась среди ночи. Непонятно отчего. Вздрогнула во сне, как от выстрела.

Было темно, в соседней комнате горела лампа, и под дверью светилась узкая желтая щель.

— Я сам убью его! — донесся голос Кравчинского.— Я вызову его на дуэль и встречу лицом к лицу, предупредив заранее!

— Сережа, какая дуэль? О чем ты? — устало проговорил Клеменц.— Он не примет твоих условий.

— Революционер должен быть горд как сатана!

— Как сатана... Это, Сережа, субъективно. Это личное дело революционера.

— Нас обвиняют в трусости! В том, что мы действуем исподтишка.

— Если ты знаешь, что храбр, то почему это тебя задевает,— добродушно засмеялся Алешка. Умный мальчик!

— Нас обвиняют враги, будто мы трусливы и в средствах неразборчивы. Нам надо выйти с открытым забралом. Я остановлю его на улице и заставлю драться по всем правилам. Я тоже дворянин, если на то пошло!

— Плевал он на твое дворянство. И учти, он, между прочим, в Преображенском полку служил, оружия на своем веку видел достаточно и стреляет не хуже тебя. А может, и лучше.

— Мы должны вершить над виновниками и распорядителями всех свирепостей, которые совершаются над нами, свой суд, суд справедливый, как те идеи, которые мы защищаем, и страшный, как те условия, в которые нас поставило само правительство!

— И это приблизит конституцию, которая узаконит эксплуатацию простого народа. Россия станет конституционной монархией, дождетесь!

— Буржуазная республика для нас хуже самодержавия, она умней,— сказал Клеменц.

— И омерзительней!

Нетерпимость к хамству! Ненавистно им было гладкое купеческое мурло. Видеть спокойно не могли. Кровь кипела у них от купеческой наглости, от купеческого куража и разгулов. А как издевались эти российские буржуа над простым народом! Как драли шкуру со своих работников! И как хамски-высокомерно эти вчерашние деревенские кулаки, лебезившие перед пьяно икающим волостным писарем, разговаривали с образованными людьми...

— Я считаю, что этот шаг,— долетал до нее энергичный голос Алешки,— повлечет за собой увлечение террористической направленностью. А это может изменить весь ход движения. Надо сообщать народу правду, а не стрелять.

— Так отчего ж за нами, сообщающими народу эту самую дорогую для него правду, идут отдельные личности из народа, а не весь народ? Почему?

— Да потому, что вы хотите все сделать в мгновение, а нужны годы! Годы, дорогой князь.

— Благодарю вас, господин Сабуров,— это Сергей вспомнил, что Алешка живет по паспорту техника Сабурова и, чтоб язвительней получилось, добавил: — Беда, когда техники начинают судить о широких вопросах. С борьбой против основ существующего порядка терроризация не имеет ничего общего. Террористы — это не более как охра-

нительный отряд, назначение которого — оберегать наших товарищей от предательских ударов врага. Хватит издеваться над нами и лишать нас всякой возможности работы в народе. Революционер должен быть горд как сатана! — И чего ему сдался этот сатана! — Если он откажется принять условия дуэли на месте, я зарежу его! Как шакала!

— А ножичек хороший. Ух ты, какой красивенький... Небось у итальянских разбойничков есть и покрасивше...

— Если на то пошло, Алешка, я ударю его этим кинжалом! Это оружие смелых...

— Итальянских разбойников. Они мастера из-за угла, а ты только что толковал о смелости. О борьбе с открытым забралом...

— Я должен отомстить ему! Неужели все подлости, которые он творит, останутся безнаказанными! Сотни ссыльных, битком набитые централы... Ненависть к нам...— Она догадалась, что речь идет о шефе жандармов генерале Мезенцеве.— Я убью его как бешеную собаку!

— Подумай хорошенько... Сережка, надо ли?

Она откинула одеяло, села на кровати, опустив ноги.

Было душно. В углу за чемоданами скреблась мышь, смутно белела в темноте белая кафельная печка. Господи, о чем он, кого он убивать собрался и что это убийство даст? Или мало ему дней, проведенных в тюрьме Санта Мария Капуа Ветере, мало... Милый, милый мальчик, брат мой, совесть моя и боль, или я больше тебя понимаю, прости, но прав ли ты, задумайся еще раз... «Сергей! — хотелось ей крикнуть.— Не дело ты затеял, бесполезно убивать шефов жандармских и свирепых градоначальников, ничего это не даст для мужицкой революции». И надо было сказать ему. Крикнуть! Но она не сказала и не крикнула. Он начал бы возражать, а она тогда еще не знала, как убедить его.

15

В пятницу 4 августа 1878 года министр императорского двора граф Александр Владимирович Адлерберг получил срочную телеграмму для вручения государю, подписанную товарищем шефа жандармов генерал-лейтенантом Селиверстовым, самым красивым мужчиной Третьего отделения.

Адлерберг выплюнул мятную бомбошку, которую сосал, чтобы не курить с утра, похлопал себя по карманам, ища очки, но, поскольку очков не обнаружилось, сощурил глаза, начал читать, держа телеграмму в вытянутой руке, сразу же задрожавшей от напряжения.

«Сегодня утром в начале десятого часа,— докладывал Селиверстов,— генерал-адъютант Мезенцев во время прогулки на Михайловской площади ранен в живот в области желудка кинжалом. Убийца успел скрыться. Более подробные сведения отправлю с ближайшим 10-часовым поездом».

Министр двора белой рукой порхнул по животу, как раз по области желудка. Ему стало страшно. Он поднялся и, шаркая ревматическими ногами, обутыми в мягкие козловые сапожки, поспешил в Царскосельский парк, где в это время прогуливался государь. Лицо Адлерберга выражало полную растерянность.

Так получилось, что государь император, сняв белую конногвардейскую фуражку, как раз шел навстречу, разыскивать его не пришлось.

— Из Петербурга срочная...

— Что там, граф, с утра пораньше,— сказал государь и, едва прочитав первые слова телеграммы, побледнел.

Он судорожно глотнул воздух. Утро было тихое. На соседней дорожке, посыпанной желтым песком, садовник поливал цветы.

— Ужасно,— сказал государь, стараясь унять дрожь в руках.

Адлерберг хотел его успокоить, сказать что-нибудь соответствующее моменту, но не нашелся.

А в это время в Петербурге в мрачном доме у Цепного моста пожилой человек, отставной полковник Макаров, в который уже раз пересказывал подробности случившегося и плакал, и вместо стона из его горла вырывался страшный хрип.

Макаров сопровождал Мезенцева в обычной утренней прогулке. День был будний, постный, никаких событий не предвиделось, и они шли вдвоем неторопливым шагом по Михайловской площади.

У Николая Владимировича еще с преображенских времен сложилась такая привычка: перед службой по утрам совершать моцион. Он, совсем как император Александр II, любил ходить пешком, ценил это занятие, находя в нем вкус, а полковник Макаров, сопровождавший его, имел два бесспорных таланта: он умел слушать, а если и говорил, то непременно что-нибудь легкое, необязательное и приятное, так что Николай Владимирович мог на ходу размышлять о предстоящих государственных делах.

Они вышли на Михайловскую площадь, несколько замешкались на углу Большой Итальянской улицы, потому что панель была узкой, идти рядом бок о бок показалось затруднительно, и Макаров пропустил Мезенцева вперед. «Мерси»,— сказал Николай Владимирович, кивнув, и оглянулся. Чужой взгляд он на себе почувствовал или какой-то звук до него донесся, неизвестно. В это время как раз на него и бросился молодой человек, вполне прилично одетый. Макарову запомнился широкий лоб, очки, серое пальто. Молодой человек ударил Мезенцева кинжалом и рванулся к дрожкам, запряженным хорошей вороной лошадью. «Держи! Держи!» — закричал Макаров, замахиваясь зонтом, но другой молодой человек, в длинном синем

пальто, в черной пуховой шляпе, выстрелил в Макарова из револьвера, но почему-то промахнулся, хотя стрелял почти в упор. В двух шагах дрожки те стояли. Дожидались.

— Они в дрожки — и хóду!.. Лошадь хорошая... А Николай Владимирович повалился, весь в крови...

— Дожили, — сказал Селиверстов. — Бардак-с! Бардак-с в Датском королевстве! Дожили, господа...

— Я к Николаю Владимировичу, а он рану зажал... Он по левую руку шел, а в правой у меня зонт... А ну как дождь?.. Аглицкий манер...

— Успокойся. Бог даст, обойдется.

— Ну как же так! Как же! — стонал Макаров. — По Михайловской прошли как раз мимо дома Кочкурова, где кондитерская, там бисквиты... Амбре стоит. Николай Владимирович еще сказал, что райский запах. В раю так пахнет...

Иван Самсонович подал полковнику стакан воды. Макаров пил, зубы стучали по стеклу, он задыхался, глаза бегали, и в бегающих глазах застыл такой ужас, что смотреть было страшно, Иван Самсонович отворачивался.

Макаров сначала хотел побежать за покушавшимися и побежал, но вороной конь, бодро взяв с места, полетел стрелой — и поминай как звали. «Держи! Держи!» — крикнул Макаров, размахивая нераскрытым своим зонтом, но никого рядом не оказалось. Он кинулся к Мезенцеву. Тот сидел на панели, привалившись спиной к стене дома. «Вам больно?» — спросил Макаров, ища взглядом кого-нибудь, но никого не было. «Извозчика и домой», — приказал Мезенцев слабым голосом. Макарова поразило выражение его лица.

Так вышло, что, когда тот прилично одетый молодой человек подскочил к Николаю Владимировичу с кинжалом, Николай Владимирович повернулся к Макарову, и Макаров не увидел, но почувствовал, как в тело Мезенцева входит острое лезвие. Николай Владимирович как бы сде-

лал такое судорожное движение, словно хотел помочь тому загнать кинжал поглубже в себя,— вот они, страхи господни! — а в глазах его было недоумение. «Он ничего не понял... Я ему сюртук начал расстегивать... Люди вышли... А у него недоумение...»

Раненого Мезенцева посадили на извозчика, отвезли на квартиру, помещавшуюся в здании у Цепного моста. Срочно был вызван доктор Мамонов. Доложили государю.

— Сучье племя! — скрипел зубами Селиверстов и нервно дергал плечом.— Вот они, последствия нерешительности в действиях! Нельзя сидеть между двух стульев. Ничего не выйдет! Строгие меры!

— А лошадь вороная большой цены...— задыхаясь, продолжал Макаров и всхлипывал.— Одеты они все прилично... Тот, который в меня выстрелил...

Доктор настаивал, чтоб Макаров прилег и принял успокоительных капель, но Макаров уже не мог остановиться, он должен был двигаться, размахивать руками и рассказывать, вспоминая все новые и новые подробности случившегося, и странно: когда он говорил, было не так страшно. Делалось жутко, когда он замолкал. Во всем доме стыла мертвая тишина, только где-то поскрипывала дверь и в соседней комнате, где лежал раненый, доктор трогал свои стальные инструменты и слышно было, как льется вода.

Оттуда вышла горничная, пронесла таз, вода в тазу была розовая, а за ней появился доктор Мамонов, в одной сорочке, обвязанный по бедрам белым полотенцем, и на этом полотенце были густые красные пятна. Кровь.

Вот она, кровь Николая Владимировича, подумал Иван Самсонович, и с этой мыслью начались суета и какое-то жуткое вращение событий. Все становилось по своим местам, и рушилось, и падало, и летело в тартарары, потому что не было слов и ничего не было, одна пустота, и, как оказалось, совсем это не дверь скрипела, а тихо стонал

умирающий Мезенцев, шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения.

А потом в полковом храме горели панихидные свечи, белый гроб стоял на возвышении и в сумрачной духоте искрилась серебряная канитель на четырех тяжелых кистях по углам его последнего ложа. Мерцали цветные лампадки и камни в окладах, и строгие лики святых заволакивало седым кадильным дымом, будто по ним проходила печаль. Проходила и пропадала... И голос отца Серафима, облаченного в траур, гудел хрипло, густо: «Добрый муж... отец нежнай... домостроитель благодушный и кроткий человек... Милостивый к бедным, великодушный против врагов своих... вот титла и отличия, кои понес раб божий Николай с собою туда... в новое... вечное свое гражданство, а все прочее, все осталось на пороге могильной двери его...»

«Эх, Николай Владимирович, Николай Владимирович...— думал Иван Самсонович, стоя у белого гроба.— До нас сказано — щеголи в пехоте, пьяницы во флоте, умные в артиллерии, добрые, пусть будет так, а вообще-то говорится — глупые в кавалерии... Кто ж тогда должен служить в жандармах? Кто, если служба сия нужна отечеству? Кто? И сам себе отвечал: а в жандармах должны служить мужи государственные, и никак иначе не получается».

В день убийства четвертого же числа из Царского последовало высочайшее распоряжение бросить все наличные силы городской полиции и жандармерии на розыски шайки убийц, были проведены обыски и аресты по подозрительным адресам, но никаких следов не обнаружилось, канули те как в воду, а по городу поползли слухи, и послы иностранные сообщали своим правительствам, что убийство шефа жандармов на улице среди бела дня вызвало в русском обществе оцепенение. Дерзость злоумышленников и полная их безнаказанность толкают столичного обывателя на мысль о слабости верховной власти и силе заговор-

щиков, решившихся на такой шаг. А тут еще посыпались прокламации и стишки пошли. Ожидались волнения в университете, полковник Герц совершенно сбился с ног, докладывая: «Ваше превосходительство, Иван Самсонович, они покойного иначе как мракобесом не величают и славят убийцу в своих возмутительных опусах не иначе как национального героя, продолжателя дела Веры Засулич, триумфально оправданной судом присяжных».

А в самом деле, почему шеф жандармов — такой задается вопрос — всегда мракобес, думал Иван Самсонович на отпевании в храме и за столом на поминках, когда сослуживцы убиенного, все старые преображенцы, мало, правда, их осталось, а некоторые вовсе не пришли, сославшись кто на что, пили, чтоб пухом была Николаю Владимировичу сырая земля.

Почему шеф жандармов только мракобес и нет для него других слов? Разве должность сама по себе определяет стоимость личности? Очень Ивану Самсоновичу не хотелось, чтобы так было. Грела его мысль, что и в жандармах можно оставаться по мере сил на уровне, хотя, конечно, тайная полиция по сути своей аморальна. Но ведь, когда служишь в жандармах, внушить себе хочется, что ты не гад ползучий, не подлый соглядатай, а защитник интересов государственных! Тут надо разобраться. Выходит, Бенкендорф был мелким мракобесом, и все, и Дубельт был таким же, и вот Николай Владимирович, покойный дурачок, ничего не понимавший. Иван Самсонович соглашаться с такими выводами не хотел, сам ходил в голубых генералах, и тут он искал себе оправдания и спрашивал: как же так? Адвокат защищает убийцу, вора, растлителя малолетних, и никто не смеет оскорбить адвоката за то, что должность его такая — защищать, искать в падшем человеке остатки человеческого и взывать к милосердию. Прокурор обвиняет, должность его такая — обвинять, стоять на страже сути и буквы закона и быть непримиримым. Разве не так?

— Иван Самсонович, сидите смирно и разрешите, я руку под вас, под спину вашу продену, а то не ровен час...— Герц прижал его к себе, приказал кучеру ехать медленней, лошадь дернула, перешла на шаг.

Сколько было выпито на тех поминках! Голова гудела, и справа, наливаясь желтым светом, качалась луна или фонарь керосиновый, не было сил взглянуть туда и определить. Фуражка съезжала набок.

Или вот доктор Мамонов, сделавший все, чтобы спасти Николая Владимировича, главного мракобеса, тоже из этого же племени жандармского мракобесного? Ведь так старался, так старался... Ан нет, он просто доктор. К нему валом валят и либералы, и радикалы непримиримые, вот оно как сразу все меняется, когда вам больно, господа! Где ж ваша логика, милостивые государи... Существует государство, существуют жандармы. Ну назовите их иначе, что от этого меняется...

— Поправь мне фуражку, Иван Францевич, а то слетит.

— Ничего, ничего... Сейчас приедем, уже недалеко осталось,— прошептал Герц.

— Говорил я ему, не выйдет из меня российского Лекока. Это ж надо, в какую компанию определил...

Был ли Александр Христофорович Бенкендорф только негодяем? Был или не был? Об этом Иван Самсонович доподлинно судить не мог, потому что в те поры начинал в субалтернах и мало чего понимал. Да и нет ничего гаже, как если прапорщик начинает судить о делах генеральских.

Бенкендорф имел двух Георгиев за храбрость на поле брани, одним из первых вступил в Москву, выбив французский арьергард, и мракобесом в прокламациях его не называли, да и прокламаций, как таковых, в те времена вроде и не было и, как не раз повторялось в доме у Цепного моста, при образовании самого Третьего отделения

вместо инструкций Александр Христофорович получил от государя носовой платок. «Будешь утирать слезы невинно пострадавшим и незаслуженно обиженным»,— сказал Николай Павлович. На том будто бы аудиенция и кончилась.

Неоднозначно рисовался этот человек в рассказах людей, к нему близких, были в нем и неожиданные черты.

Пусть так. А как именовать Леонтия Васильевича Дубельта, принявшего Третье отделение?

Иван Самсонович в те поры служил уже в штаб-офицерах, коньяк лимоном закусывал, кое-что соображал, но, видимо, не все. Дубельта считали одни чудаком, другие — монстром. Белинского он, правда, терпеть не мог, грозился извести неистового Виссариона, не ценил таланта, но ведь у каждого свой вкус, дозвольте человеку быть при своем мнении. А вообще-то многие признавали, что образован был Леонтий Васильевич и умен до чрезвычайности. Любил на людях рассуждать о разных предметах, в частности о гармоническом устройстве России, так что, бывало, многие либеральные литераторы шалели, как овечки, слушая его, и тряслись: уж не вызывает ли на откровение лазоревый генерал, волк зубастый, а потом, глядишь, в Сибирь, с глаз подальше? Чур, не меня, чур!

Выписывая гонорар своим агентам и осведомителям, Дубельт любил употреблять число тридцать, непременно поясняя, что делает это в память о тридцати библейских сребрениках, и, проходя по длинным коридорам в доме у Цепного, цедил сквозь зубы: «У, фискалы... Шпионское племя...» Хотя, может, легенды все это. У жандармов тоже свои мифы.

Несчастная страна, думал Иван Самсонович, горе тебе, Россия, да и как быть счастливым государству, где все, кого ни возьми, заняты не своим делом! Литераторы — политикой, политики — литературой, художники в академии прокламации рисуют, господин Семирадский картину представил под названием «Светочи Нерона», и весь

Петербург валит смотреть на Нерона, который, возлежа на перламутровых носилках, глядит сытым взглядом на то, как принимают мученическую смерть первые христиане. И всем ясна аналогия: те тоже на смерть за свою правду шли, и эти идут... Вот ведь как, господа!

— Вы о чем, Иван Самсонович?

— Я? Я ни о чем... Не, не... Эх, жалко Колю, пухом ему земля. Да не тряси ты, морда окаянная, куда прешь по булыгам, холера! С краю поезжай!

— Тише, тише, тише...

Был ли он глуп, Николай Владимирович? Нет и нет! Слишком простое это объяснение. Глубже причина... Гвардией бы ему начальствовать, бригадой там или дивизией. Ведь как фронт любил! Какая выправка была! Он еще младшим офицером в полку, бывало, как выговаривал на преображенском том наречии, великосветской смеси французского и нашего матерного: «Батенька мой, трах, тах, тах, да возьмите ж вы полусаблю в плечо, а то держите ее сан фасон, ходите ноншалянман, поэтому и теню у вас никакой нет, мамашу вашу трах, перетрах, разэдак...»

Он был военным. Он был шикарным солдатом, ать, два и — в штыки, ребята, за мной вперед! Руби, коли! Но не был и не мог быть государственным мужем. Его несло по течению, он ввязался в тот кровавый аукцион, когда не молотком, но топором по плахе стучат — кто больше?!

— Кто больше?

— Сейчас, сейчас, Иван Самсонович, потерпите минуточку. Уж недолго.

Не понял ничего! И тот не понимал, а время страшное навалилось — только жихаревский процесс кончился, Засулич стреляет. Через месяц в Киеве в прокурора выстрел. Ничего себе год начался! В мае закололи на улице жандармского ротмистра барона Гейкинга, это уже война объявлена, а Николай Владимирович — выводов никаких. И когда через сутки после Гейкинга из киевской тюрьмы

один из тех молодчиков, переодевшись надзирателем, вывел на волю чигиринских заговорщиков, всех троих — Стефановича, Дейча и Бохановского, он тоже не понял, что гром уже грянул и звездочка его замигала в тумане, замигала и вот-вот погаснет. Он все только крутыми мерами хотел обойтись, военно-полевыми судами, чрезвычайным положением, централы придумал, чтоб никакого милосердия этим вонючкам, этим нашим революционерам! Черт возьми! Мать их и бабушку сгною! И ногами, ногами топал, а что от этого?.. Что от топанья? Государственный муж должен головой работать, не ногами.

В армии одни законы, а государство другими руководствуется. Что в пехоте хорошо, в кавалерии не годится порой, а в почтовом ведомстве смех может вызвать. И что же будет, если полевой устав пехотный на министерство финансов распространить? А Николай Владимирович, покойник, именно так и действовал, настоял, чтоб в Одессе пропагатора Ковальского повесили.

Отец нежный, домостроитель благородный — эко поп завернул. Лучше б сказал, что покойный не знал, с чего начинать, и не думал, что надо начинать по-иному, время требует других решений и во всеподданнейших докладах на высочайшее имя пора тревогу бить, а не усыплять монаршую бдительность обтекаемыми фразами о том, что все в общем спокойно, сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня, и, дай бог, с нами сила крестная, на века стоит Россия!

Добрым он был, злым, любил домочадцев или не любил, топал ногами на растерянного дежурного офицера, острил, как Дубельт, или проливал на людях слезы умиления, как Бенкендорф, это в данном случае никакого значения не имеет. Человек не сам по себе, человек в борьбе идей и чаяний своего века. В этом его стоимость. Красивый он, некрасивый, щедрый, скаредный — второй вопрос. Человек должен мечтать, ждать чуда. Вот главное! Крылья должны быть у человека, два крыла трепетных, чтобы однажды утром бросить все и начать сначала.

Через сто лет писать о жандармах, что морды у них были подлые, глазки свиные, не хочется и не надо. Это тогда в живой полемике того дня звучало, а через сто лет не звучит. Главное в том состояло, что они историю хотели остановить. А остановить ее нельзя. Задержать можно. На год, на два, на сорок лет... Остановить нельзя! И пусть те жандармы были образованней, чем юные радикалы, нигилисты, прокламаторы, которых они ссылали на каторгу, сажали в крепостные казематы, в рудники ссылали, но мальчики те и девочки служили великому делу, а чему служили Дубельты и Бенкендорфы? Вот уровень спора. Добрый муж, домостроитель благодушный Мезенцев во вчерашний день смотрел, а не в завтрашний и потому во веки веков причислен к племени мракобесов, которым нет и не будет оправдания.

Дует мокрый ветер с Невы, лошадь фыркает, задирает морду.

— Всех недовольных надо ссылать в Сибирь. А мужику землю дай, он на баррикады не полезет, да и откуда баррикады в сельской местности...— рассуждает Иван Самсонович.

— А девок их куда денем? — пожелал переменить тему Герц.

— Девок тоже в Сибирь. Пусть оказывают медицинское милосердие сибирским туземцам.

А что, подумал Иван Самсонович, ежели в Сибирь в необжитые места, которым ни конца ни краю нет, в необжитые пространства, на вольное поселение без права выезда?

Подъехали к дому, остановились у крыльца. От калитки, что вела в сад, метнулась тень, это ухажер кухарки Тоши возвращался со свидания. Тоша выпускала его через сад, и вечерами Иван Самсонович пару раз сталкивался с ним и посмеивался — на каждый товар свой купец, вот и на рябую Тошу нашелся.

— Держи его, держи! — Иван Самсонович хотел хлопнуть в ладоши, но не смог, большой разлет получился. Ухажер припустил вовсю. Герц рассмеялся. Кучер помог слезть. А тут на крыльцо вышел Семен, заулыбался, запричитал:

— Иван Самсонович, что ж вы с собой, батюшка родимый...

— Я усталый,— сказал Иван Самсонович.— Мы Колю провожали.— И рухнул ему на руки и затих до утра.

А утром снова рассматривали материалы об убийстве генерал-адъютанта Мезенцева, и многие удивлялись легкомысленности покойного.

Полковник Мессюра-Тарриапи 2 августа, в день казни Ковальского, в Демидовском саду раскланялся с Николаем Владимировичем и только отошел, как к нему обратился молодой человек, бородатый, курчавый, в цилиндре, сдвинутом чуть набекрень, и попросил подтвердить, действительно ли Мессюра только что здоровался с Мезенцевым. «Получив утвердительный ответ,— сообщал полковник,— неизвестный раскланялся, отошел и потом несколько раз подходил к Мезенцеву и осматривал его». Николай Владимирович, привыкший к вниманию, взглядом не удостоил бородатого, бровью не повел!

Второй свидетель, некто Греков, тихий, столичный чиновник, сообщил, что в день убийства, отправляясь в службу, по обыкновению своему, зашел в Михайловский сквер и там хотел присесть на лавочку, налево от входа, прямо против Михайловской улицы, но уже сидевший на лавочке молодой человек в светлом платье, блондин, так дерзко, так пронзительно оглядел Грекова с ног до головы, что бедный Греков в замешательстве пересел на другую скамейку. Блондин был в очках, коротко острижен, лицо имел красивое. Посидев некоторое время, он направился к Большой Итальянской, прямо к кондитерской Кочкурова. Бисквитами пахло в то утро и мокрой зеленью. А минут

через семь, Греков настаивал, что именно через семь, последовал выстрел. Это выстрелили в полковника Макарова.

В Третьем отделении, поразмыслив, решили, что красивый блондин в очках не иначе как бежавший из киевской тюрьмы государственный преступник Лев Дейч. Грекову показали фотографический снимок, после чего сделали приписку: «В карточке Льва Дейча Греков признал некоторое сходство с блондином».

Да, это был Дейч! В те же дни вдова убитого в Киеве в мае месяце жандармского штабс-капитана барона Гейкинга, знавшая Дейча в лицо и приехавшая в Петербург, видела его 31 июля, 1, 2 и 3 августа днем в Летнем саду. Дейч, видимо, следил за Мезенцевым, приходившим в Летний сад завтракать. По совету своего родственника, доктора Витте, баронесса Гейкинг пошла заявить о Дейче, но было уже поздно.

...Приближалась осень, Нева катила к морю чугунные воды, по утрам в стылой тишине дорожки Летнего сада лежали, занесенные опавшей листвой, на Невском, по-осеннему насквозь продуваемом, сыром, промозглом, срывало шляпы с прохожих, секло лица острыми каплями нескончаемого дождя, а меры, предпринимаемые Третьим отделением в видах изловления убийц генерал-адъютанта Мезенцева, не давали и не давали никаких результатов.

Государь уехал в Ливадию. Пронесся через всю Россию с севера на юг государев поезд, отмелькали за окном водокачки, шлагбаумы, обалдевшие рожи начальников станций. На сколько хватал глаз, по обе стороны пути лежали грустные поля в рыжих щетинках жнивья, леса, перелески... Государь нервничал и, прибыв в крымскую благодать, читая донесения Селиверстова, временно исполняющего дела шефа жандармов, сердился.

Селиверстов доносил, что делается решительно все возможное, делается с полнейшим рвением, но, увы, пока существенных результатов нет, однако аресты продол-

жаются... Государь выказывал свое недовольство и на террасе ливадийского дворца, читая донесения бедного Селиверстова — ох, как хотелось генералу стать главным начальником Третьего отделения! — писал на полях разборчиво, энергично: «Желал бы видеть успех».

Но август прошел и сентябрь, успеха не ожидалось, как вдруг...

Октябрьской ночью к Зимнему дворцу спешил человек в широком плаще. Он прятал лицо в воротник, ветер рвал с него тяжелую, мокрую шляпу.

Лил дождь. Желтые фонарные огни расплывались ва камнях площади. За аркой Главного штаба хлюпал по лужам конный разъезд...

Дворец спал, караульные гренадеры, вытянувшись, стояли в гулких коридорах. Ковровые дорожки были скатаны и люстры зачехлены. В отсутствие государя делался кой-какой легкий ремонт.

Человек в плаще, оглядываясь по сторонам, подошел к тому дворцовому углу, где висел железный тяжелый ящик, в который можно было опускать письма на имя государя. Письмо гулко ударилось о железное дно.

Утром чуть свет фельдъегерь помчится в Ливадию, и государь будет читать аккуратные строчки, тогда, наверное, более яркие, а теперь почти совсем выцветшие, все-таки сто лет прошло.

«Близ царскосельского вокзала в доме Сивкова проживает некто девица Малиновская, которая выдает себя за художника, занимаясь раскрашиванием фотографических карточек. На каковом основании пользуется правом иметь открытую дверь для всех и каждого. Сама лично дыша злобою против власти (по собственному ее выражению, «в память отца своего родного, заклятого врага правительству»), принимает у себя всех возмутителей порядка и строя общественного. И вот у ней-то и проживает убийца генерал-адъютанта Мезенцева, носящий фамилию Кравчинский».

Кто был автором этого письма, адресованного «Его императорскому величеству. В собственные руки», неизвестно. Ни жандармы не узнали его имени, ни те, кого он выдал. Он выдавал не за деньги, не по профессии, будучи сыщиком или платным агентом собственной его императорского величества канцелярии, он выдавал по убеждению. Из идейных, так сказать, соображений, и до нашего дня имя его неведомо.

Может, он мстил Саше Малиновской? Или был он родственником, беседовал с той бабусей, которая так не нравилась Михайле Фроленко, и вот с ее слов он и написал? Или был он молодым человеком, нигилистом, радикалом, рвался в движение, «я научу вас свободу любить» пел, а потом разуверился? Ничего не известно! Сто лет прошло. Но был доносчик. Предал и, опустив письмо в ящик на стене Зимнего дворца, поспешил домой.

О чем он думал, засыпая в ту ночь? Радостно ему было, что сведены счеты, что, может, уже завтра его недруги будут арестованы, в тюрьмы их повезут, судить будут, грозить смертью?..

А может, снился ему сам государь Александр Николаевич, самодержец всероссийский, раннее утро, только-только солнце купола соседние отзолотило, сидит государь в голубом халате, читает царице письмо, и верные генералы, хмуро сдвинув брови, стоят навытяжку у стены.

А затем все будет прекрасно, думал доносчик и жалел, что не указал своей фамилии, ведь дал же государь Осипу Комиссарову, отстранившему руку безумного Каракозова, дворянство, мог и его наградить. Пусть вчерашние друзья пойдут на каторгу, это доносчика не тревожило. У него сохранился черновик доноса, он его припрятал и, как вернулся, озябший, с площади, сразу и сунул в стол — это если государь начнет разыскивать, кто писал, он тут незамедлительно и объявится: вот он я, принципиальный враг крамолы. Ведь в Третьем отделении сразу должны

были понять, что донос писал не купчишка-бакалейщик, не трактирщик — морда блинная, а интеллигентный, образованный человек. Правда, в первых строках он позволяет себе изменить свой почерк, подделывается под простачка, стесняется, что подлость делает, но это вначале, потом все становится на место. Предать первый раз тяжело, а затем — как по маслу...

Из агентурных сведений в Третьем отделении стало известно, что дочь капитана девица Вера Засулич вместе с государственным преступником Клеменцом в конце мая — начале июня покинули пределы империи и прибыли в Берлин, где задержались недолго, чтоб вскоре оказаться в Швейцарии. Но французские газеты вдруг сообщили, что Вера Засулич арестована на русской границе. Возникла неясность. Следы терялись.

И вдруг агент по кличке Жозеф, специально переброшенный в Швейцарию, уверил, что газетные сообщения ошибочны. Засулич находится в Берне. Проживает в одном доме вместе с сожительницей Клеменца Эпштейн Анной Михайловной, и он, Жозеф, имея достаточные средства, под видом анархиста, видимо, сумеет войти к ним в доверие. Жозефу дали добро.

Тем временем за домом у Царскосельского вокзала было установлено наблюдение и решили никого сразу не брать, сначала распутать все связи. Подозрительных оказалось много, и особенно пристальное внимание привлек к себе некий техник Владимир Сабуров, проживающий в доме по 12-й роте Измайловского полка... На него указывалось в анонимном письме, будто он и есть Кравчинский, убийца Мезенцева. Приметы совпадали.

Подполковник Кононов, руководивший всей этой непростой работой, с арестами не спешил, хотел разузнать как можно больше, но 11 октября сырым, туманным утром вызвал он к себе в кабинет пристава Любимова и спросил, равнодушно попыхивая папиросой, что ему

известно о поведении и образе мыслей девицы Малиновской, проживающей на его участке.

Пристав наморщил узкий лоб, почесал в затылке, и тут его осенило. «Ба,— сказал он, радостно изумляясь,— так это ж мы у ней на квартире весной как раз с судебным следователем Кабатом обыск собирались делать! Ей-ей...»

Кононов, не задавая лишних вопросов, застегнул сюртук, вынул из ящика стола револьвер, сунул в карман, приказал приставу немедленно подготовить десять нижних чинов с оружием, полицейскую карету и дрожки.

— Когда приступаем?

— Сегодня в ночь.

— Слушаюсь!

Им сопутствовала удача, если не считать легкой перестрелки и тому подобных мелочей, и вот Кононов докладывал Селиверстову о том, как проходило дело.

— Вы говорите, что между прочим захватили еще и письма Засулич, писанные ею из Швейцарии девице Коленкиной?

— Так точно! Нам удалось их отстоять. Коленкина открыла стрельбу, чтоб предоставить Малиновской возможность уничтожить все бумаги.

— Сколько было выстрелов?

— Пять или шесть, ваше превосходительство. Нам удалось ворваться и вырвать у нее оружие из рук. Больше того, мы разжимали ей зубы и вырывали клочки бумаги изо рта. Она пыталась их проглотить. Плакала, царапалась, кусалась...

— Женщины.

— Так точно. У них всегда слезы. Затем мы обрывки писем склеили. Некоторые письма только-только прибыли из Швейцарии.

— Главная удача: Кравчинский попался. Собственной персоной. Но назвать свое имя не желает.

— Дайте срок, ваше превосходительство,— усмехнулся Кононов.— Никуда не денется, заговорит. Паспорт на имя Сабурова у него явно подделан. Должен сказать, что паспортное бюро у них выше всяких похвал.

— Предложите ему подписать какую-либо бумагу и давайте сравним почерк, это первое. Имеются же бумаги, бесспорно написанные Кравчинским...

— Мы предложим этому технику получить деньги, посланные друзьями. У него нет денег.

— Метод проверенный. Как почерк покажет, прижмите энергичней,— посоветовал Селиверстов и, отпустив Кононова, открыл папку с письмами и бумагами, захваченными при обыске в ночь с 11 на 12 октября, погрузился в размышления.

Жозеф докладывал, что, видимо, существует четко налаженная система перевода преступников через границу контрабандными тропами. Так же перевозятся транспорты с литературой, печатаемой в Женеве, и особенно преуспевает на этом поприще контрабандист, известный в радикальных кругах как Мойша Зунделевич, мещанин Могилевской губернии. Возникало подозрение, что у названного выше Зунделевича существует сговор с чинами пограничной и таможенной стражи. Этого еще не хватало...

— Свяжитесь немедленно с Могилевской губернией,— приказал Селиверстов, сверкая цыганскими глазами,— поднимите архивы, и чтоб мне всю подноготную на этого жида!

— Будет исполнено! — отрапортовал адъютант.

— Кравчинский... Какая шулерская фамилия. Кравчинский... У Сухово-Кобылина как?

— Затрудняюсь сразу, но вроде бы... Кречинский. «Свадьба Кречинского», ваше превосходительство.

— Ах да, Кречинский.

Однако о чем же писала дочь капитана Вера Засулич своей приятельнице в Петербург из далекой Швейцарии?

В письмах не было ничего предосудительного, потому они и не вызывали ни малейшего подозрения на почтамте. Разговор шел о делах малозначительных, обыденных. Вспоминались какие-то денежные долги. «Я, по обыкновению, не могу, имея деньги, слышать, как при мне говорят, что их нужно, сейчас — неудержимое желание предложить»,— писала Засулич. А из неотправленного письма подруги следовало, что «новостей у нас, право, кажется, не имеется, по крайней мере таких, которые не нужно было бы рассматривать в микроскоп. Все как-то по-прежнему вошло в свою колею и мало уже волнует и подает надежд. Кажется, только вы, счастливый заграничный народ, рветесь и мечетесь вдаль. Когда-то буду и я чувствовать себя счастливым человеком? Хоть бы скорей, скорей!»

— Не успела, голубушка,— хмыкнул Селиверстов. Он тоже ознакомился с захваченными письмами, но не со всем текстом, а только с теми местами, которые для него подчеркнули карандашом.— Счастливой желает быть... Только зачем для этого живых людей резать ножиком. Моя воля, я б их всех на кол сажал! А супруг ее, про которого она справляется, это Стефанович? Значит, и они с Дейчем уже в Швейцарии, ну и ну... На кол всех! Собственноручно, и ни одним бы мускулом не дрогнул...

Генерал Селиверстов был весьма недалек. Бывший пензенский губернатор, уволенный от службы за полторы дюжины серебряных блюд, на коих подносили ему хлеб и соль при объезде вверенной губернии, он тоже полагал, что надобно начинать с крутых мер, и не ведал, что пуля для него уже отлита и револьвер заряжен. Близок час...

Селиверстова не любили. Даже в своем Третьем отделении считали человеком бездушным, тусклым, серым, пустым и еще — шпионом по призванию. Но он был энергичен, намеревался выжечь крамолу каленым железом, а потому разговаривать с ним о серьезных делах не имело смысла. Этот мог натворить такого, что и не снилось на-

шим мудрецам, поэтому ту записку, которая в мыслях была начата еще до всех событий, разразившихся сразу после выстрела Засулич, Иван Самсонович намеревался адресовать непосредственно на имя государя. И как можно скорей! А затем попросить аудиенции через великого князя Константина. Иван Самсонович желал предложить ряд мер экономических. Герцу он сказал:

— Повторим опыт Буонапарте. Сделаем то, что сделал он в свое время в Париже, начнем разные сооружения.

— Разумно, но какие сооружения приемлемы нам?

— Самые всевозможные! — рявкнул Иван Самсонович.— К тому же надо снять налоги на соль, а чтобы возместить казне эти недостающие, кажется, двенадцать миллионов, надо увеличить цену на керосин и на прочие минеральные масла, а также ввозимые товары.

— Это разумно. Таможенные тарифы пора пересмотреть.

— Полицейский сыск не панацея от наших бед! Больше реальных школ, меньше болтовни. Надо незамедлительно переменить губернские учреждения. Уничтожить всех этих губернских советников, имя которым легион, но власть губернаторов усилить и отдать в их руки полицию.

— О да! Очень разумно.

Они шли по набережной Фонтанки и беседовали, и оба были вполне собой довольны, потому что были мудры и понимали друг друга с полуслова.

— Меньше внимания непосредственно самому нигилизму, надо выбить из-под его ног почву, а там само все станет на место.

— Иван Самсонович, помнится, умники наши говорили, что их сам народ поколотит, и ладно. Как в семьдесят шестом у Казанского на зимнего Николу. Я размышлял, и ведь очень верно получается! Не надо подогревать к паршивцам общественный интерес. Запретный плод всегда, знаете ли, шарман...

— И верпо и нет, Иван Францевич. Правительство должно в такие эксцессы вмешиваться и не радоваться, как радуются наши балбесы, что мясники-де студентов поколотили. Действительный студент есть чиновник четырнадцатого класса, и самосуд над ним суть самосуд над всей лестницей,— Иван Самсонович изобразил рукой лестницу,— над всем, понимаете ли, государственным устройством.

Накрапывал реденький, осенний дождь, совершенно петербургский, тучи шли низко, почти над самыми крышами, и пахло печным дымом. В нижних этажах зажигали свет, в подворотнях блестел мокрый булыжник.

— Ну, голубчик мой,— сказал Иван Самсонович,— тут вот и расстанемся.— Он сделал знак кучеру, следовавшему за ним в некотором отдалении от самого Цепного моста. Верх у коляски был поднят, мокрая кожа блестела, как лаковая. Лошадь фыркала.— Прощай, голубчик Герц.

Герц приложил два пальца к козырьку. Кучер тронул, мокрая улица дернулась, мягко поплыла под мерный цокот копыт.

Чтобы дописать записку, надо было хоть на короткое время отстраниться от текущих дел, рапортоваться больным, что ли, или просить краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам, засесть за написание, привести все выкладки по Третьему отделению и по тюремному комитету, по тюремной динамике, чтобы показать государю, во что обходится казне этот наш русский нигилизм. И почему бы в самом деле уже давным-давно не взяться за написание? Все размышлял в благодушии, прикидывал. Безделельность — вот что нас губит! Благие желания, коими дорога умощена... Обломовы мы все по духу, по сути. Но пора пришла — надо! Надо действовать.

Сидеть в мягко пружинящей коляске вдруг показалось Ивану Самсоновичу невыносимым. Его охватило желапие немедленного действия, он уже себя растравил и

уже знал, что, войдя в дом и скинув шинель, поднимется в кабинет, потребует тишины и ужина часа через два, но без водки. «Стой! — приказал он кучеру.— Поезжай вперед, я пешком».

Открыл дверцу, сошел вниз на мостовую. До дома было недалеко, квартал или полтора, он не разобрал, потому что все еще сыпал дождь. Моросил. Огни фонарей расплывались. Под ногами хлюпало.

Надо немедленно рапортоваться больным, садиться за записку, изыскивать возможность встречи с государем. Все решено!

Иван Самсонович уже подходил к дому, когда какое-то неожиданное тревожное чувство заставило оглянуться. Оглянулся. Мокрая улица была пустынна. Коляска въехала во двор, кучер сам открыл ворота, и ворота стояли распахнутые. Иван Самсонович поднял взгляд, увидел ухажера кухарки Тоши, какую-то странную гримасу на его лице. И вдруг сразу вспыхнуло желтое пламя. Иван Самсонович подумал, что падает, но боли не было. Он выставил руку, сквозь перчатку ладонью почувствовал холодную каменную сырость и еще подумал, почему все убитые лежат в таких странных, даже постыдных позах, и успел сам себе ответить, что это потому, что уже никого не нужно стесняться, и тут все погасло.

Зачем? Почему?

16

В своих воспоминаниях она написала: «Считала себя социалисткой с семнадцати лет...» Как же она представляла себе социализм, юная нигилистка Верочка Засулич?

Идеал будущего общественного устройства у ее друзей и товарищей по борьбе звучит неопределенно и слишком, пожалуй, эмоционально. «Социализм — высшая форма все-

общего, всечеловеческого счастья, какая только когда-либо вырабатывалась человеческим разумом».

«Земля и Воля» писала: «Нам незачем особенно заботиться о выработке идеалов будущего строя, потому что в исконных желаниях русского народа мы уже имеем солидный фундамент для постройки общественного порядка, неизмеримо высшего, чем ныне существующий».

Апостол ее юности Бакунин Михаил Александрович звал к бунту, к топору, к пролитию крови, и призыв его звучал музыкой в юных сердцах. «Оглянитесь вокруг: революция везде. Она одна царит, она одна сильна. Новый дух со своей разрушающей, разлагающей силой вторгнулся бесповоротно в человечество и проникает общество до самых глубоких и темных слоев». Красота-то какая!

Она закрывала глаза, юная нигилистка Верочка Засулич, она прислушивалась к себе, и ритм его слов наполнял все ее существо, вся жизнь двигалась под аккомпанемент великой бакунинской музыки. Трубили фанфары, и били барабаны, и было совершенно ясно, прозрачно, светло — революция не успокоится, пока не разрушит старый одряхлевший мир и не создаст из него новый, прекрасный мир! Вот, вот она, суть! Вот он, восторг юности! «Поэтому в ней, и только в ней, вся сила и крепость, вся уверенность в победе. Только в ней — жизнь, вне ее — смерть».

Для Бакунина революция была «хорошим и спасительным беспорядком». Не желая ничего принимать от старого, прогнившего мира, Михаил Александрович хотел заменить разрушенное «другими, новыми, совершенно противоположными формами», но, какими именно, он не представлял, а поэтому считал «всякие рассуждения об этом туманном будущем преступными, потому что они мешают чистому разрушению», так что Маша Коленкина не свои слова говорила, Бакунина она вспоминала!

Был еще один апостол. Его имя Лавров Петр Лаврович. Артиллерист, полковник, без пяти минут генерал, он

преподавал в закрытых военных заведениях и еще писал стихи и давал их своим офицерам. Писал он тяжело, громоздко. Читая его, испытываешь ощущение, будто продираешься сквозь лесной бурелом, а когда попадаешь на приводимую им цитату из другого автора, состояние, близкое к тому, как если с булыги выезжаешь на асфальт.

Петр Лаврович увлекся философией и публицистикой, понял, что революция не за горами, и, заявив об этом, прямехонько попал в ссылку, в Вологодскую снежную губернию, откуда Герман Лопатин, будущий переводчик «Капитала» Маркса, помог ему бежать в Париж.

Вся жизнь Лаврова была окружена ореолом решительности и величия духа. Участник Парижской коммуны, воспитанник славного Михайловского артиллерийского училища, он воевал на баррикадах под красным знаменем, редактировал крамольный журнал «Вперед!».

Клеменц сочинил веселый стишок — «Экс-профессор, экс-философ,— революции оплот, он сидит верхом на раке и кричит: «Вперед! Вперед!»». Это про Лаврова. Но те, кому он читал свой стишок, улыбались натянуто, не одобряли. Лавров был авторитетом, так что клеменцовские строчки принимались не злой сатирой, боже упаси, и не сатирой даже, а только подтверждением того, что вот как мы выросли, самого Петра Лавровича можем задеть. И что? И ничего, небо не рушится.

Интересно проследить, каким исследовательским аппаратом владел Лавров. Он вводил в свои рассуждения цифры, и получалось, что первоначальная численность революционной армии — сто человек. Только сто, это немного. И пусть даже не все, а половина из ста способна посвятить себя хождению в народ. К тому же Лавров учитывал, как учитывают при стрельбе разные поправки на ветер, на то, на другое, что из оставшейся половины три четверти ежегодно будут арестовываться. Но даже при таком положении, если каждый пропагандист приобретет себе двух то-

варищей из народа, а те в свою очередь присоединят к себе по шесть человек...

Современный человек испытывает недоумение. Почему по два? Почему по шесть? Откуда взяты были эти цифры? Исходные цифры. Но ладно, зачем спотыкаться на частностях, когда надо видеть главное, которое заключалось в том, что даже при таких, казалось бы, очень скромных цифрах у Лаврова получалось, что через шесть лет после начала хождения в народ численность революционной армии возрастет от ста человек до 36 тысяч!

Вроде все было правильно: надо приобрести двух товарищей из народа. Так. Те, каждый, приобретают по шести... (Они из народа, они больше смогут, в них больше и воли и решительности, они лучше «по коренной закладке чувств»...) И в Петропавловке, и в Литовском замке, в Доме предварительного заключения, и во втором этаже на той незабвенной Пантелеймоновской улице Бакунин и Лавров были ее утешителями в открывающемся ей трагизме.

Легче всего было валить на времена и нравы, на свое неумение подойти к народу, на неверную, не отработанную в деталях методику пропаганды. Но так или иначе, к марксизму Вера Ивановна подходила с тем аппаратом, который дали ей Бакунин и Лавров.

Выбраться из Петербурга было совсем не просто, и хотя Зунд с присущим ему оптимизмом, похихикивая и подмигивая, заявлял, что все элементарно просто: «Провести барышню через границу? Господи, боженька ты мой, тоже труды»,— она и ее друзья нервничали.

В столице ходили самые разные слухи. Говорили, что приют ей дал не кто иной, как великий князь Николай, младший брат государя. Были подробности, неизвестно каким образом возникшие. Она сама слышала, что будто бы их высочество Николай достал для нее рыжий парик и костюм молодого офицера, отвез на вокзал, поместил в

вагон первого класса, поцеловал ручку, а следом ливрейный лакей внес корзину с шампанским.

Верно или нет, но эта басня, несомненно, дошла до жандармского начальства, и всезнающий Зунд сообщил, что с некоторых пор особо пристально осматривают господ, едущих первым классом. И обыскивают их по малейшему подозрению и не извиняются совершенно.

Они поехали четвертым классом. Никакого рыжего парика не было, она оделась крестьянкой. Поезд тронулся ночью, и в скрипучем вагонном мраке под желтым качающимся фонарем среди спящих вповалку, среди мешков, узлов, чемоданов и баулов она не вызвала подозрения ни у кондуктора, ни у жандармов.

На пограничной станции ей вдруг безумно захотелось есть. Нервы сдали или что, она не стала разбираться, тихонечко выбралась на перрон, и, пока в серой предутренней полутьме искала лавочку, поезд тронулся.

— Что мне делать? — спросила она у сонного дежурного.— Мой поезд тронулся раньше времени...

— Тем хуже для тебя, рот не разевай,— скучно ответил дежурный. Он-то не знал, чем грозит ей эта случайная задержка! К тому же он принял ее за простую бабу, так она была одета и так энергично жевала лежалую вокзальную булку.

Но слава богу, ее поезд не успел уйти совсем, его передвинули на другой путь, и, когда она разобралась, в чем дело, времени оставалось в обрез. Она успела добежать до последнего вагона и, путаясь в юбках, вспрыгнула на ходу. Кондуктор протянул ей руку, она оказалась на площадке.

Утром перешли границу, и это тоже оказалось простым делом: у Зунда были свои связи, налаженные пути, сам он говорил, что с печатным станком возни куда больше.

— Почему, Зунд?

— Да как вам сказать, мадемуазель... Видите ли, вас не сразу за террористку можно принять. То ли вы терро-

ристка, то ли нет. А печатный станок, он сразу видно — печатный станок. И потом тяжелый страсть! Деньги на нем печатать, не так обидно было бы. А уж доходней точно!

Все складывалось вполне благополучно, если не считать того, что в Берлин они прибыли на следующий день после покушения Карла Нобилинга, выстрелившего из охотничьего ружья дробью через окно в императора Вильгельма, проезжавшего в лакированной коляске по Унтер-ден-Линден. Император был ранен. Этого Зунд, разумеется, предвидеть не мог. Но покушение в Берлине подтверждало ее мысль о том, что идеи террора носятся в воздухе, ветер современности швыряет их в горячие головы, и прав Бакунин — новый дух клокочет в обществе, проникая до самых глубин. Уж очень это казалось заманчивым — одним выстрелом решить все!

Чтобы не вызвать подозрения у берлинской полиции, полдня просидели они в пыльном скверике перед вокзалом. Затем путь их лежал в Швейцарию, куда предварительно была послана телеграмма на адрес Анри Рошфора, французского публициста, в революционной честности которого не возникало ни малейших сомнений. «Не покидайте Женевы и ждите письма». Такой придумали текст. А в письме, которое сам Рошфор назвал длинным мемуаром, они сообщали, что опасаются, как бы швейцарское правительство не выдало ее России, просили совета и содействия.

Рошфор незамедлительно отправился к господину Эритье, кантональному депутату, заведовавшему департаментом внутренних дел. Поговорили о положении дел в России, о генерале Трепове, начальнике русской полиции. Этот отвратительный «кнутобойца» Трепов приказал выпороть интеллигентного человека, студента...

— Ужас! — кантональный депутат поправил пенсне.— Какая темная страна...

— О, это не те слова, мой друг... В России, как в былые времена у восточных народов, высшие сановники принимают просителей на публичных аудиенциях. Воспользовавшись этим, Вера Засулич послала ему две пули, одна из которых тяжело ранила это чудовище в живот, когда он читал ее прошение...

— Браво! Я ее понимаю. Прямо в живот!

— А что вы ответите, если русский консул потребует ее выдачи?

— Она здесь?

— Скоро будет.

Много лет спустя Анри Рошфор опубликовал свои воспоминания, озаглавив их как «Приключения моей жизни», и в четвертом томе написал о ней: «...я был чрезвычайно изумлен, когда передо мной предстала маленькая молодая девица с черными волосами, в косу ниспадающими на спину. Ей уже было двадцать пять лет, заявила она мне». (Ну, здесь Рошфор, пожалуй, напутал. Ей было двадцать девять, и скрывать свои годы она не собиралась.) «Но на вид ей нельзя было дать и восемнадцати»,— отмечал он дальше и добавлял, что можно было находить не очень гармоничным ее немножко калмыцкое лицо, но ее голос и взгляд были так приятны, ее манера держаться так скромна и так сдержанна, что она его живо заинтересовала. «Я сейчас же увидел в ней мыслителя, который не извивается в революционных криках, а в тишине обдумывает свои решения, наедине с собой и со своей совестью».

В те годы, попав в благословенную Женеву, под сень ее белых гор и рокот хрустальных струй, почти все русские эмигранты налаживали тесные сношения со швейцарскими, итальянскими, французскими анархистами, выступали на митингах, устраивали диспуты.

Ее ждали. Заведомо предполагалось, что она тоже окажется анархисткой и из столь внезапной, но громкой все-

европейской ее знаменитости можно будет извлечь немало пользы для дела анархии.

Она в то время имела самое смутное представление как об анархии, так и о социал-демократии. Стояли солнечные, светлые дни, была радость свободы и удивительное новое ощущение своей взрослости. Что-то в ней изменилось, она еще не могла понять что.

В первые дни в Женеве она поймала себя на том, что кожей чувствует это новое свое состояние. Ее обволакивало теплым туманом и обливало сахарным сиропом пристального внимания. Она поняла, что еще мгновение — и вся эта возня вокруг ее имени может ей понравиться и как там будет дальше, неизвестно. Ее понесет по мощному этому гольфстриму, и она войдет в роль... Только не это! «Великая,— говорил ей один из лидеров анархистов и заглядывал в глаза, прямо так — «великая», и никак не иначе,— парижские друзья ждут вас. Чтоб отдать дань. Назначаем встречу. День, час вашего приезда в Париж. Приготовляем встречу. Соберется тысяч десять. Полиция может вмешаться, но мы не дадим вас арестовать! Ни в коем случае! Сила анархии...»

От предложенного плана она отказалась. «Я-то вас довольно знаю,— вздыхал Клеменц,— но им-то, нормальным европейским людям, невдомек, что вы ухитрились свою известность до зубовного скрежета возненавидеть...»

Но на этом домогательства не кончились. Ей предложили написать открытое письмо против немецких социал-демократов и хорошенечко отстегать их, толстопузых, за то, что слишком уповают на свой парламент. И она опять отказалась, считая, что нельзя ругать ни человека, ни партию, не имея достаточного понятия о том, чем они занимаются. «Решительная вы женщина»,— удивлялся Рошфор и смотрел на нее с любопытством.

С Рошфором же была связана и неожиданность, вскоре

возникшая и поколебавшая ее уверенность в собственной безопасности.

Хоронили участника Парижской коммуны Резуа, и она пошла на похороны. Утром Рошфор познакомил ее с милым молодым человеком, журналистом из Лиона, и тот, несмотря на торжественные обещания, что не укажет в газетном своем отчете ее имени, указал. Да еще и описал все в мельчайших подробностях. И о чем они говорили, и что ели за завтраком перед тем, как присоединиться к похоронному кортежу. Русский консул немедленно потребовал от женевского правительства объяснений. Ее вполне могли выдать, но благородный Рошфор придумал, как поставить все с ног на голову, и в самых правых газетах чуть ли не на следующий день напечатали сообщение, Рошфором же написанное, но со стороны казавшееся очень для него обидным.

«Этот бедный Рошфор решительно сделался величайшим из простаков,— писал о себе ее новый знакомый.— Вся Женева потешается над приключением, смешною жертвою которого он только что стал. Какая-то интриганка, приехавшая неведомо откуда, явилась к нему под именем пресловутой Веры Засулич, недавно оправданной судом, но снова разыскиваемой царской полицией за то, что она дважды стреляла в генерала Трепова. Рошфор и его друзья с энтузиазмом приняли эту лже-героиню. Ей дали приют, ей устраивали обеды, для нее организовали подписку, плоды которой «лицо, претендующее на справедливость», прикарманило без зазрения совести. А затем, когда смелое мошенничество было уже почти раскрыто, особа исчезла, не оставив адреса и унеся с собой «деньжата». Что же касается настоящей Веры Засулич, то нам сообщают, что она только что арестована в тот момент, когда переходила из России в Германию...»

Консул успокоился, а они, наивные дети, поверили, что Третье отделение введено в обман и отныне будет пре-

бывать в неведении долго-долго, так что теперь можно отправляться в горы, чтоб забыть все страшное.

Они отправились вдвоем с Клеменцом. Шли вольно, по маршрутам, не указанным в путеводителях Бедеккера, но так, чтобы к восходу солнца очутиться на открытом восточном склоне, и как можно выше. Спать ложились прямо на траве. Или разыскивали пастушью хижину и там в закоптелом котелке над очагом варили чай.

Иногда шли они на звон колокольчика, чтобы купить у пастухов сливок или сыру, и следовали дальше. В пустынных горах на диких тропах, по которым вел ее веселый Клеменц, ей впервые за много лет сделалось покойно, уверенно. Острыми камушками скатывались вниз ее печали и заботы. Голубым светом наливались по утрам засыпанные снегом склоны, и с уменьшением атмосферного давления уменьшались все душевные тяготы, и незнакомая какая-то решительность появилась в ней, расправляла крылья. Она это чувствовала, и было очевидно, что начинается новый период в ее жизни, а каким он будет, она не знала и не хотела знать наперед. Были горы, были круглое солнце над головой, ярко-зеленая трава, цветы, льды, камни, и звон медного колокольчика вдали, и запах сбежавшего молока, а все остальное казалось нереальным, незаметным, маленьким, случайным.

Они поднимались в горы. Ее не переставала удивлять необыкновенная собранность Дмитрия Александровича. Весь он был удивительно ладный, а все походное снаряжение у него было пригнано, всегда на месте, под рукой. «Быть вам великим путешественником!» — воскликнула однажды, глядя на то, как он, стоя на коленях, разжигает костер. «Может быть, может быть...» — отвечал он, щурясь от дыма, но тогда ни он, ни она не придали этим словам ни малейшего значения. Они поднимались в горы все выше и выше. И были только горы. Горы — внизу, горы — слева, горы — справа...

А через несколько дней в женевских газетах было напечатано телеграфное сообщение из Петербурга. Пока без подробностей, но с точным адресом. «Дом у Царскосельского вокзала... Фамилия хозяйки — Малиновская... Арестована. Оказала сопротивление при аресте. Род занятий — художница...»

Они следили за газетными сообщениями, тем более что петербургские новости касательно борьбы русских нигилистов со своим таким кровожадным царем вызывали у зарубежного читателя интерес и поднимали тираж, а потому охотно печатались рядом с новыми фасонами дамского белья и рецептами сдобных кексов.

За первым последовали другие сообщения. Стало известно, что по анонимному доносу наконец-то арестован долго скрывавшийся убийца генерала Мезенцева и доставлен в Петропавловскую крепость под надежный караул. Сообщалось, что он имел документы на имя техника Сабурова и при его аресте взято «артистически обставленное паспортное бюро».

Странно. Сабуровым называл себя Алешка Оболешев, хозяин небесной канцелярии. Убийца Мезенцева Сергей Кравчинский именовался князем Владимиром Ивановичем Джандиеровым.

Много дней спустя она узнала подробности, а тогда терзалась в догадках, не находя ответа, и мучилась, что отговаривала Машу, советовала не спешить с отъездом: это уж самая последняя мера — бежать за границу, это когда другого пути нет, не раньше!

Первым кое-какие подробности привез Кравчинский. Ему поручалось изучить способы изготовления динамита и провести несколько испытательных взрывов в тихих швейцарских горах, где-нибудь в темном ущелье, подальше от человеческого жилья. Ради такого задания Сергей и уехал, а из кратких газетных сообщений следовало, что убийца Мезенцева задержан и находится в крепости. Стало

ясно, что Алешку Оболешева приняли за Кравчинского. В доносе на высочайшее имя совпали приметы. Все, за исключением цвета волос — Сергей был брюнетом, а господин Сабуров светлым шатеном, ну да такие мелочи не интересовали Третье отделение и нового его временного руководителя, генерала Селиверстова, старавшегося получить высокую должность. Когда же на место Мезенцева был назначен старый воин, герой турецкой кампании генерал Дрентельн, то мнение о том, что Сабуров и есть Кравчинский, некоторое время поддерживалось, даже вопреки результатам следствия, чтоб не прекословить государю: с самого начала Александр проникся полным доверием ко всему, что было написано неизвестным верноподданным, начертавшим на конверте: «Его императорскому величеству. В собственные руки».

Техник Владимир Сабуров был принят жандармами за Кравчинского. Много лет спустя, когда открылись жандармские архивы, стало известно, что прежде всего он отказался подписывать протокол обыска. Не позволил снять с себя фотографическую карточку. Отказался от дачи каких-либо показаний, и, чтоб добыть его подпись и провести хоть какие-нибудь графические сравнения, жандармы начали придумывать разные трюки.

Однажды утром в камеру к Алешке, лежащему па койке, вошел смотритель и сообщил, что на его имя поступило 25 рублей от кого-то из сопроцессников, арестованных по тому же доносу. «Хорошо, поблагодарите его, хотя я его совершенно не знаю»,— отвечал техник Сабуров, не меняя позы. «Получите деньги и извольте расписаться в получении».— «Ну, раз так, то деньги мне не нужны»,— усмехнулся.

Перед самым процессом Алешку все-таки сфотографировали. Его держали четыре жандарма, фотограф, приглашенный с Невского, пользовался самой новейшей аппаратурой, но тем не менее на той фотографии, как говорили

те, кому ее предъявляли для опознания, Алешка выглядел совершенно на себя непохожим. Он был похож на старика.

Полтора года он скрывал свое настоящее имя, и сколько мужества это ему стоило, и что сделала с ним тюрьма, если вызванный для опознания родной Алешкин брат, блестящий гвардейский кавалерист, не узнал его! Действительно не узнал!

Он шел по гулким тюремным коридорам, гладкий, прилизанный, как такса. Ему было не по себе от сырости, от этих запахов и от того, что он, офицер лейб-гвардии, идет рядом с жандармом и грязный жандарм, шпион мерзкий, считает себя вправе наклонять к нему свое рыло свиное и тихим голосом хрюкать участливые слова.

Но вот загремел засов. В полумраке каменного каземата он увидел сгорбленного, лохматого старца, сидящего на узкой кровати. На каменный пол свисали тесемки от кальсон. «Узнаете?» Лицо гвардейца передернулось, глаза его блеснули: «Да за кого вы нас принимаете, милостивый государь!.. Мы Оболешевы... Я буду жаловаться! Есть пределы вашей бесцеремонности».

Приговор Сабурова к смертной казни по общему мнению не вытекал из данных, выяснившихся на суде. Но Третье отделение и военный суд, судивший его, желали видеть в нем убийцу Мезенцева! Опять же был на этот случай высочайший намек. Гуляя по ливадийскому парку, государь решил, что техник Сабуров, несомненно, и есть Кравчинский.

Накануне суда к Алешке в камеру явился генерал Черевин, большой жандармский чин, приближенный к государю. Черевин убеждал открыть настоящее имя, обещал помилованье, обещал сохранить тайну, но упрямец остался непоколебим.

Тогда ему сказали, что повесят. Повесят! И чтоб понял, что не шутки с ним шутят, не в бирюльки играют —

жизнь на кону! — дали неделю на размышления. От среды до среды, и вот она, на ладошке, твоя жизнь, сам решай. Какая ни была, но, может, еще будет что-нибудь... Солнце будет. Весна будет! Теплый дождь прольется за окном...

Суд отложили ровно на неделю. Алеша не открылся. Потом все-таки его подлинное имя определили. Европе следовало показать настоящего убийцу. С фактами, с подтверждениями. Смертную казнь заменили 20 годами каторги, но дни слабогрудого Алеши были уже сочтены. Он умирал в тюрьме. Тяжело умирал. Сначала перестукивался с доктором Веймаром, заключенным в соседнюю камеру, жаловался на кашель и на кровь из горла, потом перестукиваться перестал: не было сил руку поднять. И однажды доктор услышал, как выносят Алешу. Выносили мертвого, на простыне, четыре жандарма, взявшись за углы.

В Риме в самый первый свой приезд Вера Ивановна решила осмотреть все достопримечательности и начала с Колизея.

Вставало тихое утро, около громады Колизея с той стороны, с которой она подходила, никого не было. Дорожка петляла по пустырю, заросшему чахлой травой и засыпанному щебнем и мусором. Громадные, отвесные стены с проемами пустых окон, наверху овальных, поднимались перед ней, четко вырисовывались на утреннем небе, еще не слишком ярком.

Она подошла к большому проему в стене, по каменной осыпи поднялась вверх и оказалась в самом Колизее. Теперь ее окружали высокие, прямые стены и выступы, на которые вели прямые, стертые временем ступени. Неужели это и есть тот самый Колизей? Тот самый, о котором столько было прочитано? — подумала она и обмерла от

того, что не шевелится в ней ничего. Не может она представить вдруг с той же яркостью, как в пансионе на уроках истории, как вот на том полуобвалившемся выступе возлежит Цезарь. Неужели эти темные, выщербленные камни видели смерть гладиаторов и казни первых христиан?.. Что осталось от тех людей, превратившихся в пыль, перешедших своими молекулами в совершенно другие, неведомые состояния — в белые облака, в тихий ветер, в траву на пустыре... Ни имен их не сохранилось, ни фотографических карточек. Где ж они, те взрослые, те дети, старики и юные красавицы с яркими ртами? Никого нет, а камни стоят, и это ей показалось обидным. Мертвые камни долговечней людей. Зачем так?

Медленно поднималось яркое римское солнце. От ворот доносился гул веселых голосов. Там уже собирались продавцы сувениров, начиналась бойкая торговля.

На картине академика Семирадского, выставленной в академии, христиане умирали за то, что верили в свою правду. Их сжигали, привязав к столбам и облив смолой, а откормленный Цезарь глядел на них с перламутровых носилок, и ему было скучно видеть страдания. До чего же взволновала эта картина питерских нигилистов! Сколько было разговоров, сколько аналогий, сколько горячих слов тем, кто шел на смерть за свои убеждения. А где теперь великие страдальцы, что осталось от них, от их убежденности, сожженной здесь и заживо растерзанной дикими зверями?

Она определила арку, откуда, подняв железную решетку, могли выпускать зверей, и не зажмурилась от ужаса. Решетки не было, зверей не было...

Тогда выступы были украшены цветными коврами, пахло благовониями, наряды поражали великолепием, и вот ничего не осталось! Ни людей, ни камней, ни нарядов... И много лет спустя уже не в Риме, а в Петрограде на Карповке подошла она к окну. Тащился по рельсам

мокрый трамвай. На углу стоял под козырьком городовой. Кругом был мокрый камень, и вспомнился Рим. Солнце. Колизей. И вдруг все встало на свои места ясно до пронзительной простоты! Все ушло, все стерлось, но остался гордый человеческий дух и вера в свою идею. Попробуй затрави Алешу дикими зверями, сожги его, сгнои его в тюрьме, за решетками, как бы не так! Великая сила, ищущая истины, мечется то как пламя на картине «Светочи Нерона», то как пожар, пунцовым заревом разгоравшийся в тот вечер, когда толпа подхватила ее у ворот Дома предварительного заключения и, ликуя, понесла, понесла к карете... И не может исчезнуть этот дух радости. И еще пройдет сто лет! И еще!

Она думала о своих друзьях, о тех, кто пошел страшной дорогой в заснеженную Сибирь и на дощатый черный эшафот под виселицу, пахнущую свежим лесом.

Виселицу всякий раз рубили заново, а постоянной, сделанной раз и навсегда и хранящейся до времени где-нибудь в крепостном чулане среди прочей рухляди, не было. Сразу после объявления приговора начинали в каменном колодце тюремного двора тюкать топоры. И слышно было. По всей тюрьме.

Позже она говорила, что сама жизнь вела ее в науку, изучающую законы, по которым существует человеческое общество и развивается. Но как непросто все у нее складывалось. Она понимала, что такие законы есть, их можно открыть, если они еще не открыты, осмыслить, изучить, принять к руководству, златоусты ее юности не устраивали, не выдерживали проверки возрастом, с некоторых пор она начала сомневаться в авторитетности тех, первых юношеских своих выводов. Слишком много было эмоций и чувствований разных, а ей хотелось холодного разума.

В необозримом российском болоте, где жизнь людская тонула в пьянстве, в безделье, в пустых разговорах, со

друзья были энергичными людьми. Она гордилась ими. Она именно за энергию начала уважать нигилистов. И к убийству шефа жандармов она должна была отнестись как к решительному революционному акту. Это было объявлением войны. Начиналась настоящая война, а на войне убивают, таковы ее кровавые законы, и не нами они выдуманы. Так она должна была считать в те дни, но после выстрела в Трепова уже мучали ее сомнения. Нет, стрельбой ничего не достигнешь, считала она, и свой выстрел в Трепова уже иначе не называла, как «мое преступление», чем вызывала бурю восторгов у иностранных анархистов и веселые улыбки соотечественников, оказавшихся рядом.

Кое-кто считал, что она кокетничает. Кравчинский говорил, что терзают ее страсти царя Саула, библейского мученика, и подвержена она приступам черной хандры. Он даже написал об этом в своей «Подпольной России». Но она-то знала, отчего это. При чем тут хандра, Сережа?.. Хандра — это что-то вроде мигрени, дамская болезнь, мучительная, но не кровавая. А террор — это кровь, море крови, без берегов, и в кровавой этой болезни, вдруг как эпидемией охватившей русскую молодежь, ее имя называлось первым, на нее ссылались, ей подражали, так что она несла ответственность за все, и сравнивать ее с царем Саулом, пожалуй, не стоило.

Сразу за ней дерзкий Валериан Осинский, арестованный первый раз за то, что в Летнем саду не уступил дорожки Александру II, стреляет в прокурора Котляревского. В Киеве Григорий Попко, сын священника, в ночь на 25 мая закалывает жандармского офицера барона Гейкинга, и русское общество охает в ужасе.

Царю, пожалуй, можно было и уступить тогда дорожку, все-таки пожилой человек, намного был старше Валериана, а хамство само по себе — еще не революционный акт. Котляревский и в самом деле был негодяем, но вот за что убили Гейкинга, она так и не поняла. Был он не лучше

и не хуже других жандармов, да и много ли от него зависело, от провинциального голубого штабс-капитана?

Сами же радикалы и возвели его в полковники, чтобы придать действию Попко бо́льшую значимость. Но так или иначе, по всей Руси из конца в конец раскатами молодого грома грянули выстрелы, и холодная кинжальная сталь входила в рыхлую плоть предателей и жандармов. Новый, семьдесят девятый год начинается с того, что Гольденберг убивает в Харькове губернатора Кропоткина.

Тихим февральским вечером он выскакивает из заснеженного садика через железную ограду, впрыгивает на подножку губернаторской кареты и стреляет почти в упор. Лошади рвут с места. Дребезжат стекла в окнах губернаторского особняка, это рядом. Каркают черные вороны и кружат над деревьями. Полицейские свистки, топот ног, и Гришка в расстегнутом пальто бежит, бежит, задыхаясь. Мелькают фонари. Переулок. Переулок, подворотня, и он отрывается от погони... И опять в газетах упоминается ее имя. Она, Вера Засулич, нигилистка и пропагаторша, оправданная судом присяжных, это она все начала, это она виновата, родоначальница русского революционного террора. Это она, она...

В марте, тринадцатого числа, новый шеф жандармов, генерал Дрентельн, едет в казенной карете по Лебяжьему каналу и обращает внимание на молодого человека, скачущего рядом на прекрасной английской лошади. Сидит юноша в седле не слишком хорошо, у кавалеристов есть выражение — как мясник, но старается, и Александр Романович Дрентельн смотрит на него с интересом, пряча усмешку, как вдруг юный жокей выхватывает револьвер и стреляет навскидку.

Другой бы растерялся. Но не Дрентельн, воспитанник Александровского сиротского кадетского корпуса, бывший командир лейб-гвардии Измайловского полка. «Гони!» — кричит он кучеру. Лошади рванули, но всадник оказал-

ся хитрецом. Соскочил с седла, отдал повод городовому, посулив дать на водку, а сам зашел в табачную лавку за сигарами.

Когда подскочил Дрентельн, городовой держал благородную лошадь под уздцы, ел высокое начальство перепуганными глазами и на все вопросы отвечал: «Не могу знать!»

В лавке молодого револьверщика не оказалось: скрылся проходными дворами. И снова весь Питер вспоминал ее, оправданную, восславленную, благословенную, проклятую, называемую героиней и преступницей дочь капитана Веру Засулич! Веру Засулич! Засулич... Дрентельн между тем поднимает в Государственном совете вопрос о расширении штатов вверенного ему корпуса жандармов и повышении вещевого довольствия для чинов Третьего отделения.

«Засуличевское дело не шутка...— пишет Лев Толстой.— Это похоже на предвозвестие революции».

«История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу»,— пишет Тургенев. И зарубежная пресса, охваченная приливом газетного любопытства, изо дня в день публикует статьи о ней, о выстреле, о суде, совершенно не задумываясь над тем, что оправдали тогда не ее, а девушку Лизу из того дворянского гнезда, застывшего в белом яблоневом молоке над тихой речной заводью... Потом, двадцать лет спустя, она напишет, что террор, несомненно, волновал, но это было пассивное волнение, волнение сродни эстетическому, вызываемому великими художественными произведениями. Иные либералы плакали от умиления, восхищаясь храбростью террористов, но от этого умиления ничего не менялось! Да и не могло измениться. Так она напишет, но, чтобы написать это, нужно будет много раз задуматься и много раз назвать свой выстрел преступлением. Во всеуслышание, со всей ответственностью перед историей, перед друзьями, перед своей совестью... Чтобы выступить против террора, она должна была пережить

три выстрела той весны. Страшный день 2 апреля, когда в десятом часу утра на Дворцовой площади навстречу прогуливающемуся российскому монарху вышел бледный человек в чиновничьей фуражке.

Стрелял Александр Соловьев, сын коллежского регистратора, лекарского помощника, на казенный счет закончивший гимназию и вышедший из университета со второго курса по недостатку средств.

Еще зимой он приехал в Питер из Саратовской губернии, где пытался вести пропаганду среди тамошних крестьян, и довел до сведения столичных радикалов, что всерьез намерен стрелять в царя, своим умом дойдя до понимания того ужасного факта, что виновник всех бед он, Александр Романов, самодержец всея Руси, несчастный человек, рожденный быть царем. «У меня, как у Веры Засулич, явилось желание чем-нибудь ответить на все зверства»,— скажет он.

Молодость исходит из максималистских порывов, не сдерживаемых ни житейским опытом, ни состраданием к чужой боли, потому что не знает ни этой боли, ни этого опыта. Если б молодость знала, если б старость могла...

Три выстрела гулко разнеслись в каменном овале Дворцовой площади.

Был серый промозглый день, над Женевой тянулись мягкие серые тучи, не переставая лил дождь, когда Сергей Кравчинский принес газету, в которой сообщалось об этих выстрелах.

Ольга Любатович, жившая в то время в Женеве вместе с Верой Ивановной, напишет: «Выстрел Соловьева, для нас неожиданный, очень взволновал всех. Вера Ивановна Засулич три дня скрывалась в тяжелой хандре, она не оправдывала такого направления деятельности, мне порой казалось, что всякий подобный насильственный акт (покушение на Дрентельна и прочее) особенно сильно бил ее по нервам, так как она сознательно, а может быть, и бессо-

значительно приписывала себе первый шаг в этом направлении деятельности, явно клонящейся в сторону активной борьбы с правительством».

Через несколько дней агенты Третьего отделения доставят в Петербург копию письма Засулич, адресованного государственному преступнику Льву Дейчу, и прочтут: «Конец бессмысленный, бесплодный... Правительство медлило и колебалось казнить тех, кто у него в руках. Теперь казнит, ему на это руки развязаны, казни будут оправданы,— при таких удобных случаях казнят и преследуют и в конституционных государствах».

Она ушла из дома и три дня скиталась под дождем в горах. Вышло по дню на каждый выстрел Соловьева. Три дня она не хотела ни видеть никого, ни разговаривать ни с кем. Она знала, что надо немедленно возвращаться на родину.

Денег, которые у нее были, едва хватило бы до границы. Паспорт она решила взять у Анки. И ехать. Ехать немедленно. Завтра же. И пусть будет что будет! Она не имела права сидеть вдали! Она еще не знала точно, что надо делать. То ей казалось, что следует на границе сразу же отдать себя в руки властей, и пусть будет новый суд, она согласна! Но возникали всякие доводы против. Уж не женское ли это кокетство в самом деле, да и на предательство похоже. Что она, каяться, что ли, собралась, но в чем? Трепов не кается, подлец! Но как можно с жестокостью бороться жестокостью же? Каждый выстрел будет усиливать правительственный гнет.

Ее арестуют на границе и, может быть, казнят. Пусть! Но все равно она должна ехать. По чужому паспорту, без денег, без всяких надежд, но должна!

Если б она верила в бога, как когда-то в Бяколове, какую страстную молитву послала бы она ему! Но кому, кому должна была она молиться в те страшные дни? Чье имя повторять? Имя своей страны?

Тот суд прошел, другого суда, что на небеси, не будет никогда, но есть вечный суд в себе, и если бога больше нет, то дозволь, страна Россия, грохнуться на колени перед тобой и уронить голову под твоим ветром. Прости... Можно не думать о себе, можно не думать о том, в кого стреляешь, но как не думать о детях твоих?

Через три дня на стол Александра Романовича Дрентельна ляжет сообщение из Швейцарии. Агент по кличке Жозеф будет доносить, что государственная преступница дочь капитана Вера Засулич возвращается в Россию.

Жозефу не поверят.

17

Соловьева повесили в конце мая. Говорили, что накануне казни к нему в смертную камеру привели престарелых родителей — отца, робкого лекарского помощника, и матушку, маленькую иссохшую старушку с трясущейся головой. Только-только установилась в Питере теплая погода, кончились весенние дожди, и на Неве был небывалый клев. Тогда же в мае высочайшим повелением всех городовых вооружили револьверами.

Вера Ивановна спешила в Россию, потому что понимала: своим авторитетом она может многое исправить.

Она никогда не хотела генеральствовать, не было в ней этого, разве что в детстве, когда верховодила бяколовскими ребятами в садовых набегах по яблоки. Она предполагала быть в России как раз к началу Липецкого съезда, когда в Липецке, а затем в Воронеже в ту же неделю решалось, как быть, и съехались туда все знаменитые нелегалы, враги царя и существующего порядка вещей.

Она предполагала, но, пока деньги достали, пока надежный паспорт выправили, лето кончилось, и, когда по узкой контрабандистской тропке энергичный Зунд переводил их с Женькой на родную землю, уже все сверши-

лось: прежней «Земли и Воли» не существовало, нарождались «Народная воля» и «Черный передел», начиналась знаменитая и беспрецедентная в истории охота за царем, будто во всех бедах виновен был только он один, всероссийский самодержец, так блестяще начавший свое царствование.

В «Народную волю» вошло большинство ее друзей. Сонечка Перовская, Николай Морозов, считавший, что террор — это революция в действии, а потому необходимо вести борьбу с правительством приемами Вильгельма Телля и Шарлотты Корде. Народовольцами стали Александр Михайлов, прозванный Дворником, Александр Баранников, участник покушения на Мезенцева, сестры Фигнер, Верочка и Ольга, Михайло Фроленко — товарищ по той бунтарской деревне, Лев Тихомиров, непримиримый оппонент Плеханова, Андрей Желябов и Зунделевич.

У них в «Черном переделе» таких громких и славных имен не было. Кто у них был? Засулич, Дейч, Стефанович, Аптекман, Плеханов... Жоржу было тогда двадцать два года. Ей — тридцать. Женьке — двадцать четыре... Самой важной своей обязанностью они по-прежнему считали агитацию в народе «на почве его ближайших нужд и его непосредственных требований». И еще они знали точно, что их работа требует всей жизни.

Осенью арестовали Зунда, Клеменца — еще раньше. В Елизаветграде с динамитом в дорожном чемодане задержали Гольденберга, харьковского героя. Как он ловко тогда вспрыгнул на подножку губернаторской кареты, как был самоотвержен и как мужественно щедр, когда рассказывал друзьям про тот вечер. Он и царя готов был хлопнуть в своем стремлении к свободе, но отговорили его, не потому, что сомневались в его храбрости. И вот этот человек, попав к жандармам, начал выдавать...

Его не пытали, нет. Не грозили ему вечной каторгой, лютой смертью, пытками. Его обольстили увещеваниями

помочь правительству. К нему обратились как к уважаемому взрослому человеку, умеющему не только стрелять, но и мыслить!

Эх, Гриша, Гриша, думал ли ты когда-нибудь, что к тебе правительство будет обращаться, что важные генералы будут с тобой беседовать и докладывать о тебе самому царю, потому что трепещет тиран; и в верхах не могут понять, чего же хотят революционеры.

И Гришка беседует как равный с равными с важными чинами. Куда больше! Граф Лорис-Меликов, правая рука царя, к нему в камеру приходит! И честный Гришка, неискушенный в житейских подвохах, попадает в ловушку.

В стране, развращенной самодержавием, где правил один царь, казалось, что во всех тяжких он один и виноват больше всех, а спасти родную страну и родной народ может тоже один. Герой. Не отсюда ли романтика террора и натиска на правительство, та романтика, которая по неистовости своего духа, по восторгу и безоглядности может считаться методом или направлением мысли, жаждущей с наименьшими средствами достичь максимальных результатов. Какое емкое и опасное слово — романтика! Как хочется победить. Победить во что бы то ни стало и сразу же! Но чудес-то не бывает! Двадцатый рациональный век подваливал ко двору.

Она думала, почему выдавал Гольденберг, и поняла: он на выстрел себя готовил, на миг. На одно мгновение, сам себе не отдавая в этом отчета. Такая же мгновенная вспышка дала ему силы сотворить петлю и повеситься в тюремной камере.

18 ноября не удалось покушение на царя на железной дороге под Александровском. И подкоп сделали, и динамит заложили, но что-то там не сработало. 19 ноября не удалось под Москвой. С рельсов сошел не царский, а свитский поезд. Шуму было на всю Россию, и государь император, начавший свое царствование с либеральных реформ

и широких проектов, обратился к домовладельцам и дворникам, чтобы лучше смотрели за жильцами. Достойное завершение блестящего царствования! Тогда же высочайшим соизволением всем классным чинам городской и уездной полиции взамен гражданских шпаг были выданы шашки драгунского образца. К жалованью накинули еще по пятерке.

Но приговоренный к смерти Исполнительным комитетом «Народной воли», царь должен был погибнуть, и столяр Халтурин, рабочий человек, уже носил в свою комнатенку в Зимний дворец динамит.

Страшный взрыв прокатился по Дворцовой площади, зазвенели стекла в Главном штабе, а во дворце на втором этаже рухнули полы, и красное пламя на мгновение вспыхнуло разом во всех дворцовых окнах. Но снова царь не пострадал! Он замешкался на пороге своей гостиной. Много было убитых и искалеченных солдат, из тех, которые несли в тот вечер караульную службу. В розвальнях, в санитарных фурах, окровавленных, в изодранных мундирах, везли и везли их в столичные больницы и госпитали. Они-то за что пострадали, или теоретики террора допускали некий процент на ошибку? Будущее счастье миллионов должно было стереть в народной памяти кровь тех невинных?

События первого марта застали ее в Швейцарии. К тому времени она уже понимала, что, если даже и убьют царя, ничего ровным счетом от этого не изменится на Руси. Не может измениться. С ней спорили. И то ей напоминали, что прошедший восьмидесятый год выдался неурожайный. Бедствовали мужики, росло недовольство. Казалось, что надо спешить, что казнь тирана будет сигналом, зовущим граждан к оружию. Но случилось нечто совсем иное.

Виноват ли был полковник Дворжицкий, не проявивший достаточной бдительности; охранять священную особу государя, согласитесь, сложней, чем счислять удары при сечении Боголюбова, или сам государь опрометчивый

сделал шаг после взрыва первой бомбы, брошенной Рысаковым. Ему бы сразу в сторону, поближе к конвою, а он начал раненым помогать, тут и подошел к нему бледный Игнатий Гриневицкий, держа за спиной страшный свой снаряд, обернутый газетой...

Смертельно раненного государя отвезли во дворец в санях Дворжицкого, укрыв шинелью, и черный конь удивительной красоты испуганно вскидывал голову. Это был знаменитый Варвар. Вот ведь и у коней случаются необычайные судьбы! Второй год шел, как конфисковали его у арестованного хозяина в полицейскую службу.

Царь скончался в тот же вечер. Ждали бунта, ждали известий о подъеме мужицкой решительности в голодном Поволжье: ведь грянул же набат, но никаких бунтов не последовало. В Питере били студентов, били длинноволосых и очкастых. Одного несчастного чиновника — одного ли? — лицо его дергалось тиком — чуть не до смерти забили верноподданные, показалось им, что усмехается, паршивец, сука гнилая, в горе таком.

И все-таки первые дни хотелось думать, что еще никто ничего не понял, однако вот-вот поймет: инерцию-то нашу надо учитывать. Но проходили дни, складывались в недели, в месяцы, и странное дело — не было революции! Не было!

В чем же они ошиблись, герои народовольцы? В чем? Хотели мыслить государственно, и все, что возникало там, любая мысль из недр «Народной воли» вызывала уважение и интерес, потому что есть такое необоримое желание — наградить героев сразу всеми прекрасными качествами — храбростью, рыцарством, умом, будто все «умное» хорошо, а все «неумное» сразу же и плохо, хотя сколько помимо ума нужно человеку, чтобы быть человеком! В детстве, когда лазила через заборы и прыгала с обрыва в реку, казалось: смелый человек,— значит, хороший человек. Потом, став старше, решила, что хорошим челове-

ком может быть только щедрый человек. А уж когда третий десяток разменяла, поняла, что можно быть и не очень щедрым, и не слишком смелым, и некрасивым при этом, но хорошим человеком! Слишком много есть других составляющих, не так все это просто. И злость бывает умной, и ненависть, и жестокость. Но мудрой может быть только доброта! Широта взгляда должна быть у мудрости, готовность начать все сначала и великое сострадание к чужой боли.

В то лето, как никогда, эмигранты ждали вестей из России. Ждали революции. В который раз! По всем расчетам выходило, что вот-вот должно грянуть в Поволжье, в пугачевских глухих местах за Урал-рекой, в Сибири, где гулял богатырь Ермак Тимофеевич. Мало, что ли, было там горючего материала? Мало недовольства? Но служились молебствования за упокой убиенного государя, народ безмолвствовал, новый монарх между тем высочайше присвоил всем классным чинам, как городской, так и уездной полиции, новую форму.

В то лето Вера Ивановна определила для себя, что никакой революции ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю не последует. Рано. Да и не так делаются революции. Не метательными снарядами их провоцируют и не выстрелами.

Сто лет назад Вера Ивановна Засулич разделила мнение Плеханова: «Чем больше знакомились мы с теориями современного научного социализма, тем более сомнительным становилось для нас наше народничество как со стороны *теории*, так и со стороны *практики*».

Она вместе с Жоржем, Женькой и Павлом Аксельродом была организатором группы «Освобождение труда». Им было ясно — сто лет назад! — что надо поворачивать русское революционное движение в иное русло. Над ними смеялись: «Вы не революционеры, а студенты-социологи». Студенты... Обидно! Будто в «Народной воле» все были

профессорами. О них писали — ««освободители труда» задумали осчастливить Россию и все в ней на новый лад поставить переводными брошюрами и компиляциями немецких произведений». Она не слишком обращала внимание на подобные насмешки, переводила Маркса, переводила Энгельса, писала работу о Руссо... Она всегда стремилась докопаться до сути, так что новое направление деятельности пришлось ей по душе. А как же тот выстрел и суд, так изменивший ее судьбу? Почему столько раз за свою жизнь просыпалась она по ночам, вздрогнув, и все начиналось снова — свидетели, присяжные, прокуроры, много лет подряд... Засулич, Засулич, Засулич... В России шли аресты, вылавливали остатки «Народной воли», и все тонуло в крови — великое мужество, великое отчаяние, великое предательство. Все гипертрофированное, все через край! И на все лады склонялось ее имя. Это она, это она, засудили б ее тогда, да построже бы засудили! — так никому бы неповадно было!

Какие противоречивые чувства вызывал террор в русском обществе. И восторг, и ужас, и ненависть, и отчаяние, и мистический трепет, и бесконечные разговоры шепотом, среди своих о тех героях, молодых, прекрасных, которые кладут душу свою за друзей. Но увы, политической активности все выстрелы и взрывы, вся эта кровь не добавляли! Да и не могли добавить. Вот что она поняла. И много лет спустя, когда пробил ее звездный час, весенней ночью в Мюнхене в чужой квартире (господи, а своей-то у нее никогда и не было!) она писала в «Искру», в первую общерусскую политическую марксистскую газету: «...передача борьбы за освобождение в руки горсти героев, какой бы сверхчеловеческой силой они ни обладали, не только не вредит самодержавию, а сама является следствием чувств и понятий, унаследованных от самодержавия. Его верные слуги обязаны думать, что все дела родной страны, ее законы и учреждения зависят всецело от высшего начальст-

ва,— в принципе от одного человека,— а остальные подданные могут по собственной инициативе только «ура» кричать. Но если сторонники свободы, предоставляя ее завоевание горсти героев, оставляют за собой лишь то же самое «ура» в глубине души или в разговоре с приятелями,— разве это не наследие самодержавия?» Но какой ценой заплатила она за эти слова?

В народнических журналах маститые беллетристы типа Боборыкина Петра Дмитриевича, большой литературной знаменитости тех лет, автора романа «Василий Теркин», печатали труды свои, в коих рисовали образы русских марксистов в самых что ни на есть мрачных красках.

«Господа марксисты» изображались не иначе как душегубы-отступники, не признающие никаких тебе святынь. «Вся Россия, по их понятию, так, нечто географическое, известное из атласа Ильина, а народ — масса, подлежащая вся поголовному обращению в фабричных, в заводских рабочих,— писал некий критик, почитатель таланта Боборыкина.— Не надо им хлебопашцев, ибо марксисты черного хлеба не кушают, питаются лишь французскими булками, которые, дескать, доставляются из Франции; не надо им общины, артели, потому что на них, как на устои, опираются народники, подлежащие уничтожению».

Это ее злило, но она помалкивала до поры до времени, пока Пьер Боборыкин, имевший репутацию ловкого закройщика «злободневной» беллетристики, не обнародовал в «Вестнике Европы» роман под скромным названием «По-другому». В этом произведении марксизм был представлен безнравственным учением. Русских марксистов обвиняли в том, что их школа отличается «самодовольством, доходящим... до наглости, неразборчивостью в средствах при защите своих положений, отвратительной прямолинейностью своего отношения к прошлому наших прогрессивных

течений, наконец любопытной приспособляемостью к действительности...».

Нет, мимо такого она пройти не могла! Это она-то, не по своей воле изгнанница в Швейцарии, кушала французские булки, это для нее-то, тосковавшей по России до слез, до бессонницы, родина была неким географическим понятием из атласа Ильина?

Нет, господа Боборыкины, она решила дать вам небольшое сраженьице, отстегать вас, чтоб не бросались вы словами, значения которых не понимаете, не жонглировали научными терминами, удивляя «образованностью» несведущего читателя.

Работа над статьей потребовала от нее гораздо больше времени, чем она предполагала с самого начала. Она просила Плеханова «не поминать ее лихом» за то, что давно не писала ему, оправдывалась: «ежедневно собиралась не то завтра, не то послезавтра кончить проклятого «маститого беллетриста» и только мучилась». «Мне именно сегодня очень нездоровится, вероятно от Боборыкина...» — жаловалась она. Ей хотелось разделать автора «По-другому» так, чтоб раз и навсегда отбить у него охоту «рассуждать».

Что делать, господин Боборыкин был очень неумен, но ему хотелось... И она позволила себе высказать о «злободневном» романе все, что она думает, а автору — посоветовать: «если художники могут подниматься воображением даже в такие области, где никогда не бывали, то простым беллетристам этого не полагается».

В статье «Плохая выдумка», которую подписала она своим псевдонимом В. Иванов, она, по общему мнению молодых русских марксистов, не оставила от Боборыкина камня на камне. «Вы его, Вера Ивановна, в зубной порошок...» — говорили ей. Она дергала плечом: «Я выполнила свой долг. А то прямо сил нет, совсем распоясались...»

В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся?» писал: «...мы позволим себе воспользоваться прекрасными замечаниями г. В. Иванова в статье «Плохая выдумка»... Автор говорит об известном романе г. Боборыкина...»

Вера Ивановна не была профессиональным критиком или литературоведом. Ее статьи о русской литературе проникнуты пафосом борьбы, журнальные страницы для нее — поле сражения, а Боборыкины те же Треповы. В своих литературных работах она не преследовала специальных эстетических задач, не восторгалась красивостями и не ставила в укор авторам мелкие погрешности стиля. Она требовала от писателя самого главного — глубокого знания жизни и правдивого — только так! — ее изображения. Без этого главного, по ее неколебимому мнению, литературы нет и быть не может. Всякие же декадентские изыски, «злые красоты», «вычурные герои» — это все от лукавого, для утехи пресыщенных эстетов, а значит, вне истинного искусства.

Исследователи ее творчества считают ее литературные работы боевыми откликами на злобу дня, острой и яростной полемикой с идеологическими противниками, пропагандой марксистского мировоззрения, марксистских взглядов на ход исторического развития России, а сама она считала их просто заметками, тезисами для дальнейшего, потому что была очень скромного мнения о своих литературных способностях.

Она любила переводить. В ее переводе, с ее предисловием была выпущена на русском языке книга Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке», и Энгельс писал ей: «...Я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархическими и несколько славянофильскими традициями своих предшественников».

В Женеве или в Лондоне, трудно сказать, где точно, узнала она о том, что в казематах Петропавловки Сергей Геннадиевич Нечаев, черный демон ее юности, тоже мыслил о цареубийстве. Он хотел захватить царя и всю царскую семью, когда те прибудут на богослужение в Петропавловский крепостной собор, и была в его распоряжении не горстка героев, а вся военная команда, охранявшая Алексеевский равелин! Давно уже он один сумел разложить охрану секретнейшей государевой тюрьмы.

В караулке Алексеевского равелина жандармы читали номера «Народной воли» и «страшные книжки», за которые в Сибирь гнали, и бились об заклад, как скоро царя убьют. Но нашелся предатель. Им оказался юный жокей Леон Мирский, на выстрел себя готовивший. Продал заговор, и новый петропавловский комендант, генерал Иван Степанович Ганецкий, пришедший на место умершего Майделя, сменил всю команду равелина, назначив туда нового смотрителя, Соколова, именуемого заключенными и подчиненными не иначе, как Ирод.

Осенью тюремный доктор Вильмс донес коменданту, что у Нечаева развилась цинга, осложненная общей водянкой в столь сильной степени, что угрожает жизни. А через две недели он же констатировал смерть, последовавшую около двух часов пополудни. И было это 21 ноября 1882 года. Ровно день в день через тринадцать лет после убийства студента Иванова! Убивали они его в ноябре и тоже двадцать первого числа... Может, вспомнил Сергей Геннадиевич в последний свой час, распухший, почерневший от цинги, осенний золотой парк Петровской академии, дальний грот и всплеск и тихие круги по воде, когда бросили они в заросший пруд тело убитого, и может, совсем не о боге он думал, когда просил к себе в камеру Библию и повторял мертвыми губами одно только слово «вера, вера...». Может, это было имя женщины — Вера? Может, значила та Вера что-то в его судьбе, кто

скажет теперь... И опять не все это еще! Статье, которую она напечатала в «Искре», предшествовало известие о смерти Петра Гавриловича Успенского, Сашиного мужа, интерпретатора Спенсера и Бокля. Он, помнится, подыскивал теоретические обоснования морального и этического плана, чтоб легче было им убивать Иванова, и нашел ведь вроде бы...

Так вот, на каторге его повесили. Возникло подозрение, что он предатель, а проверять было некогда. Проверили позже, когда уж лежал он в могиле, и вышло, что Петр Гаврилович невиновен, просто поспешили с ним свои же коллеги-арестанты, зря повесили...

Чтобы написать свою статью, документ удивительной силы и такой искренности, что дух захватывает, должна она была написать письмо Марксу и получить ответ, переписываться с Энгельсом, стать его другом, бежать из Швейцарии. С минуты на минуту арестовать ее могли, и швейцарский анархист Филипп Жамэн, любезный молодой человек, вызвался помочь ей. Она спешила в Англию с чужим паспортом и 30 рублями в потертом ридикюле.

В первый же час ее сопровождающий спросил: «Вы были счастливы? — Его глаза горели революционным восторгом.— Я понимаю, мадам, что нескромен. Но для революционера разве можно найти бо́льшую награду?»

Филипп читал о суде, кое-что ему рассказывали русские эмигранты, а еще он видел в Италии пьесу Антонио Дженерале «Вера Засулич», о молодой синьорите из семьи капитана карабинеров, выстрелившей в синьора генерала за оскорбление своего любимого. Зал рыдал и аплодировал, а когда председатель суда в седом парике, в красной мантии выходил на авансцену, изображавшую балкон над площадью, и, простерев руки, провозглашал: «Она невиновна!» — зрители поднимались в едином порыве, кидали цветы и пели гарибальдийский марш. Да здравствует революция!

План побега придумал Филипп. Он нанял экипаж и подъехал к ее дому с компанией веселых молодых людей, якобы собравшихся отправиться в горы.

Она переоделась в элегантный дорожный костюм, серый с зеленым. «О мадам, это вам так к лицу!» — «Вы думаете?» — «Несомненно, только возьмите в руки альпеншток, ведь вы же в горы собрались...»

Она позволила нацепить на себя глупую шляпку с густым вуалем в мушках, взяла альпеншток — что с ним делать, она совершенно не знала — и вышла из дома.

Консьержка, в обязанности которой вменялось следить за ней, за что старушка получала основное свое жалованье, не признала в строгой даме, сопровождаемой молодыми людьми, той русской, что стреляла в «их петербургского мэра или даже в царя. Кто их поймет, этих русских». Но два невыразительных господина, скучавших на углу, тоже не узнали ее. Ее приняли за англичанку, тем более что все ее спутники говорили с ней по-английски.

Из Морнэ благополучно добралась до Женевы, купила билет до Лондона через Париж, и на солнечном вокзале в Женеве, в восторге от благополучного начала, в предчувствии удачи молодой анархист Филипп Жамэн попытался выяснить, была ли она счастлива, когда ее судили за выстрел в Трепова.

— Мы были молоды. Нам казалось, что всю страну можно поднять одним выстрелом.

— Нет, но вы выполнили свой революционный долг! На следующий день о вас напечатали все газеты!

— Русские крестьяне газет не читают.

— Но это был акт геройства!

— По-видимому, все-таки отчаяния.

Филипп возмутился. Он считал ее великой героиней и гордился, что помогает ей. Ее славное прошлое, ее знаменитость давали ему силы в рискованном мероприятии:

ведь за ней следила полиция, а он решился! Ей сделалось неловко:

— Простите, Филипп, я слишком взволнована. Шутка ли — такой побег совершила.

— О да! — Филипп кивнул, его лицо сделалось непроницаемо серьезным.

До чего же он напоминал ей тех юношей, с которыми она начинала свой нелегкий путь! Они были совсем такими же, они тоже верили, что достаточно одного выстрела, одного шага к вершине — и вот она, великая свобода, долгожданная, но отныне осуществленная мечта!

— Вас судили удивительные люди!

— Обыкновенные.

— Но защитник был замечательный!

Поезд летел на север. Мелькали деревья, аккуратные белые полустанки, городки, деревушки... Вельможные заграничные коровы медленно поднимали головы, глядели вслед, и медные колокольчики на их генеральских шеях горели, как ордена.

На маленькой станции возле французской границы они решили позавтракать. Взяли парное молоко и теплые бриошки, только что из печки.

— Вы, марксисты, ко всему подходите с вашими марксистскими мерками,— не выдержал Филипп,— у вас только классовая борьба, классовые противоречия. Это скучно и односторонне.

— А у вас есть другой метод?

— Пресвятая дева! Есть толпа, и есть герои. Вы были героиней, а теперь вы рассуждаете, как скучный профессор, получающий от буржуазного государства приличное жалованье!

— Жалованье? О, это как раз то, чего нам не хватает. Имей мы с вами сейчас лишних франков десять, мы бы завтракали в том милом ресторанчике на горе. Вы любите жареное мясо по-деревенски?

— Вы считаете меня мальчиком.

— Нет, Филипп. Я считаю, что надо учиться. Нельзя доверять только чувствам! Даже самым благородным. Иногда еще следует читать книжки. Все это было, и за все заплачено. Была «толпа», были герои, у нас их называли «критически мыслящими личностями». Двадцать лет назад я думала так же, как и вы.

— А теперь?

— Теперь думаю иначе.

— И что вы собираетесь делать в Лондоне?

— Хочу поработать в Британском музее. Я пишу работу о Руссо. И потом мне надо навестить своего друга, он очень болен сейчас. Его зовут Фридрих Энгельс...

Легко быть провидцем, глядя в прошлое из тихого сегодня! Все так просто, все так ясно, чего они там не поняли, в чем не разобрались, сердечные? Над чем ломали свои буйные головы, разве было над чем? Увы, прошлое России не розовый деревенский вечер с самоваром, стелющимся дымом и тихим перезвоном церковных колоколов...

Всю дорогу до Парижа она рассказывала Жамэну о своей молодости, о Нечаеве, о хождении в народ, о южных бунтарях... В Париже они были на рассвете, сонный извозчик довез их до Северного вокзала. Там она села в поезд, домчавший ее до Кале, где ждал большой английский пароход, перевозящий туристов из Европы домой в Англию. Она прошла мимо французских таможенников спокойная, сдержанная. Им и в голову не пришло проверить ее документы.

Через двадцать минут пароход поднял якорь.

Она вышла на палубу. Море было спокойным. Справа по борту поднималось солнце, кричали чайки.

В Лондоне она часто навещала больного Энгельса и в субботу 10 августа 1895 года была среди тех, кто на вокзале Ватерлоо ждал поезда, отбывающего в крематорий Уокинг.

Энгельс завещал кремировать свое тело, а прах опустить на морское дно.

Собрались самые близкие друзья, и среди них она, Вера Ивановна Засулич.

Той скорбной дорогой от Ватерлоо до Уокинга ей пришлось ездить дважды. Дважды потому, что через несколько месяцев прощались с Сергеем.

Его сбил паровоз. Он переходил через железнодорожные пути, задумался, ремонтные рабочие кричали, чтобы посторонился, а паровоз, в черном угольном сале от колес до трубы, в дымных заляпанных огнях, летел в пару, в ярости, в железном грохоте; он оглянулся, когда уже было поздно, но не успел испугаться. В глазах его было изумление...

Люди умирают от старости, от болезней, их убивают на войне, взрывают динамитом, закалывают кинжалами и паровозами сминает их жизнь, но дух человеческий, разрушающий и созидающий, любящий и мятущийся, он остается, он бессмертен, и в глазах изумление, потому что надо было ответить еще на один вопрос, а времени, оказалось, уже нет. Так много было и вдруг нет его!

Сергей любил говорить: «На исторической сцене не играют вторых представлений». Это они рассуждали о терроре, о возможности его воскрешения после гибели «Народной воли».

В юности легко понять подвиг выстрела. Юность — это весна, апрель, вера в чудесное мгновение, и слава тебе, молодой человек, победивший чудовище! Дракона победивший, Голиафа, Кащея Бессмертного! Куда как сложней в двадцать лет понять мгновение, растянутое на годы, на десятилетия каждодневного труда над самим собой, над книгами, над временем... Был в ее жизни выстрел, тогда, в доме градоначальника. Был еще один, это когда рвану-

лась в Россию, чтоб остановить все. А третий раз стреляла она через двадцать лет, точнее, через двадцать три, если считать с того серого январского утра, когда сонный извозчик вез ее по Невскому на Гороховую и тяжесть револьвера, спрятанного под тальмой, вмещала в себя всю ее решимость.

Через двадцать три года опять вспомнили ее имя — Засулич, Засулич, Засулич... Но не как первую русскую женщину-марксистку. Был у нее более звучный и эффектный титул — родоначальница русского революционного террора, так ее и вспомнили, многолетнюю изгнанницу, скрывающуюся по заграницам под разными именами и псевдонимами: Студенецкая, Иванов В., Карелин, Велика, Велика Дмитриевна, Старшая сестра, Тетка...

Начались студенческие волнения. Доходили до нее сообщения о том, что в публике, среди мирных либералов и простых обывателей, идут разговоры, возникают надежды и пожелания, чтобы возобновился террор, которым закончилось революционное движение 70-х годов.

Она вспомнила своих друзей, тех, кому досталась вся работа и все страдания, кого десятилетиями замучивали в Петропавловке, в Шлиссельбурге, в Сибири...

Нет, она обращалась не к простым обывателям и не к мирным либералам. Ни те, ни другие не шли в террор. Они предпочитали наблюдать со стороны, поверчивая ложечку в стакане, испытывая восторг, близкий к эстетическому.

Она писала в «Искру» для тех, кто встречал ее у ворот тюрьмы, кто мог ее встречать. Не по времени, по духу мог, по душевному родству. Тут уж была нужна такая поправка — двадцать три года кануло, но так же гремел засов, скрипели ворота и в открывающемся пространстве возникала перед ней весенняя улица, толпа, глаза, восторг. «Ура!» И опять далекий голос, молодой, радостный, кричал: «Вера, Верочка... Солнышко мое... Ты ни в чем не виновата... Верочка!»

18

Эта глава — эпилог.

Весна. Яркий солнечный день. Только что проехала поливальная машина, и по мокрому асфальту катят ленинградские троллейбусы. Двенадцать часов. Гремит пушка в Петропавловской крепости, и, на мгновение присмиревшие, экскурсанты, ленинградцы и гости города нестройно трогаются за девушкой в светлом синтетическом плаще. Она ведет их в тюрьму Трубецкого бастиона, давным-давно превращенную в музей...

Вот дом, где жила Вера Ивановна у Томиловых. Это недалеко от крепости. Лестница с белыми ступенями, стертыми у перил. По этой лестнице спускалась она решительной своей походкой, торопясь в переплетную мастерскую.

Сто лет прошло! Сто лет... Из этого дома пошла она в Петропавловскую крепость прямым путем, а потом были суд, ссылка, Тверь, Солигалич, южные бунтари, и однажды встретилась Вера Ивановна с курсисткой Розалией Боград, будущей женой Плеханова.

Был жаркий августовский день. И был пыльный поезд с открытыми окнами, стоял у Харьковского вокзала.

Розалия Боград смотрела на публику, гуляющую по платформе, и увидела высокого юношу. Рядом шли две женщины, одна вполне со вкусом одетая, а другая «сразу поразила меня своей внешностью, манерами, тоном, она энергично размахивала руками и говорила громким голосом». Это были Лев Дейч, он же Евгений или просто Женька, Мария Александровна Коленкина и Вера Ивановна Засулич. Оказалось, что попутчица Розалии Боград знает Дейча, они разговорились, и Вера Ивановна устроилась у них в купе. Она спешила в Москву. С каким-то генераломродственником ей надо было встретиться, а она не хотела.

«Когда я рассмотрела нашу новую спутницу,— пишет Розалия Марковна,— меня в ней все поразило. Как я уже сказала, во-первых, костюм — она носила серое платье неопределенной формы. Кажется, что описать последнее можно следующим образом: кусок полотна известного размера, в центре которого вырезана была дыра для головы, а по бокам находились две дыры для рукавов... Этот кусок полотна, накинутый на нашу новую знакомую, поддерживался узким пояском... На голове было что-то похожее на шляпу, а скорее на пирог из скомканной серой материи. На ногах — неуклюжая широкая обувь собственного изделия ее обладательницы, как она нам позже объяснила. Все это дополнялось тем, что кармана в балахоне не было, и наша оригинальная спутница, чтобы достать носовой платок, подняв край балахона, начинала рыться в туго набитом кармане нижней юбки».

Современники единодушно соглашаются, что Вера Ивановна не следила за собой. Ее комната всегда была завалена книгами, на подоконнике непременно стояла спиртовка, варился черный кофе. Хозяйка употребляла его в огромных количествах и курила, курила, стряхивая пепел на пол. На каком-то рауте она шокировала английское общество, заявив обступившим ее дамам, что жарит бифштекс на спиртовке, а края по мере готовности обрезает ножницами.

Она не обращала внимания на свой гардероб. Это безразличие было наследием ее нигилистической юности: интеллигентный человек не имел права *роскошествовать* в нищей своей стране.

С годами она, разумеется, сняла серый балахон, но всегда одевалась скромно. Единственным украшением мог быть белый воротничок.

Как-то в Швейцарии зимой собрались эмигранты в своей компании побродить на свежем воздухе, вышли, и вдруг кто-то заметил, что у Веры Ивановны сапоги совсем раз-

валились, а она вроде как не замечает. Плеханов побежал домой, вынес пару своих сапог. «Вера Ивановна, возьмите пока. Не сапоги, отцы родные...» — «Ах, да, спасибо, Жорж... Так и в самом деле теплей»,— отвечала она, ничуть не смущаясь.

Она единственный раз продумывала свой наряд во всех деталях, это когда собиралась на прием к градоправителю.

Автор идет по бывшей Гороховой улице и ищет этот «нарядный дом против Адмиралтейства». Вот дворец Лобанова-Ростовского, белые львы у парадного подъезда. Сюда поспешил Трепов, когда отдал распоряжение выпороть Боголюбова. Знал, что поступает противозаконно, и хотел посоветоваться, все-таки сосед, князь Алексей Борисович, был большим дипломатом, одно время — товарищем министра внутренних дел, имел вес в свете и мог подсказать, если что.

А вот подъезд с железным козырьком. Утром 24 января 1878 года сюда подкатил сам государь. Поднялся по ступенькам, двумя пальцами придерживая полу длинной кавалерийской шинели. Сто лет прошло! Только сто... Много это или мало?

Автор пытается представить себе, как вот здесь, на этом углу, девушка в серой тальме расплачивалась с извозчиком. Затем, спрятав кошелек, она прошла вдоль фасада к дверям, возле которых уже толпились просители. Помните, старушка там была и придворный конюх Соловьев...

Автор собирает документы того времени, читает воспоминания и каждое утро по весеннему Ленинграду спешит к бывшему Царскосельскому вокзалу. Там рядом находится дом Г. В. Плеханова, если ехать на метро, то это до Технологического института, перед которым стоит памятник Георгию Валентиновичу работы скульптора И. Я. Гинцбурга.

А где же здесь дом Сивкова? Был такой домовладелец «недалеко от Царскосельского вокзала», как сообщалось в доносе на высочайшее имя: «Его императорскому величеству. В собственные руки...»

У Сивкова снимала квартиру рисовальщица Малиновская. У нее бывали Фроленко, Осинский, Клеменц, Оболешев, и внизу под окнами черный конь Варвар бил копытом по торцовой мостовой.

А теперь асфальт. В пыльном скверике, насквозь продуваемом ветрами от проносящихся машин, продают жареные пирожки, и шумные студенты ленинградской техноложки жуют, смеются, размахивают руками.

...Их арестовывали тогда в ночь с 11 на 12 октября, и Маша Коленкина стреляла в жандармского подполковника Кононова и пристава Любимова.

Машу осудили на десять лет каторги, сослали в Сибирь на Кару. После каторги она жила в Иркутске, от революционного движения отошла, работала в местном музее, вышла замуж за ссыльнопоселенца Богородского. Отец его служил в Петропавловской крепости, был смотрителем Трубецкого бастиона, а дети пошли в нигилисты.

Саша Малиновская тяжело заболела в тюрьме. Саша сидела в одиночке, и вдруг стало ей казаться, что из темного, сырого угла смотрят на нее зубастые какие-то чудища, щерятся, тянут когтистые лапы. Она нарисовала на листке добрую кошку и каждый вечер ставила ее в тот угол. Чудища пропадали, но ненадолго.

В камере стыла такая жуткая тишина, что Саше казалось иногда, что она уже давным-давно умерла и душа ее отлетела, но не может никак выбраться из этих стен. В ночь на 20 июня 1880 года она покушалась на самоубийство. Ее вынули из петли. Она снова покушалась 9 июля, и 16-го, и 18-го... Распоряжением тюремного начальства переведена в больницу Литовского замка, а 7 сентября от-

правлена в Казанскую психиатрическую лечебницу, кажется, называлась она «Во имя божьей матери всех скорбящих». Или это в Петербурге была такая больница... Сестра Вера хотела взять Сашу, уже совсем больную, к себе. Но это после того, как та старая тетушка, возмущавшаяся «нынешней молодежью» и бравшая с Веры Малиновской, своей родной племянницы, деньги за угол, умерла, оставив довольно большое наследство. На тетушкины деньги Вера купила хутор и отвезла туда больную сестру. Есть такие сведения.

В доме Плеханова в прихожей стоит большое зеркало в старинной резной раме. Вахтерша или привратница сказала шепотом: «Это Розалия Марковна... Из Парижа», и так это прозвучало у нее, будто Розалия Марковна — соседка из другого подъезда. Все рядом. Сто лет — много это или мало?

Наверху в читальном зале научный сотрудник Михаил Иванович, пожилой человек с медалью «За оборону Ленинграда», приносит из архива синий конверт с семью фотографиями Веры Ивановны Засулич. Первая наклеена на золоченую картонку. Такие фотографии раньше назывались почему-то кабинетными.

Каждое время имеет свой ритм, свой стиль, свои понятия о женской красоте, и сейчас совершенно непонятно, почему она считала себя некрасивой... С фотографии смотрит молодая девушка с открытым лицом и веселыми, умными глазами.

Затем идет фотография южных бунтарей. Фотография нечеткая, ее можно было бы назвать любительской. Фотографировались явно по случаю.

Легко узнать Фроленко. У него сухое, скуластое лицо, за ним слева Маша Коленкина, Мишка Мокриевич, похожий на Пугачева, бородатый и большой, и глаза у него в самом деле шальные. Рядом невенчанная жена его Маруся Ковалевская. Она была очень веселой, умела петь и, когда

бунтарям трудно приходилось без денег, выступала в кафешантанах. Она отравилась на каторге в Сибири. Но это много позже было, на фотографии она выглядит счастливой, баззаботной. А Вера Засулич кажется немного растерянной. Тогда к фотографии и к самому процессу фотографирования много серьезней относились, чем сейчас.

Все вместе бунтари похожи на туристов. Одеты подчеркнуто небрежно. Мятые пиджаки, темные платья, неглаженые брюки, но лица энергичные. Они собрались делать революцию и вот сфотографировались перед отъездом в деревню, где Мишка, великий спорщик и бунтарь, уже присмотрел конюшню для отрядных лошадей.

Мишка дожил до Октябрьской революции, но к тому времени от революционной работы давным-давно отошел, тихо-смирно жил себе в Софии, любовался белой Витошей, пил минеральную воду «Горна баня». Умер Мишка в 1926 году, оплакиваемый горячо любящими женой и семьей.

А Михайло Фроленко станет героем «Народной воли», во имя русской революции совершит много подвигов, о них можно написать большую интересную книгу... Его арестуют, поместят в Петропавловку, а затем в Шлиссельбург, и он проведет там в одиночке двадцать с лишним лет! Уже при Советской власти торжественно будут справлять его восьмидесятилетие, и другой южный бунтарь, Лев Григорьевич Дейч, пожелает ему на том юбилее дожить до ста лет, чтоб быть первым в мире столетним социалистом!

Самому Дейчу почти удалось дойти до этого рубежа. Умер он в августе 1941 года, уже гремела Великая Отечественная война...

Затем лежат в том шершавом синем конверте фотографии Веры Ивановны Засулич в зрелые годы. Лицо у нее

строгое, усталое. Где, в каких ателье садилась она в кресла, на каких языках просили ее смотреть в объектив?.. В Лондоне это было, в Женеве, в Риме или в Мюнхене?.. Нелегально, по чужим паспортам она ездила домой дважды. Первый раз с Женькой в семьдесят девятом году, второй раз в 1900-м, уже одна. Женьку арестовали в Германии в 1884 году, когда он перевозил нелегальную литературу, первые работы только что созданной группы «Освобождение труда». Германские власти незамедлительно выдали его царскому правительству, был военный суд и приговор — тринадцать лет каторги и поселение в Восточной Сибири.

Несколько месяцев после его ареста она была сама не своя. Друзья думали, что она готова руки на себя наложить. Она очень любила Женьку.

Но, вернувшись с каторги, он встретился с нею просто как друг. У него была своя семья.

В девятисотом году дымным морозным днем она приехала в Питер, чтоб «хоть мужика посмотреть, какой у него нос стал». Так она сказала Надежде Крупской.

Она пыталась установить непосредственную связь с социал-демократами, работавшими в России. Жила нелегально.

Писатель Вересаев вспоминает, что это была невысокая, седенькая старушка, небрежно причесанная, кое-как одетая, с нервно подергивающейся головой, постоянно с папиросою во рту. «Говорила быстро, слегка как будто захлебываясь. Но улыбка у нее была чудесная — мягкая, застенчивая и словно извиняющаяся. Она была умна, образованна и остроумна, спорила искусно, возражения ее были метки и сильны. Но высказывала она их с этою милою своею улыбкою, словно извинялась перед противником, что вот как ей это ни тяжело, а не может она с ним согласиться и должна ему возражать».

В те времена в Петербурге блистал молодой литератор, критик и публицист, который развивал мысль, что народничество, как чисто интеллигентское общественное течение, проистекало от «болезни совести», а социал-демократия — это «болезнь чести». Народник шел в революцию бороться за страдающего, угнетенного, забитого мужика, а рабочий будто бы идет в революцию потому, что уверен, что он человек, как все люди, он не хочет, не желает страдать, терпеть угнетения во имя прибылей своих хозяев.

И вот в компании, где была Вера Ивановна, молодой литератор, посверкивая пенсне, начал развивать эту свою мысль. Она попыталась слово промолвить, но он даже взглядом не удостоил робкую старушку. А когда через год узнал, что это была сама Вера Ивановна Засулич, не поверил! Знаменитая героиня, неужели она такая робкая, тихая. Как бы интересно было ее мнение выслушать, ведь она прошла путь от народничества до социал-демократии! «Ну что ж вы мне раньше не сказали!» — воскликнул литератор и смутился.

Тогда встречалась Вера Ивановна с молодым Ульяновым, и он знакомил ее с планом издания газеты и научно-политического журнала. Отныне вся ее жизнь укладывалась в четкой последовательности, по основным этапам русского революционного движения: хождение в народ, пропаганда, бунтарство, первая марксистская группа, редакция «Искры». Она не была ясновидцем, были у нее заблуждения, ошибки, неверные суждения были...

Ее называли героиней и родоначальницей революционного террора за выстрел в Трепова. Это ее злило и обижало. Она не собиралась строить на этом выстреле свое политическое реноме и благополучие, а знаменитость свою успела возненавидеть сразу же.

Великий Галилей, бросивший вызов предрассудку своих современников и авторитету Аристотеля, являет собой

пример мужества ума. «А все-таки она вертится!» — им сказано. Но сколько мужества понадобилось маленькой женщине, чтоб сначала выстрелить в негодяя, поправшего человеческое достоинство, потом отказаться от этого выстрела и начать все с самого начала в многолетнем, повседневном поиске новых путей!

Она называла свой выстрел преступлением и в те дни, когда слава «Народной воли» гремела повсюду и шла охота за царем, и позже, когда нового испуганного монарха именовали не иначе как гатчинским пленником, потому что боялся он из Гатчины нос августейший высунуть: а то ведь взорвут! И в свинцовые времена, когда Исполнительный комитет «Народной воли» обвиняли в том, что он силится изображать из себя начальство всех революционных сил, а централистические его стремления проявляются в гораздо более резкой и деспотичной форме, чем действия самого правительства, она стояла на своем: террор не метод!

«Пример террористических подвигов мог действовать лишь на людей, уже проникнутых революционным духом: все на ту же и без того возбужденную революционную молодежь да на немногих рабочих, уже успевших сделаться революционерами,— писала она.— Но борьба не в рядах и строю, не рука об руку с товарищами, а убийства в одиночку не могут привлечь много сил, какою бы ни пользовались они популярностью. Это слишком мрачный род борьбы. Какой бы восторг ни возбуждал он со стороны,— чтобы пойти самому на такое убийство, нужно обладать исключительной силой воли или находиться в исключительном настроении: в припадке болезненного славолюбия Гольденберга или в таком состоянии, когда жизнь потеряла для человека всякую привлекательность, но он предпочитает отделаться от нее не без пользы для партии. И в самом деле, за все время популярности таких одиночных нападений охотников до них нашлось не более десятка».

Она должна была выяснить до конца: на кого же хотели подействовать своим примером юные герои?

Их казнили на людных площадях. Гремели барабаны. Ветер раздувал траурные рясы священников. А когда все кончалось, прокуроры и судьи садились в кареты, войска, вскинув ружья на плечо, расходились по казармам, просто зрители тянулись домой.

И о чем же они говорили, просто зрители? О чем? Да о том говорили, что вот-де господа с господами ссорятся... Бабы шептались: колдунов казнят, которые в котов оборачиваются...

А как иначе? Что, какое чувство, кроме любопытства, могла вызвать в толпе казнь людей, в высшей степени ей неведомых, хотя сама по себе эта толпа, несомненно, была способна к горячему сочувствию людям, преследуемым за известное и понятное ей дело.

Террор народовольцев не усиливал классовой борьбы, не приближал всенародной революции. Это она поняла, потому что приняла учение Маркса. И в годы, именуемые годами всеобщей растерянности, когда пала на Россию свинцовая ночь реакции, безразличия, апатии и растерянности, ей виден был поворотный момент — начало массового рабочего движения. Поднималась над Россией, поднималась мозолистая рука рабочего, чтобы рухнуло ярмо деспотизма и громовое эхо потрясло мир. Она знала: придет день. Марксизм открывал ей законы, по которым двигалось общество, и она, бывшая нигилистка, пропагаторша, бунтарка и револьверщица, хотела быть верной ученицей великого учителя.

Вооруженная марксистским учением, она бесстрашно сражалась с Вл. Соловьевым и Бердяевым, громила легальных марксистов и старалась быть принципиальной до конца всегда и во всем.

Жила она на литературный заработок, переводила для издательства «Шиповник» романы Уэллса. Один перевела,

ей предложили второй. И вот со вторым случилось непредвиденное.

«У меня с Уэлсом вышла «оказия»,— писала она.— Он, оказалось, на XX век предсказывал, что вследствие прогресса машин рабочих, кроме механиков, будет не нужно, а потому их (или их детей) надо предоставить вымиранию и подсоблять этому ради сохранения хорошей породы. Я дочитала книгу (это у него в конце), уже переведя 1/4. Конечно, отказалась от перевода».

Она была непримиримой оппоненткой, и, когда дело доходило до принципов, она не уступала ни на йоту.

Среди интеллигенции свирепствовали разные проблемы — проблемы бога, проблемы пола... Декаденты были в моде и символисты. Она любила Чехова и Щедрина, ее выбрали членом Всероссийского общества писателей и Всероссийского литературного общества.

Как-то она записала: «Вообще меня что-то стало наконец к воспоминаниям тянуть. Не к таким, к несчастью, которые могли бы переводы заменить в качестве работы. Тянет к субъективным воспоминаниям: что я такое «была». А все-таки, когда нет работы, а это, к сожалению, слишком часто бывает, вероятно, буду писать».

Увы, законченных воспоминаний она не оставила. Ей некогда было вспоминать о себе.

Мужество ума заставляло ее быть готовой к поискам новых путей, а честность ума, вторая добродетель истинного исследователя, требующая изменить свои представления, когда имеются на то веские обстоятельства, требовала искать эти новые пути: оставаться верным своим предположениям, явно опровергнутым самой жизнью, только потому, что эти предположения свои, нечестно.

Мужество ума, честность ума, но это не все! Разумно ли изменять свои взгляды без достаточных на то оснований? Без серьезных исследований, только ради моды, вдруг

вскружившей многие головы? Мудрая сдержанность! — вот что требуется исследователю помимо мужества и честности. «Не верь ничему, но сомневайся только в том, в чем стоит сомневаться!..» И все равно она отказалась от своего прошлого. Ее путь к Марксу был сложным, но естественным. Его «Капитал» открывал ей те тайные пружины, которые двигали общество, определяя законы его жизни, его сегодня, его завтра...

Об этом напишет она в своей статье, что была напечатана в третьем номере ленинской «Искры».

Перед ее статьей будет несколько строчек от редакции, написанных по предложению Ленина: «С особенным удовольствием помещаем присланную нам В. И. Засулич статью, которая, мы надеемся, будет содействовать правильной постановке в наших революционных кругах вновь выплывающего вопроса о терроре».

Она была членом редакции «Искры», и слова о том, что статья прислана, имели значение для конспирации.

Редакция «Искры» находилась тогда в Мюнхене, и Вера Ивановна переехала туда, снимала комнатку на рабочей окраине, всю себя отдавала газете, шутила: «А «Искра»-то важная становится».

В спорах Ленина с Плехановым она чаще придерживалась стороны Жоржа. Ленин называл ее кристально-чистым человеком, и Н. К. Крупская писала в своих воспоминаниях: «Из всех членов группы «Освобождение труда» Вера Ивановна чувствовала себя наиболее одиноко. У Плеханова и Аксельрода были все же семьи. Вера Ивановна говорила не раз о своем одиночестве: «Близких никого нет у меня» — и тотчас старалась прикрывать горечь своих переживаний шуточкой: «Ну вот, вы меня любите, я знаю, а когда умру, разве что одной чашкой чаю меньше выпьете».

В 1905 году после амнистии она вернулась на родину, занималась переводами с английского, с немецкого, с

французского, писала литературно-критические статьи, жила по-монашески скромно. Все так же на подоконнике ее петербургской комнаты стояла спиртовка и пол был засыпан табачным пеплом.

Она необыкновенно берегла и ценила друзей. И к взглядам Плеханова относилась с особым вниманием, потому что Жорж был старым другом. И тогда, когда возникли подозрения, что главный чигиринец, автор «Высочайшей тайной грамоты» Яков Стефанович, попав к жандармам... выдает, она не поверила! Ведь он же писал, обращаясь к серым чигиринским крестьянам: «...тот, кто умертвит шпиона, тот совершит богоугодное дело».

Она понимала, что нельзя мистифицировать крестьян «авторитетным принципом», как тогда назывались самозванство, ложные манифесты и тому подобные приемы. Но ведь Стефанович был старым другом... Дмитро и Женька — два злыдня. Да она жизнь за них отдала бы, не задумываясь, если б возникла такая нужда!

Она не видела в характере Стефановича нечаевских черт, так ей ненавистных. Ради достижения мгновенного успеха Стефанович готов был пустить в ход все средства, даже такие, которые в конце концов могли подорвать самую суть дела, основную его цель... Не видела она этого или не хотела видеть, всегда такая тонкая и щепетильная.

Попав к жандармам, он, готовивший себя к мгновению, решил, что ради своей свободы — уж какую он там базу подводил, определяя стоимость своей личности, неизвестно — можно пойти на некоторые уступки. С этого, наверное, и начал, с *уступок*. Но господин Плеве Вячеслав Константинович со своими энергичными чиновниками оказался искушенней наивных тех чигиринских крестьян! Грамотней, наверняка, да и профессиональную подготовку надо учитывать, и Стефанович, гордый бунтарь, такой беспощадный к шпионам, начал выдавать.

Она не верила, она писала статьи в его защиту, доказывала, требовала извинений. Как же так можно оскорблять заслуженного революционера! Но после Октября открылись полицейские архивы, и предательство Стефановича было подтверждено документально.

Автор читает письма Веры Ивановны и те копии, которые снимал с них шпион по кличке Жозеф. Человек этот ни слова не знал по-русски и *срисовывал* ее письма. Потом писаря Третьего отделения, чертыхаясь небось на чем свет стоит, составляли рисунки Жозефа в слова и предложения.

Любопытные документы находил автор в тех архивах. Мелькают удивительные фамилии. Был судебный пристав Монстров. Это и специально не придумаешь! А один полицейский чин, с чего бы это, назвал сына... Прудоном. Показалось, видимо, что ласково звучит. И жил где-то в Вышнем Волочке или в Новгороде Великом мальчик Прудон, мама называла его ласково — Прудей...

Между прочим, попался ему и отзыв о литературном творчестве Нечаева. Жандармский консультант, неизвестно, был ли он штатным сотрудником Третьего отделения или призывали его со стороны, пишет о Сергее Геннадиевиче, что, вообще говоря, нельзя назвать его личностью дюжинной. «Всюду сквозит крайняя недостаточность его первоначального образования, но видна изумительная настойчивость и сила воли в той массе сведений, которые он приобрел впоследствии. Эти сведения, это напряжение сил развили в нем в высшей степени все достоинства самоучки: энергию, привычку рассчитывать на себя, полное обладание тем, что он знает, обаятельное действие на тех, кто с той же точкой отправления не могли столько сделать. Но в то же время развились в нем и все недостатки самоучки: презрение ко всему, чего он не знает, отсутствие критики своих сведений, зависть и самая беспощадная ненависть ко всем, кому легко далось то, что им взято с

бою, отсутствие чувства меры, неумение отличить софизм от верного вывода, намеренное игнорирование того, что не подходит к желаемым теориям, подозрительность, презрение, ненависть и вражда ко всему, что выше по состоянию, общественному положению, даже по образованности». Интересно характеризуется Сергей Геннадиевич! Видимо, в обществе уже сложилось о нем вполне определенное мнение. Было очевидно, что Сергей Геннадиевич ненавидит всех. Тех, кто богаче, и тех, кто образованней, талантливей, ибо даже служение тем же целям «не спасает таких лиц: оно клеймится подозрением в его искренности, где нельзя, называется тупоумным, дилетантским, и против этих союзников проповедуется подозрение и презрение»,— писал тот консультант. Один только Сергей Геннадиевич и «люди его кружка, одних с ним происхождения и образа мыслей, признаются за слуг народа и за пользующихся народным сочувствием и доверием. Все остальное, выдвигающееся из народа, выставляется как враги народа, и эра плодотворного развития, мирного и многостороннего, начинается лишь с их уничтожением».

Мало кто верил тогда, что городской рабочий, «чумазый», как называли его, может играть какую-то заметную роль в надвигающемся социальном шторме. Ждали грома со дня на день. Он должен был грянуть в деревне. Но увы, «мужицкой» революции не свершилось... Одни пошли на каторгу, в тюрьмы, в Сибирь, другие начали искать смысл в малых делах, в самосовершенствовании, в толстовстве, в опрощении, в непротивлении злу насилием...

Друг Веры Ивановны Клеменц был арестован в 1879 году, почти сразу же по возвращении из-за границы.

Как же так получилось, что осторожного Клеменца, всегда такого осмотрительного, взяли на пятый год после подписания приказа о его аресте. Пять лет он был нелегальным, пять лет скрывался и из каких ситуаций сухим выходил и вдруг такая незадача!

Это случилось в Петербурге. Накануне приехал туда из Москвы веселый мастеровой паренек Николка Рейнштейн, свой в доску, смешно только, что из немцев: немцев ведь трезвыми аккуратистами представляют. А этот в полный голос критиковал существующий порядок, царя и министров. Недостаток образованности компенсировался искренностью и происхождением, он был из рабочих, то есть из народа, к тому же имел веселый характер, общительный был парень. Играл на семиструнной гитаре и ладным баритоном выводил революционные песни. Особенно старательно «Дубинушку», слова которой, между прочим, написал Дмитрий Александрович. «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая сама пойдет...»

Однако вскоре известно стало, что Николка — провокатор. За тысячу рублей пообещал он Московскому жандармскому управлению узнать адрес типографии и адреса ее редакторов. Он сам запросил эту сумму.

За такую услугу Николке отвалили бы и больше! И пять тысяч и десять, пожалуй. Но для него именно «тыща рублей» была максимально осознанной. Все большее лежало за гранью фантазии.

Приехав из Москвы, Рейнштейн старался встретиться с кем-нибудь из редакторов. Говорил тихонечко, кидая через плечо осторожный взгляд, что есть-де у него одно дельце, о сути которого не каждому нужно знать.

Клеменц отказался встречаться с веселым гитаристом. Но через две недели к Воробью, Николаю Морозову, будущему шлиссельбуржцу, прибежит один знакомый и сообщит, что есть сведения, будто вольную типографию взяли этой ночью, арестовали кой-кого из типографов, а в семь часов утра в типографии как раз назначено собрание! Времени выяснять подробности нет, надо действовать.

Николка прост был, план же, как выяснилось, выполнял хитрый. В полиции решили, что, получив такое изве-

стие, революционеры кинутся по пустынным улицам предупреждать своих и в то же утро наведут филеров на след.

План сорвался. Типографию не открыли, а вот на квартиру Клеменца явились с обыском.

Он встретил полицию совершенно безмятежно. У него был безукоризненный паспорт на имя отставного артиллерийского инженера капитана Штурма, и, пока полицейские производили обыск, он беседовал с офицером, начальствующим над ними. И разговор складывался интересный, тем более что обыск казался безрезультатным. Но вдруг через час обнаружили в диване тайник и там чистые бланки паспортов, пачки нелегальных изданий, прокламации... «Что это? — удивился офицер.— Как же так, господин капитан?» — «Вал переменили в шарманке»,— отвечал Клеменц, вставая. Теперь уже было ясно, что начнется другая музыка!

Инкриминировалось ему многое. Он ведь не только редактировал газету, сочинял песни, писал статьи и нелегальные сказки вроде «Хитрой механики». Одним названием многое сказано!

Под фамилией Штурма Дмитрий Александрович ездил в Петрозаводск, где сошелся с тамошним высшим обществом, был принят у губернатора, играл с их превосходительством в винт и организовал побег сосланному товарищу.

Он двое суток прятался в скирдах хлеба, переодевшись нищим, и просил милостыню у жандармов, которые его же и разыскивали. Был в его судьбе такой случай. И все с рук сходило, а теперь не сошло!

Клеменца судили, но счастливая судьба: все вещественные доказательства по его делу пропали. Куда, что... Ничего не известно. А тут, пока сидел он под следствием, такие дела начались, что его «Хитрая механика» показалась детской забавой.

Осенью 1881 года пароход шел вверх по Оби. Густой дым валил из высокой черной трубы, ветром его относило в сторону, и дымные клочья цеплялись за таежные сосны на берегу. Пароход тащил плоскую арестантскую баржу, и там на палубе, опершись о поручни, стояли двое в серых арестантских халатах. Один приговорен к ссылке, другой — к каторге, в кандалах. Это встретились Дмитрий Клеменц и доктор Веймар, хозяин Варвара и того медвежьего револьвера, из которого стрелял Соловьев.

В Восточной Сибири Клеменц занялся этнографией и археологией, участвовал в экспедициях в Кузнецкий Алатау, Саяны, Урянхайский край, Монголию, Турфан, и во всех поездках его сопровождала жена, Елизавета Николаевна Зверева, начальница Минусинской женской гимназии, бестужевка, дочь разорившегося золотопромышленника. Клеменц стал знаменитым путешественником.

Он работал в музеях в Минусинске и Иркутске, сотрудничал в томской «Сибирской газете» и в иркутском «Восточном обозрении».

В середине 90-х годов Дмитрий Александрович сумел возвратиться в Петербург, работал в Петровской кунсткамере, что на Университетской набережной. А когда было принято решение создать музей имени Александра III, Клеменца пригласили заведовать этнографическим отделом.

Он был крупным специалистом и прекрасным популяризатором. Как-то Александр III изволил посетить музей своего имени, и Клеменц давал ему пояснения.

Монарх был в восторге, совсем как тот петрозаводский губернатор. Клеменц обворожил его остроумием и широтой знаний, и Александр не удержался, видимо здорово его подмывало, ведь вел же его по музею один из идеологов хождения в народ, и спросил, придав своему лицу эдакую августейшую строгость, которая может обратиться в улыбку, а может и во что-то другое. Он спросил уче-

ного профессора, такого симпатичного и такого умного, не жалеет ли он о своей напрасно прошедшей юности. И сопровождающие особу государя, и сам государь собирались услышать что-нибудь шутливое. Но седой профессор ответил незамедлительно: «Я горжусь своей юностью, ваше императорское величество. Это были мои лучшие годы».

Клеменц получил отставку. Но к тому времени, правда, имел он уже генеральский чин — действительного статского советника, пенсия вышла вполне солидная, и старость его была обеспечена.

Умер он накануне первой мировой войны в Москве и похоронен вместе с Елизаветой Николаевной на Ваганьковском кладбище.

Намного пережил его другой участник тех событий, «лукавый либерал» Анатолий Федорович Кони.

Он дожил до Советской власти, принял ее, потому что любил простой народ и мечтал о его прекрасном будущем.

После Октября семнадцатого года Анатолий Федорович писал, обращаясь к Советскому правительству: «Ваши цели колоссальны, ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне — большому оппортунисту, который всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которой я жил — все это кажется гигантским, рискованным, головокружительным. Но если власть будет прочной, если она будет полна внимания к народным нуждам,— что же? Я верил и верю в Россию».

Он был уже очень стар, когда писал о своей вере, председатель того суда. И внешность его изменилась, и голос. «Подсудимая, вы обвиняетесь в том, что, имея заранее обдуманное намерение убить генерал-адъютанта Трепова, пришли к нему в дом 24 января с заранее принесенным вами револьвером...» Много лет прошло, и был другой январь.

Молодая актриса, жена наркома Наталья Луначарская-Розенель с репетиции приехала в дом к знаменитому Сумбатову-Южину, это в Палашовском переулке.

Она вошла в прихожую и смущенно потупилась, увидев сморщенного, маленького карлика. У него был пронзительный, острый взгляд, который «заставлял усомниться, кто, собственно, этот полукарлик: не то перед вами глубокий старик, не то пусть больной, но еще нестарый и очень незаурядный человек».

— Анатолий Федорович Кони,— сказал Южин и назвал ему меня,— вспоминает Наталья Александровна.

— Прошу передать мое почтение Анатолию Васильевичу,— тоненьким фальцетом проговорил Кони.

Горничная, как маленькому, помогала ему снять калоши, развязала кашне, сняла пальто. Он был очень болен, стар, но в твердой памяти и в светлом уме.

Как трудно перенестись на сто лет назад! Нет уже тех людей, нет тех слов в языке. И ритм жизни другой, и человеческие отношения изменились.

В окне читального зала улица, залитая асфальтом. Яркий воскресный день. Относительная тишина. И вдруг шум, кавалькада машин, впереди черная «Волга», и на радиаторе сидит плюшевый мишка. На капоте цветы, из окон на ниточках — воздушные шары. Свадьба! Новая, только что сложившаяся традиция, учитывающая автомобилизацию нашей жизни. На автомобильных ручках красные лоскутки. Знак безопасности... Неужели сто лет прошло?

Автор вытаскивает из синего конверта следующую фотографию, и ему делается не по себе. Только что была молодая Вера Ивановна, а теперь перед ним старуха с ввалившимся ртом и большим заострившимся носом.

Какую огромную жизнь она прожила! Это целый пласт русской истории, помните Бяколово, трещину на двери от французского ружейного приклада, рассказы крестьян о

Наполеоне, пьющем чай на веранде барского дома... Это все было в ее жизни. Она слышала. Она знала людей, которые это видели. Могли видеть. А уж во время Крымской войны ей было семь лет, и на ее глазах по дороге, обсаженной старыми березами, тянулись на юг артиллерийские батареи и пыльные фельдъегери гнали казенных лошадей.

Она пошла в революцию, потому что всегда считала за счастье быть с революционерами, всегда готова была на все опасное, и, чем опаснее, тем лучше.

Начало ее жизни — тихий дворянский дом, в саду варят малиновое варенье, тетушки раскладывают в диванной пасьянсы, и она, девочка в полотняном платье с мережкой на вороте, прыгает по ступенькам.

Пропаганда, хождение в народ, бунтарство — этапы ее молодости. Зрелость приводит ее к Марксу. Она будет изучать его «Капитал», переписываться с Энгельсом...

Автор вдруг замечает, что ее жизнь для него — недостающее звено истории, мост из одной эпохи в другую.

Исследователи ее жизни отмечают, что после девятьсот третьего года, после II съезда РСДРП она начала отходить от марксистской позиции и примкнула к меньшевикам, в годы мировой войны — к социал-шовинистам. Октябрьскую революцию Вера Ивановна встретила недоброжелательно, но в красном Питере ее считали своей за то, что сделала она для революции в молодости. И В. И. Ленин, резко критикуя ее меньшевистские позиции, высоко ценил прежние заслуги Веры Ивановны.

Она умерла от воспаления легких 8 мая 1919 года в своей комнате в доме на Карповке.

Соседские старушки обмыли ее тело, убрали с подоконника спиртовку и закоптелый кофейник, подмели пол, постелили на кровать чистые, отутюженные простыни. Вере Ивановне закрыли глаза и сложили руки.

Друзья рассказывали, что умерла она в полном сознании.

В «Правде» была напечатана статья, посвященная ее памяти. Был создан фонд имени Засулич, и на похороны собралось много народа, хоть время стояло в ту весну тревожное; не до торжественных церемоний было, но провожали ее торжественно.

Был солнечный день, свежий ветер... Похоронные лошади, накрытые белой сеткой, медленно пересекали Невский проспект, кортеж двигался по Лиговке на Волково кладбище, где и похоронили ее на Литературных мостках рядом с Плехановым 11 мая 1919 года.

Добровольский Е. Н.

Д56 Чужая боль. Повесть о Вере Засулич. М., Политиздат, 1978.

334 с. с ил. (Пламенные революционеры).

Д $\frac{10604-230}{079(02)-78}$ 260—78 Р2 + 9(С)16

Евгений Николаевич
Добровольский

ЧУЖАЯ БОЛЬ

Повесть о Вере Засулич

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *А. П. Пастухова*

Младший редактор *А. А. Мочалова*

Художник *А. Л. Блох*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. Е. Трояновская*

ИБ № 1808

Сдано в набор 28.06.78. Подписано в печать 22.09.78. А00162. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 16,31. Учетно-изд. л. 15,73. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Заказ № 2562. Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц
в типографии изд-ва «Уральский рабочий».
Свердловск, пр. Ленина, 49. Заказ № 667.



